

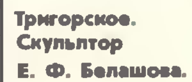
Михайловское.
Пушкин-лицеист.
Скульптор
Г. В. Додонова.
1969.



Пушкинские горы.
Скульптор Е. Ф. Белашова.



Тригорское.
Скульптор
Е. Ф. Белашова.



ISSN 0321—0561. СЛОВО 1990. № 6. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.





Пушкин.
Этюд А. И. Лактионова. 1949.

На обложке:
дом Ганнибалов.
Этюд Б. Козмина.

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

ВЕСЕЛОЕ ИМЯ ПУШКИНА

«Пушкин наше все» — это почти бесспорно, хотя до Пушкина была Россия со своей «особенною статью». Но правда ли, что Пушкин выражает русского человека, правда ли, что русский народ олицетворен в Пушкине? Или, может быть, и Гоголь и Достоевский, а за ними и множество русских писателей, литературоведов, критиков, поэтов, читателей ошибались, считая Пушкина катализатором национального сознания? Не вернее ли, что Пушкин прообраз того, чем русские хотели бы быть, идеал недосягаемый и поэтому особенно достойный преклонения.

Зачарованные аполлонической гармонией, сыны русского хаоса слышат особенно остро то, что им несозвучно и непривычно, и в Пушкине — призыв к равновесию, им чуждому и такому же чуждому им искристому веселью, ворвавшемуся в их вековую тоску.

Кто из русских может сказать «печаль моя светла», кто из русских может написать эротическое стихотворение, не превратив поэзию в порнографию, кто из русских отыщет в себе магическое сияние, которое идет от творческого (и одновременного) освоения чувства греха и чувства спасения от греха, чувства бренности жизни и восторга перед ней?

Но неправильно причислять Пушкина и к Западу. В нем отсутствует присущий западной культуре рационализм и скептицизм, в нем живет примитивная жизненная энергия (в сущности, эта энергия и привлекла внимание западных современников, например, к Марии Башкирцевой, как к личности). При внимательном рассмотрении увидим мы, что Африка не оставила на Пушкине своих следов. Тот, кто знает африканские народы и судьбы черного континента, знает, что «африканские страсти» — европейский миф. Нет, что ни говори, Пушкин был весь проникнут русской стихией, окунулся в нее и переборол ее, питался Русью, преображая ее.

Ах, как русский человек любит свою несчастную судьбу! Как любит он проклинать свою незадачливость, как полон он жалости к самому себе (самая непозволительная жалость в глазах англичанина), как близок он к еврею в этом отношении, всегда обвиняя свою судьбу, как будто народы совсем не ответственны за то, что с ними случается.

Совсем не по-русски «верен его (пушкинский) отклик, чутко его ухо» ко внешнему и чуждому России миру. Цитируя того же Гоголя — «в Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец», — сознаемся, что и в этом он единственен в нашей литературе. Блок, утверждающий «нам внятно все — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...», был в сущности, на глубине, закрыт всему чужому, разве что за исключением «сумрачного германского гения» — вероятно оттого, что предки его были из Мекленбурга. Пишет ли Блок о Лангедоке или об Италии — нигде не найдешь у него «острого галльского смысла», основанного на тонкой иронии.

Пушкинской линии в русской поэзии XX века не было — или почти не было, — а эмигрантская поэзия 20-х и 30-х годов жила под знаком Лермонтова и Блока. Лермонтов дело особое, но Блок в какой-то мере — антитеза Пушкина. Русскому слабоволию он упреком не служит. Не было в нем чувства великодержавности, присущего Пушкину, и не был он и в своем Шахматове связан кровно с русской деревней, как был Пушкин в своем мелкопоместном Михайловском. Блок оставался горожанином, интеллигентом, чужаком среди русского простонародия. Пушкину случалось быть пророком, Блоку — только пифией, смутно улавливающей звуки грядущего, в чаду и благовонии треножника. Как далеки — «Ольга, крестница Киприды» и «В ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей» от блоковской «Незнакомки» или от «так вонзай же мне, ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук». Не к русскому эпосу, а к цыганщине было его природное влечение. Когда он отдавался стихии, Блок не мог ее побороть, слабый и раненый прежде, чем вышел на бой. Пушкин «Во цвете лет свободы верный воин» писал:

Мне бой знаком — люблю я звук мечей
От первых лет поклонник бранной
славы.

И вот, всю жизнь влекомый самоуничтожением, перед смертью обращается Блок к великому мужеству Пушкина и находит для его имени эпитет «веселый».

Да, конечно, Блок был одним из «детей темных лет России», но история, особенно русская, не знает в сущности не темных времен. Все годы требуют от живущих мужества, только мужеством сохраняется культура. Блок назвал свою речь «Веселое имя Пушкина». Имя же Блока не весело, не веселы имена ни Гоголя, ни Баратынского, ни Тютчева, ни Достоевского, ни Толстого. И потому так чудесно появление в России Пушкина, подарок нам и пример. И потому заворожены поколения пушкинским призывом не к трагической, а к веселой свободе.

Пушкин завещал нам трудный подвиг равновесия ума и сердца, ответственности и беспечности, преодоления греха раскаяньем. Как головокружительно быстро он рос, превращаясь из повесы в мудрого мужа, и в несколько часов, от дуэли до смерти, созревая от рабства страстям до христианской кончины.

Дорогой читатель! Год назад шестой номер мы посвятили Александру Сергеевичу Пушкину. Это нашло широкую, энергичную, глубокую заинтересованную поддержку у всех поклонников великого поэта. И сама по себе возникла мысль: ежегодно июньский номер большей частью своей посвящать Пушкину, также как сентябрьский — Льву Николаевичу Толстому, в декабрьский — Федору Михайловичу Достоевскому.
Эти три столпа русской и мировой литературы и культуры, три величайших вершины интеллектуального океана вполне заслужили, чтобы наши читатели ежегодно с ними встречались, открывая новое в их духовном наследии, находя новые и новые точки духовного соприкосновения.
При кажущихся знаниях мы о них поразительно мало знаем. К тому же наши представления о них порой крайне поверхностны, однобоки и стереотипны. Идеологическая узость сказалась и здесь, лишив нас широты и многогранности в восприятии и толковании отечественных гениев.
Будем вместе духовно укрепляться, возрождаться, будем смелее постигать все богатство, сокрытое от нас десятилетиями.
Обратимся же к Пушкину, друзья, к Толстому и Достоевскому, к кладезям отечественной и мировой культуры!

О Зинаиде Шаховской читайте в № 3, 1990 г.

Александр Пушкин



В этом году Николаю Васильевичу Кузьмину — известному иллюстратору пушкинских произведений — исполнилось бы 100 лет. С его работами к «Евгению Онегину» мы знакомим в этом номере. О художнике читайте на стр. 30.

СЕРГЕЙ КИБАЛЬНИК

ИСТОКИ ПОКЛОНЕНИЯ

культ гения

— Ну вот, еще одно сочинение, из которого мы узнаем, что Пушкин был гений и что в нашей стране он пользуется всенародной любовью, — такова, по-видимому, наиболее здоровая и естественная реакция на это заглавие. Действительно, как правило, разговор о наших современных отношениях с Пушкиным ведется в тоне благостного удовлетворения. Но в самом ли деле все так волшебно и восхитительно? Увы, далеко не все, и вот об этой-то сложной реальной ситуации и имеет смысл поговорить.

Прежде всего она связана с небывалой и ни с чем не сравнимой пропагандой Пушкина у нас в стране средствами массовой информации. Никто другой из великих представителей нашей национальной культуры не пользуется таким вниманием газет и журналов, радио и телевидения, издательств и лекториев.

Казалось бы, можно только радоваться. Но не будем скрывать от самих себя, что у большей части населения страны эта напряженная работа особого энтузиазма не вызывает. Более того, у некоторых — а может быть, и у многих — она даже порождает раздражение и недовольство: «Ну вот, опять о Пушкине! Сколько же можно? И что в нем такого замечательного? Сотворили себе кумира!» Выходит, что культ Пушкина — сам по себе, а массовая аудитория — сама по себе. Несколько лучше обстоит дело в Ленинграде и Москве, но в принципе названные тенденции прослеживаются и там. В чем же дело?

А дело, конечно же, в том, что всякий официальный культ, не подкрепленный разумной умеренностью и вдумчивой разъяснительной работой, неизбежно вызывает противодействие. Чтить кумира только потому, что его чтят по всей стране, любить «вслед за чинною толпою» согласны не все. И вот уже иной почитатель русской классической поэзии не из подлинного увлечения, а всего лишь из чувства противоречия говорит, что предпочитает Баратынского, Тютчева или Лермонтова. «Запретный плод вам подавай...», или если не запретный, то хотя бы ненавязываемый. Вот так реакцией на официальный культ Пушкина неожиданно становится усиление интереса к русской литературе начала XX века и т. п. Попробуем разобраться, как и почему сложилась такая парадоксальная ситуация. Парадоксальная потому, что гений литературы, чьим жизненным и творческим идеалом всегда была свобода, оказался в положении навязываемого кумира.

Часто полагают, что современный культ Пушкина сложился в советское время. В действительности он возник еще в последние десятилетия XIX века. Преклонение это первыми выказали русские писатели. Они сами признали необыкновенную и не имеющую аналогов роль Пушкина в русской культуре. Только после этого культ поэта принял общенародный и государственный характер. Кумир, стало быть, действительно был сотворен, но Пушкин стал им вполне законно. Вспомним, как это происходило.

В отстаивании уникального места Пушкина в русской культуре особая роль принадлежит вначале В. Г. Белинскому, а затем так называемой «эстетической критике» (П. В. Анненков, А. В. Дружинин). Именно «эстетическая критика» последовательно боролась за Пушкина в то время, когда Н. А. Добролюбов писал о пушкинском «подчинении рутине», а Д. И. Писарев видел в поэте «просто стилиста — и больше ничего». Окончательно же культ Пушкина утвердился только тогда, когда значение поэта осознали — каждое направление по-своему — «эстетическая критика» и славянофилы, западники и почвенники. В признании исторической роли Пушкина особую роль сыграла позиция Аполлона Григорьева, провозгласившего в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859): «Лучшее, что было сказано о Пушкине в последнее время, сказалось в статьях Дружинина, но и Дружинин взглянул на Пушкина только как на нашего эстетического воспитателя. А Пушкин — наше все: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. ⟨...⟩ В нем одном, как нашем единственном гении, заключается правильная, художественно-нравственная мера, мера, уже дознанная, уже окрепшая в различных столкновениях».

Центральным событием, положившим начало становлению культа поэта, стали торжества в честь открытия памятника ему в Москве, происходившие по всей России в июне 1880 года. Обычно вспоминают в связи с этим речь Достоевского, но речь его, хотя и действительно замечательная во многих отношениях, была лишь одним из немногих выступлений деятелей русской культуры того времени, чествовавших Пушкина. Кроме нее, на торжествах прозвучали речи И. С. Тургенева, В. О. Ключевского, И. С. Аксакова, П. В. Анненкова и многих других. Стихи на открытие памятника Пушкину прочли Я. П. Полонский, А. Н. Майков, А. Н. Плещеев, Н. С. Курочкин... Полный свод всех выступлений, в том числе текстов адресов, телеграмм, приветствий и т. п., составил целый объемистый том под заглавием «Венок на памятник Пушкину».

Все крупнейшие писатели того времени говорили о Пушкине как об «общем великом образце и учителе в искусстве» (И. А. Гончаров). Они отмечали совершенно особое значение поэта для русской духовной культуры. Так, например, Тургенев подчеркнул благотворное влияние на внутреннее раскрепощение личности: «Пускай у памятника Пушкина остановится всякий и скажет, что ему он обязан свободой, свободой нравственной. Пускай сыновья народа будут сознательно произносить имя Пушкина, чтоб оно не было в устах пустым звуком и чтобы каждый, читая на памятнике надпись «Пушкину», думал, что она значит — «учителю»... Достоевский делал акцент на чисто литературном значении Пушкина как писателя — основоположника и первооткрывателя новых дорог в искусстве, а также на национальном его значении: «Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. По крайней мере, не проявились бы они в такой силе и с такою ясностью, несмотря даже на великие их дарования, в какой удалось им выразиться впоследствии, уже в наши дни, не в художественном лишь творчестве: не было бы Пушкина, не определилась бы может быть с такою непоколебимою силой (в какой это явилось потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в наше грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов».

Особое, освобождающее значение Пушкина для развития русской мысли было отмечено А. Н. Островским: «Русская литература в одном человеке выросла на целое столетие. ⟨...⟩ Он дал серьезность, поднял тон и значение литературы, воспитал вкус в публике, завоевал ее и подготовил для будущих литераторов, читателей и ценителей. ⟨...⟩ Прочное начало освобождению нашей мысли положено Пушкиным; он первый стал относиться к темам своих произведений прямо, непосредственно; он захотел быть оригинальным и был, — был самим собою».

Общее впечатление выразил И. С. Аксаков, сказавший, что «настоящим торжеством, принявшим такие неожиданные, небывалые размеры, превысившие все первоначальные программы, воочию всевластно объявилось действительное, доселе может быть многим сокрытое значение Пушкина для русской земли». Но, может быть, поклонение поэту со стороны Тургенева, Достоевского, Гончарова естественно, а с течением времени они сами и новые литературные кумиры должны были потеснить его?

Празднование столетия со дня рождения поэта и сопутствующие юбилею публикации свидетельствуют, что с приходом нового поколения писателей, взявших на вооружение новые формы в искусстве, Пушкин не только не был отодвинут на задний план, но напротив, оказался еще более актуальной фигурой современного литературного процесса. Так, Д. С. Мережковский в «Вечных спутниках» провозглашал: «В сущности, Пушкин есть доныне единственный ответ, достойный великого вопроса об участии русского народа в мировой культуре, который был задан Петром. Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию», а А. Белый описывал в своих воспоминаниях общее стремление молодых умов «назад к Пушкину» от популярнейших в 1880-х — 1890-х годах С. Я. Надсона и А. М. Скабичевского. Еще более показательно в этом отношении выступление группы писателей в майском номере журнала «Мир искусства» за 1899 год.

Признание В. В. Розановым необыкновенного значения Пушкина, впрочем, не безоговорочно: «Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех минувших поэтических форм; дивный набор октав и ямбов, которыми он распоряжался свободно; и сверх старческого ума — душа как резонатор всемирных звуков, (...) Можно сказать, мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, т. е. в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, обильнее. Он принимал в себя звуки с целого мира, но «пифийской расщелины» в нем не было, из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы».

Именно Розанов (Мир искусства, 1899, № 5) впервые заявил об ограниченности гения Пушкина и о чуждости его современному эстетическому сознанию: «Пушкин, по многогранности, по всегранности своей — вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Слишком серьезен. Это — во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть менее всего длинные и тонкие корни, и прямо не могут следовать и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем опять же возможно было в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже об них, не мог бы никак отозваться; есть много болей у нас, которым он уже не сможет дать утешения; он слеп «как старец Гомер» — для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам нужнее, как ночью, в лесу — умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ея же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынность и обожание. Мы его «обожали»: так поступали и древние с людьми, которых нет больше».

Розанов, таким образом, интерпретирует культ Пушкина как показатель чисто музейного значения поэта. Отчасти Розанов прав — хотя бы в утверждении относительно большей современности Толстого и Достоевского как психологических аналитиков и первооткрывателей многих тем — но только отчасти. И характерно, что на страницах этого же номера журнала сами писатели опровергают его суждение.

Так, Д. С. Мережковский в статье «Праздник Пушкина» попытки отрицать значение поэта вспоминал с иронией: «Вчера Спасович разоблачил умственное ничтожество Пушкина; Вл. Соловьев по Лимонарию приговорил его к смерти; один из малых сих прошелестел своим стихийным шелестом о нравственном ничтожестве Пушкина; Л. Толстой согласился с саратовским мещанином, что простому человеку можно с ума сойти от бессмысленности почестей, воздаваемых Пушкину, вся заслуга которого заключается лишь в том, что он писал неприличные стихи о любви, — согласился с тем же саратовским мещанином и с Вл. Соловьевым, что Пушкин — человек больше, чем легких нравов, и что он умер на дуэли, как убийца, как язычник. Да: все это было вчера. А сегодня — «царские почести» Пушкину...».

Еще более показательна в этом отношении статья Н. Минского «Заветы Пушкина», в которой он утверждает преимущественное право символистов наследовать Пушкину: «И вот, читая в газетах, что на улице русской литературы готовится в память Пушкина небывалый по многолюдству и блеску праздник, в котором должна принять участие вся интеллигенция России, я невольно себя спрашиваю: кто же, собственно, из ее представителей, какое из шести колен по своим убеждениям, симпатиям и вкусам встретит пушкинский юбилей не с равнодушием, как случайное календарное празднество, а с радостью и гор-

достью, как единственный по значительности праздник красоты и духовной свободы? Не наши ли радикалы, выросшие на критике Писарева и на уверенности, что Пушкин — маленький и миленький версификатор? Не экономические ли материалисты, убежденные в том, что вся-то поэзия не более как пустяшная пристройка, что-то вроде веселого балкончика, на солидном здании экономических отношений? Не просвещенные ли либералы, считающие Пушкина дурным гражданином, в котором большой талант парализовался мелким характером? Не консерваторы ли, видевшие в Пушкинском празднике, главным образом, противовес юбилею Мицкевича и чуть ли не одно из орудий славянского единения? Наконец, не моралисты ли, не могущие простить Пушкину ни его греховной жизни, ни еще более греховной смерти? Кто же, о господи? Остаются еще символисты. И мне поистине начинает казаться, что на улице русской литературы готовится лишь парад пушкинского юбилея, праздник пушкинской поэзии со всею искренностью и радостью будет отпразднован лишь в одном из литературных переулков, именно в том, где обитают поклонники символизма и эстетики».

В противоположность Розанову, Минский провозглашает Пушкина наиболее современным писателем, традиции которого только теперь находят своих подлинных продолжателей: «Но что же сталось за все это время с пушкинскими заветами? Забытые русской интеллигенцией, полузабытые остальной Россией, они, подобно заброшенному священному огню, охраняются немногими «жрецами искусства», или, говоря проще, немногими писателями, любящими красоту и боящимися духовного рабства: прежде Фетом, Майковым, Полонским, теперь — символистами (...) Стих Пушкина кажется им отрадным духовным событием, вопрос же о том, женится ли Нехлюдов на Катюше, — совершенно безразличным. Они сладкие звуки предпочитают горьким и кислым, молитвы — проповедям, жезл волшебника — учительской указке, свободный простор, где душа то падает, то поднимается, — затхлому углу, где будто бы происходит воскресение мертвеца. Русская литература начиналась с пушкинской стихийной искренности. Неужели она должна окончиться самодовольством и святошеством? Не хочу этому верить. Покуда «жив будет хоть один пиит», пушкинские заветы не исчезнут».

Оценка Пушкина Ф. Сологубом, данная в статье «К всероссийскому торжеству», также по сути противоположна розановскому тезису об академическом значении Пушкина: «Поэт и человек равно необыкновенный, человек пламенных страстей и холодного ума, в себе нашедший верную меру для каждого душевного движения, на точнейших весах взвесивший добро и зло, правду и ложь, ни на одну чашу весов не положивший своего пристрастия, — и в дивном и страшном равновесии остановился оне, — человек великого созерцания и глубочайших проникновений, под всепобеждающею ясностью творческих изображений скрывший мрачные бездны». В дальнейших своих выступлениях символисты, одновременно отталкиваясь от Пушкина и противопоставляя себя ему, продолжали отстаивать свое особое право на наследование пушкинских идеалов. Так, Вяч. Иванов видел в поэте первого выразителя трагедии «разрыва между художником нового времени и народом», указавшего и исход из этой трагедии — в обращении поэта к «уединенной работе духа». С точки зрения Иванова, именно на этих путях истинный символизм должен «примирить Поэта и чернь в большом всенародном искусстве» (Весы, 1904, № 3). Мысль о том, что символизм призван углубить и развить пушкинское направление, иначе обосновывается в статье А. Белого «Апокалипсис в русской поэзии» (Весы, 1905, № 4). Не случайно именно на материале пушкинского творчества А. Белый, В. Брюсов, А. Блок стремятся реализовать свои чисто научные опыты исследования поэзии. В основе «пушкинизма» символистов лежит их убеждение, однажды сформированное Брюсовым в особой заметке «Почему должно изучать Пушкина?»: «В наши дни никто более не сомневается, что Пушкин — величайший из наших поэтов, что его влияние на русскую литературу было и остается огромным...»

При посредстве тех же самых литературных сил культ Пушкина ограниченно перешел в советскую эпоху. Весьма показательно в этом отношении торжественное чествование памяти Пушкина в февральские дни 1921 года в Доме литераторов, на которых с речами о поэте выступили А. А. Блок, В. Ф. Ходасевич, Б. М. Эйхенбаум, А. Ф. Кони и Н. А. Котляревский. Уже то, что, как и для Достоевского, для Блока Пушкин оказался подходящим поводом к тому, чтобы высказать свое собственное «исповедание веры», тем более высказать перед смертью, говорит о многом. Но в речи Блока «О назначении поэта» Пушкин оказывается не только поводом, но и образцом — образцом истинного поэта. В то время, как деятели «Пролеткульта» кричали о «бесполезности» и даже вредности для пролетариев наследия Пушкина, когда отдельные поэты-футуристы призывали «атаковать» писателя, Блок сказал: «Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники; завтра хотят «сбросить с корабля современности». То и другое определяет только этих людей, но не поэта; сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна; то или иное отношение людей к поэзии в конце концов безразлично. Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта». Одновременно В. Ф. Ходасевич в своей речи «Колеблемый треножник» предсказывал второе после писаревских времен «затмение пушкинского солнца»: «Оно выразится не в такой грубой форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но — предстоит охлаждение к нему... Треножник не упадет вовеки, но будет периодически колебаться под напором толпы, резвой и ничего не жалеющей, как история, как время — это «дитя играющее», которому никто не сумеет сказать: «Остановись! Не шали!» Но и полный не напрасных предчувствий «полосы временного упадка и помрачения» культуры и «омрачения» с нею вместе образа Пушкина, Ходасевич пророчески убежден: «О, никогда не порвется кровная, неизбывная связь русской культуры с Пушкиным. (...) Отодвинутый в «дым столетий», Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость им выльется в несокрушимые, медные формы». При этом Ходасевич с чувством «жгучей тоски» писал об утрате непосредственной близости с поэтом — «той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, грядущие поколения знать не будут (...) многое из того, что видели и любили мы, они уже не увидят». Напротив, Эйхенбаум был полон надежд на освобождение от «всего школьного и мертвого, что можно сказать на русском языке о Пушкине»: «Не монументом, а гипсовой статуэткой стал Пушкин. Об этой жалкой гипсовой статуэтке, об этой безделушке, украшавшей будуары, кричали футуристы, призывая сбросить ее с «парохода современности». Да, того Пушкина, которым притупляют нас в школах (и будут притуплять!), того Пушкина, именем которого действуют художественные реакционеры и невежды, того убогого Пушкина, которым забавляются духовно-праздные соглядатаи культуры, — этого общедоступного, всем пригодившегося и никем не читаемого Пушкина надо сбросить». Если в предшествующей литературе традиции Пушкина, как полагает Эйхенбаум, по-своему развивали Тютчев и Фет, символисты и «новые классики» (Кузмин, Ахматова, Мандельштам), то теперь «настоящей, несомненной, чуть ли не единственной традицией» становится Пушкин.

Этот оптимистический прогноз Эйхенбаума, к сожалению, оказался справедливым лишь для некоторой части советского литературоведения. В целом же для культуры и прежде всего для литературы, не напрасными были опасения Ходасевича. Однако и в пушкиноведении очень скоро возобладали новые тенденции, при которых жизнь поэта стала интерпретироваться как «трагедия приспособленчества» (Луначарский А. В.) и даже гуманизм пушкинского творчества объявлялся «буржуазным»: «Когда в «Капитанской дочке» во имя заячьего тулупчика притупляется вражда между вождем восстания и екатерининским офицером, когда этот екатерининский офицер ради любви к женщине разъезжает как с другом с руководителем инсургентов — все это не что иное, как провозглашение человечности. Что же такое отвлеченная человечность, подымающаяся над сословностью? Это — типическое выражение буржуазной идеологии, выступающей против крепостнического строя» (Пушкин в марксистском литературоведении. Дискуссия. Лелевич Г. Доклад. В кн.: Литература. Под ред. А. В. Луначарского. Л., 1931.). Сам же Б. М. Эйхенбаум сделался объектом критических атак, подобных статье Т. К. Ухмыловой «Против идеалистической реакции Эйхенбаума».

И тем не менее, происшедшее все-таки в 1930-е годы возрождение или даже усиление того культа Пушкина, который сложился еще в недрах русской культуры, представлялось фактором огромной важности как явление поворота к культурному возрождению страны. «И вот новая загадка, — было сказано в юбилейном пушкинском номере эмигрантского журнала «Иллюстрированная Россия», — самый личный, самый безудержный «художник», Пушкин вдруг стал *сейчас* кумиром той России, которая чуть было вдребезги не разбила самую его лиру и все, с нею связанное. Но — опомнилась... Как будто более других дошел он вновь до родины. В добрый час. Если и не одной России он принадлежит, то да будет ей вновь светлой утренней звездой. Пора бросать потемки. Пора стать скромными, умыть лицо, следить звезду». Автору этих строк Б. Зайцеву на страницах того же журнала вторил Д. Мережковский: «Что Пушкин для нас? Великий писатель? Нет, больше: одно из величайших явлений русского духа. И еще больше: непреложное свидетельство о бытии России. Если он есть, есть и она. И сколько бы ни уверяли, что ее уже нет, потому что самое имя Россия стерто с лица земли, нам стоит только вспомнить Пушкина, чтобы убедиться, что Россия была, есть и будет».



Сергей Акимович КИБАЛЬНИК, 1957 года рождения, литературовед, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Автор ряда исследований и эссе о русских писателях, брошюры «Пушкин и современная культура» (1989), книги «Русская антологическая поэзия первой трети XIX века» (Л.: Наука, 1990). Живет в Ленинграде.

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

ТВЕРСКОЙ ВЕНОК

Потихоньку возрождаются и у нас добрые духовные традиции. Недавно тверяки получили новую книгу «Тверской венок Пушкину», составленную их земляком, журналистом и пушкиноведом А. Е. Смирновым. А иллюстративную фотовкладку выполнил известный мастер фотографии, в прошлом тоже тверяк Ю. Н. Садовников.

Книжка эта, несмотря на небольшой объем, вобрала в себя память тверской земли о великом поэте, который много раз пересекал ее просторы, то направляясь в Москву, то возвращаясь в Петербург, то наведываясь в гости к своим друзьям в Берново, Старицу, Торжок. Ведь именно здесь поэт воскликнул вдохновенно, поразив нас своей восхитительной строкой: «Мороз и солнце; день чудесный!»

Да, краеведческая литература у нас еще в пасынках. Крайне редки хорошие книги, созданные местными краеведами, но тем дороже добрая удача. Ведь слишком долго все силы тратились на громкое провозглашение лозунгов, на вытравливание из души тепла родной земли ради великой объединяющей идеи. Теперь, после многих лет духовного опустошения, нам предстоит возрождаться и возрождаться...

Как же тут можно обойтись без Пушкина, без его могучего дара освещать все духом и душой: «Скользя по утреннему снегу, Друг милый, предадимся бегу Нетерпеливого коня и навестим поля пустые, Леса, недавно столь густые, И берег, милый для меня».

Как тут душе не встрепенуться, не опечалиться, не загрустить...

Арс. КУЗЬМИН

ТВЕРСКОЙ ВЕНОК ПУШКИНУ: Сборник. — Калинин: Моск. рабочий, Калининское отделение, 1989.

МЫСЛИ РОЗАНОВА

Нет, наверное, более современного мыслителя, чем Василий Васильевич Розанов, «ужасающе современного», как сказал о нем уже в наше время английский писатель Д. Лоренс. Какую из «болевых точек» ни взять, будь то «русская идея» или свобода слова, печати, мысли Розанова предстают так, будто высказаны они не в 1905 или в 1915, а в пылу обжигающих полемик наших дней. Быть может, не случайно и сам Василий Васильевич Розанов приходит к нам только сейчас, на пятом году перестройки. Раньше мы еще попросту не дотянулись до его степени откровенности и остроты разговора на темы, бывшие десятилетиями запретными. Из нашего сознания оказался вырезан этот участок мозга, на его месте зияла бездна.

Конечно, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е годы были люди, читавшие и «Опавшие листья» и «Апокалипсис», да и в библиотеках были изъяты далеко не все из 30 розановских книг по философии, истории, религии, литературе. Но я говорю не об этих сотнях или тысячах, все читавших и все знавших, имевших доступы в спецхраны, а именно о массовом сознании, которое многие из них и блюли, отмеряя меру дозволенного другим. В этом массовом сознании вообще не оказалось места не только Розанову, но и всей русской религиозно-философской мысли XX века. А в результате произошла умственная стерилизация миллионов. Самый чудовищный эксперимент, который когда-либо знала мировая история.

И все-таки этот эксперимент закончился крахом. О чем свидетельствует и эта книга. Первая книга выдающегося русского мыслителя и философа В. В. Розанова, вышедшая в свет ровно через 70 лет после его смерти от голода в Сергиевом Посаде 23 января 1919 года. Ровно столько же продержался запрет на его имя, хотя еще в 1926 году М. Горький писал М. Пришвину: «Верно, Михаил Михайлович, сказали вы о Розанове, что он как «шило в мешке — не утаишь!». История показала, что от грядущих поколений не удалось «утаить» не просто Розанова и другую «крамольную» литературу, а саму свободу слова, свободу мысли.

В этом сборнике представлено литературно-критическое наследие В. В. Розанова, в том числе его статьи о Пушкине: «О Пушкинской Академии» (1899), «Заметка о Пушкине» (1899), «Еще о смерти Пушкина» (1900), «Домик Пушкина в Москве» (1911), «Возврат к Пушину» (1912). Если к ним добавить еще одну статью В. В. Розанова «Пушкин и Лермонтов» («Новое время», 1914, 9 октября), то мы получим почти всю розановскую пушкиниану. «Пушкин есть поэт «мирового «лада», — ладности, гармонии, согласия и счастья», — замечает он, раскрывая этот «мировой «лад» личности и поэзии Пушкина.

К. ЛУГИН

Розанов В. В. МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ. — М.: Современник, 1989. (Б-ка «Любителям российской словесности. Из литературного наследия»).

ВРЕМЯ

Идеи.
Диалоги.
Поиски.

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..

Т. Г. Шевченко

АНАТОЛИЙ ШВИДЕНКО

«Думи мої, думи мої»...

полемические заметки

Зима нынче плыла какая-то совсем ненастоящая, мутным мороком стояла над обнаженным грязью миром, январский дождь плескался по столичной сырости. Кажется, обещанное глобальное потепление уже разносит этот непрочный мир... Телевизор с удручающей частотой приносит столь одинаковый облик толпы, оглушенной ненавистью. Перечень городов с битыми витринами мелькает в становящемся привычным калейдоскопе средств массовой информации.

Ненависть — к кому? Война — с кем? Парни со славянскими лицами, подставляющие себя под ругань, камни и пули — они, видимо, в чем-то виноваты?..

Да, легко говорились ранее прекрасные слова о дружбе народов наших, о братстве, о том, что есть единственный путь человеческого прогресса — в мире и сотрудничестве, в уважении достоинства других. И слова-то глубинно истинные, как отражение того самого главного в духовной сути человека, которую собирал он и утверждал сквозь все потрясения до- и послехристовой истории...

Но вот — за три последних перестроечных года (несомненно самых демократичных лет нашей новейшей истории) — развал «империи»? Время разбрасывать камни или время собирать их? Или действительно «бездна сомкнулась над ними», и осталось целиться камнями, да и не только ими, в себе подобных?

Во все времена правыми сначала становились те, кто задавал вопросы. Позже оказывалось, что истина все же за теми, кто пытался ответить. Что не мешало первым давить при жизни вторых, руководствуясь высшими интересами народа, разумеется. Но сегодня нет возможности ожидать, когда же время определит суть бытия — с ответами можно безнадежно опоздать.

Впрочем, на один вопрос теперь все знают ответ: откуда и как мы пришли к такой жизни. Мы были плохими марксистами, и в свое собственное учение верили ровно настолько, насколько это было кому-то в какой-то момент выгодно. А ведь все до удивления просто. Любая система — я использую этот термин в его обычном общенаучном понимании — жизненна ровно настолько, насколько широк у нее диапазон устойчивого состояния и насколько эффективен механизм возврата в это состояние, если какие-либо причины нарушат нормальное функционирование системы. Разнообразие — непременное условие жизненности системы. Авторитарная система, любой тоталитарный режим рано или поздно обречены на неминуемую гибель, особенно, если главным регулятором является известный всему миру полным отсутствием каких-либо сомнений «вологодский конвой».

Но мы отмахнулись от еще одной общенаучной истины, хотя в несколько упрощенном физическом варианте она известна со времен Галилея, а ныне нашла свое блестящее воплощение в знаменитой теореме Гёделя. Одна из не очень научных формулировок этой теоремы утверждает, что в каждом языке есть положения, недоказуемые средствами этого языка. Применительно к общественным системам это значит, что никакой авторитарный строй не в состоянии контролировать себя своими внутренними средствами, то есть он лишен реальных возможностей регулировать свое поведение при изменении ситуации. Правящей партии для ее собственного выживания нужна достаточно сильная оппозиция в виде любых дееспособных общественных движений — будь то иные партии или еще что-нибудь. В противном случае будет то, что случилось с нашей партией.

Но мы сделали еще одно — на коротком историческом отрезке совсем мало поправимое — заменили общечеловеческие истины классовым чутьем. Я не хочу, чтобы это выглядело еще одной (ныне весьма модной) попыткой ругнуть коммунистическое учение. Можно верить в Христа, можно в Будду, можно в коммунизм. Главное, как сказал писатель, не в том, чтобы молиться, а в том, чтобы верить. Мне — по убеждению и пониманию — ближе как раз коммунистическая вера. Но беда в том, что истинность классового утверждалась насилием (и в отношении самого класса — гегемона), и насилие стало знаменем, многократно проявлялось во всевозможных ипостасях, вошло в плоть и кровь, стало частью самих нас. Раньше мне представлялось безусловно истинным знаменитое в дни моей молодости суждение талантливого поэта — «Добро должно быть с кулаками...». Но ведь кулаки — это не естественная часть человека, это — направленное против кого-то состояние. И очень важен тот базис, на основании которого определяется, что есть добро и что есть тот объект, против которого — добро с кулаками...

Так что жизнь нашей страны — простые следствия из известных математических теорем. Нужно было уничтожить инакомыслящих — это проводилось с последовательностью, совсем уж нетипичной для нашего строя. Естественно, первой была интеллигенция («разумная, образованная, умственно развитая часть жителей» — Даль). Затем неизбежно должен был нанесен смертельный удар по культуре («образование, умственное и нравственное» — тоже Даль). Без культуры нет духовности, без духовности — умирает нравственность. О, как радостно превращались церкви в конюшни, мечети в свинарники, бессмертие человеческое — в тлен, бессмысленное удобрение. Всякая нация должна пройти путь от варварства к культуре, прежде чем она, культура, начнет свой путь к расцвету и смерти. Где мы были на этом пути в эпоху великих российских гениев слова и духа конца прошлого столетия, можно догадываться; но если мы действительно имели тот общественный строй и правительство, которых заслуживали, то нам еще далеко до периода, когда расцвет культуры будет угрожать.

Но ради сегодняшнего и завтрашнего надо задуматься, почему так могло случиться в нашей стране, почему народ такой незамутненности и силы духа, верности традициям высокой нравственности и глубинной веры оказался беспомощным пленником примитивной демагогии и надругательства над здравым смыслом. Сколь бы обидным и горьким ни было это, но в истории XX века самыми близкими нашим государственным структурам явились фашистские диктатуры, а наша «машинная походка» — путем к гибельной одинаковости духа.

Надо до конца осознать и честно признать, что потери наши духовные столь велики, а нравственность столь глубинно разрушена, что потребуются многие годы, возможно, поколения, чтобы подняться из этого пепла. Понять, сколь велика генетическая опустошенность и сколь мощны силы разрушения, созданные нашим прошлым и освобождаемые перестройкой, чтобы уверовать, что нет другого пути, кроме разумной эволюции, терпения и обращения к самим истокам духовного здоровья народов.

Если не играться в наивные игры и не заниматься преступным политическим шулерством, то становится очевидным, что перестройка не имеет альтернативы. Точнее, она есть, но единственно реальный ее вариант столь страшен (это — диктатура, неизбежно и неограниченно кровавая), что разум нормального человека не может ее допустить. Объективные предпосылки для умеренного оптимизма существуют. Новая Платформа партии — прогрессивное продвижение, подобного которому история последнего семидесятилетия не знала. Конечно, и здесь мы продемонстрировали еще раз догматизм и консерватизм нашей партийной машины, ее отъединенность от народа, неумение оперативно откликнуться на общественное развитие. Если бы решения февральского пленума (и сейчас не во всем последовательно радикальные) состоялись двумя годами раньше — скольких бы проблем удалось избежать. Но есть в этих решениях главное — ощущение необходимости немедленного действия, понимание того, что мы стоим у черты, и нет иного выхода, как поиск конструктивного пути, чтобы не свалиться в яму, в тесноте переполненного пространства которой не остается ничего другого, как поедать друг друга.

Буду следовать своей марксистской вере. Освобожденные общественные движения не могли быть ничем иным, как национальными по форме. Равно как гнет и подавление общечеловеческих свобод имели всегда национальную окраску.

Надо признать аксиому, что каждый народ имеет право жить на своей земле так, как он захочет. Что каждый народ имеет право на подлинный политический, экономический и культурный суверенитет, на свой язык, историю и культуру.

Язык есть свидетельство существования нации, символ осознания народом самого себя, явление для мыслящей части вселенной поистине космическое. Воистину — «только ты мне поддержка и опора, о великий, могучий русский язык» — сказал русский человек Иван Тургенев. «Я на сторожі коло них поставлю слово» — это уже украинец Тарас Шевченко. Только многообразием языков и культур живет и обогащается человеческий дух. «Слово, как и злак хлебный, вырастает из той земли, на которой живешь и в которую ляжешь» — первопечатник Иван Федоров. Нет без родного языка родины, нет истории и очищающей силы могил предков, рвется эстафета чести и достоинства — непременных свидетелей духовности и нравственности.

Но это еще не вся истина. Закончу хрестоматийную цитату, начатую выше. «...Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что свершается дома» — это Иван Тургенев. А это Тарас Шевченко:

І день іде, і ніч іде,
І, голову схопивши в руки,
Дивуюсь я, чому не йде
Апостол правди і науки.

Можно более отчетливо: «Вопрос о национальной культуре есть вопрос частный, который должен разрешиться на фоне общей свободы». Простим украинцу В. Короленко неприемлемое для сторонников ортодоксальной национальной идеи слово «частный». Отметим другое — нет, не было и не будет национального возрождения без общей свободы. Можно было бы приводить многие доказательства, но давайте просто задумаемся, почему культурные и социальные потери русского народа не менее велики, чем потери других народов нашей страны. Почему русские в массе своей живут так же плохо, как все остальные (должен был написать — живут хуже, — но глубоко безнравственно сравнивать меру народных лишений). Почему на душу населения РСФСР почти по всем показателям союзного распределения приходится меньше, чем в любой другой республике. Почему?!.

Уверен, надо об этом говорить, ибо слишком долго понятие общей несвободы связывалось с именем русского народа. Какое отношение имеет русский народ к государственной политике русификации, столь блистательно продолженной из имперских времен наркомом по национальностям Иосифом Сталиным и его продолжателями?

И еще одно. Язык — это воплощение многовекового опыта народа. Русский язык аккумулировал в себе дух великих пространств, многообразие земель и речений. Это, умноженное на гуманизм и нравственность исконной русской культуры, придало языку могучую силу естественной ассимиляции. Мне кажется, что его распространение было бы значительно более интенсивным в условиях отсутствия какого-либо национального давления. Ведь можно спросить, почему столь быстро и бесповоротно английский язык стал практически единственным для разноплеменного населения Северо-американских соединенных штатов?

Конечно, бессмысленно ставить вопрос: где истина — в национальном или общечеловеческом; понятно, что общечеловеческое может проявляться только через национальное, но пустым становится национальное без животворной сердцевины общечеловеческого. «Прекрасная вещь — любовь к отчизне, но есть еще нечто более прекрасное — любовь к истине» (П. Чаадаев).

Как бы ни было, движение за национальное возрождение сегодня — реальность и мощная общественная сила, неоднозначная, неоднородная, рожденная глубинными проблемами перестройки. И не только в республиках, но и в России. Самоопределение, самостоятельность, суверенитет... изменение экономических отношений с центром и другими республиками... формирование государственных

А. Швиденко выступал в № 5 за 1989 г. со статьей «Начало начал».

структур, не связанных с центром — это из предвыборных программ российских депутатов. Если всмотреться попристальней, то очень похожими оказываются общественные движения практически во всех республиках.

Сегодня у нас запутаннейшие национально-государственные структуры. То, что оставил в этой части «вождь народов», великий специалист дьявольской игры по превращению всех в эмигрантов собственной страны, поистине ужасно. Принудительная коллективизация, голод, раскулачивание, грандиозные переселения, геноцид против целых народов; маниакальная политика создания гигантской индустрии, требующей притока специалистов и рабочих из всех регионов страны; операции типа целины и БАМа... Страна, превращенная в мешанину рас и народов, конгломерат, не помнящий родства. 65 млн. переселенцев, из них 25 млн. русских, живут не на земле своих отцов. Но это реальность, и с ней нельзя не считаться. Никто не объяснит, почему один народ имеет статус союзной республики, а другой, более многочисленный, — только автономной? Как уравнять в правах с национальными одноязычные административные образования? Каким должно быть минимальное население, чтобы нация могла осуществлять самоуправление? Как реализовать это право в общегосударственных структурах? Вопросы, вопросы... А за ними — жизненно важное: пути реализации суверенитета, право собственности на землю и природные ресурсы.

Призывая к самоопределению и самостоятельности, нужно, видимо, задуматься — свобода от чего и для чего. Чувство национальной эйфории — прекрасное чувство, но ведь одними чувствами не проживешь, надо строить жизнь и работать. Так понимают ли голосистые борцы за немедленное отделение от Союза, что вся наша индустрия находится в таком состоянии, что удержаться мы можем только на исконно дешевом нашем сырье, а движение к мировому уровню производства архитрудно и длительно? Что сейчас надеяться на помощь капиталистического «дяди» не приходится? А под силу ли самостоятельно любому народу исправить тот урон, который нанесла всем прежняя политика? Чернобыль — Белоруссии, Украине, Брянщине? Как остановить деградацию миллионов гектаров земель жителям Каракалпакии? Последствия монокультуры хлопка в среднеазиатских республиках и загубленный Арал? Может стоит вспомнить, как вырубка лесов в Эфиопии губит Нил и жизненную основу соседнего народа, и ие возникнет ли такой вопрос с Днепром и Неманом?

Мы, как старательные школьники, пытаемся научиться жить у Запада. Может необходимо понять, что ведет к федеративиому устройству Европу. Мне скажут — они добровольно. А кто же мешает теперь это добровольно сделать нам?

Особая надежда на интеллигенцию в понимании того, сколь ответственными могут оказаться решения, принимаемые сегодня. Отрадно, что это понимают лидеры многих общественных движений. Давайте послушаем основателей и идеологов массового Народного движения трудящихся Украины за перестройку («Рух»).

«Только традиционная склонность к навешиванию ярлыков способна и сегодня так безапелляционно, самоуверенно, в духе дремуче-застойных времен осуждать любое проявление живой, недогматической мысли, изображать возрастающую гражданскую активность населения республики, как нечто подозрительное, а патриотическую, вполне естественную деятельность в защиту угнетенного родного языка и культуры, в поддержку национального возрождения народа, представлять как деятельность, направленную против кого-то, разумеется, прежде всего людей других национальностей. На умельцев сеять подозрения, культивировать ненависть, натравливать одних на других, у нас никогда не было дефицита, devide et empera известно еще из римских времен, но мы не такие наивные, чтобы в нашем цивилизованном бытии не научиться читать подтексты, чтобы и далее выискивать образ врага там, где его нет, где в противовес этому встают перед нами гуманистические, такие ясноречивые, самой жизнью продиктованные истины: взаимодоверие, взаимоподдержка, братское всечеловеческое единство перед лицом будущего...» Это — Олесь Гончар.

«Мы призываем не к выходу из Советского Союза, а к превращению СССР в созвездие свободных государств, объединенное настоящей волей нации.

...Осознаем также, что с русским народом нам жить во веки веков по соседству и, как до сих пор украинская история переплеталась с русской, так и завтра она не будет другой, но в будущем переплетении наших судеб мы хотели бы видеть не вражду и кровь, а сбратанность и взаимопомощь, как это нередко бывало на уровне контактов и дружбы между представителями наших культур.

Хорошо осознаем — украинский национализм как крайняя реакция на шовинистические давления и унижения не в состоянии нам ничего предложить, кроме слепой ненависти и злобы.» Это — Дмитро Павлычко.

«Сооруженный в каком-то гадючьем гнезде призыв «В крові москалів утопимо жидів» — рассчитан на конфронтацию и разбрат, это осквернение и бесчестие самых лучших и самых чистых наших идеалов». Это — Иван Драч.

Сложно найти в этих словах национализм, а ведь именно обвинение в национализме явилось главным в кампании шельмования движения, которая так мощно была организована в республиканских средствах массовой информации. Думаю, что причина этому точно была изложена тем же Д. Павлычко: «Оказалось, что существует будто бы две концепции перестройки. Одна — поистине партийная, глубинная, с некоторыми оговорками можно сказать московская, которая дает возможность народам возродиться, поднять из-под ног суверенитет, язык, культуру, перейти на республиканский хозрасчет и действительно народное самоуправление. Вторая концепция — наша официально-республиканская, что разными методами пытается спасать командно-административную систему, подкармливать неудовлетворение перестроечными изменениями, пугать народ придуманным разгулом национализма среди творческой интеллигенции, представлять инициаторов Движения, несомненно, честных и смелых граждан, как рвущихся к власти авантюристов».

Надо признать, что движения были вызваны к жизни медленностью перестроечных решений и отсутствием реальных результатов. Их могучее развитие — свидетельство падения авторитета партии и государственных структур.

Но — при всех прогрессивных началах движений — есть ли гарантия, что они удержатся в разумных и гуманных рамках?

Таких гарантий нет. и причины этому достаточно серьезны.

Есть чувство исторической обиды, груз ошибок прошлых лет. Буду говорить об Украине. Долго проводившаяся политика угнетения украинского языка и культуры привела, например, к тому, что в городе Днепропетровске из 146 всего 7 школ ведут преподаванне на украиском языке. Многие, мягко говоря, неразумные народнохозяйственные решения, принадлежащие центральным управленческим органам — так на площади менее 3% союзной, где проживает почти пятая часть жителей страны, сосредоточено 40% атомной энергетики страны. Тяжелейшая экологическая ситуация. 30 процентов «союзных» выбросов в атмосферу. Чернобыль — на многие годы символ горя и боли. Но здесь множество нерешенных проблем еще и сегодня. После четырех лет проживания из ряда зараженных мест только начинают отселять людей. Сколько из них обречено? Как легко в этой ситуации найти объект ненависти, трансформировать ее на людей другой национальности.

Есть ощутимое сопротивление командно-административной системы, ее объективная неприспособленость к развитию в связи с изменяющейся обстановкой, растерянность и фактическое бездействие многих ее представителей.

Есть отчетливое ощущение недостатка общей культуры в генерации «новых функционеров», национальных и неформальных, особенно в молодежных организациях, оторванность их от глубинных народных и гуманных начал.

Есть заметное влияние теневой экономики и уголовных элементов, подталкивающих процесс к дальнейшей дестабилизации по принципу «чем хуже, тем лучше».

Есть бесспорные проявления национал-карьеризма.

Есть чрезмерная увлеченность «митинговым синдромом» — тем бесспорным свидетельством недоразвитости нашей демократии и неготовности многих из нас искать пути в созидательном, а не в столь знакомых призывах к насилию.

И еще одно. Религия — великая нравственная сила, но вот цитата из интервью, данного одним из идеологов Народного фронта Азербайджана литовской газете «Согласие» (цитирую по публикации в армянской газете «Коммунист» от 16 декабря 1989 года).

«Народный фронт Азербайджана рассматривает СССР как дуалистическое государство: мусульманско-христианское или, точнее, тюркско-славяиское... Мы не рассматриваем даже возможности выхода из СССР, так как для нас это был бы выход из тюркского единства. А вот возможный выход прибалтийских республик был бы нам выгоден: на три европейских христианских народа будет меньше... Мусульманам невыгоден развал СССР и, тем самым, распад тюркского единства»... И далее. «Я был в Ферганской долине, Ашхабаде, Казани, Ташкенте и нет у меня сил описать увидеиное там. Они сотворили ад из наших земель. Предприятия плохие, условия вредные. А посмотрите на заводы в Иваново: чистота, порядок, путевки профсоюзные на отдых, женщины в халатиках. На нашей шее сидят, иа узбекском хлопке работают. Но однажды мы их возьмем за горло: «Что, хорошую жизнь себе устроили? А посмотрите, как наши женщины работают в 40-градусную жару, когда даже собака ползет в тень, а люди под палящим солнцем!»

Нет слов, судьба женщии среднеазиатских республик и самих республик — еще одна горькая беда на лице бытия нашего. Но вот в остальном — как говорится, комментарии излишни. И как легко трансформирован объект ненависти. «Они» — это не кунаевско-рашидовская камарилья с присными, они — все русское, славянское, христианское. Не в этой ли философии один из истоков декабрьских погромов в Баку — «за горло!» Что же — «По плодам их узнаете их», как сказано в Евангелии от Матфея.

Но все имеет свою логику: движения и блоки завоевывают большинство в Советах, приходят к реальной власти. Над ратушей старого Львова «законно» — так решили вновь избранные городские депутаты — плещется желто-голубой флаг с трезубом... Но все отчетливей та истина, что сегодня главным стаиовятся не эмоции, безапелляционная размашистость суждений, а нередко — и умение играть на общественных настроениях. Пришло время определить свой путь в перестройке конкретными делами. Показать свою компетенцию и умение созидать. Так каким путем пойдем, братья славяне?!.

Люблю Украину! Что есть ощущение Родины? Правда, которая всегда с тобой. Милость макрокосма мгновению, прорыв души человеческой в вечность звездных надпространств.

Люблю Украину. Нет, националист не тот, кто хочет счастья своему народу, кому дорог его родной язык. Националист — тот, кто хочет унизить другой народ, а значит, и свой собственный. «Нет ничего отвратительнее национализма», — говорит мой старый друг. «Нет ничего святее чувства единения с родной землей», — соглашаюсь я с ним.

Жизнь каждого человека — частичка коллективного сознания своего народа и времени. Память возвращает меня в ныне столь далекие первые послевоенные годы. Отец вернулся с войны инвалидом, но, слава богу, вернулся. Весной 47-ого было очень голодно: не помню причины — то ли неурожай, то ли что-то еще придумали сподвижники «отца народов». Яркой прозеленью вспыхнул апрель — наверное всегда самый трудный месяц для голодающих сел. Пухли от голода детишки. Умирали люди часто, но хоронили их с музыкой, четверо в старых шинелях выдували из медных труб тоску. В апреле музыка играла...

К лету становилось легче. На трудодень в те годы давали грамм по 100 зерна, но поднимались огороды, можно было нарыть ранней картошки. Веселели родители. Вечерами председатель сельсовета, одноногий Кость Иванович вытряхивал ботву из мешков колхозниц, идущих с работы, находил прихваченные с колхозного поля еще мягкие колосья, замахивался костылем и кричал пропитым голосом «ты фрица ждешь!», но по начальству, кажется, не доносил (полагалось немало лет за подобное «хищение социалистической собственности»).

Жизнь была небогатая. Десяток километров непролазных черноземных хлябей до райцентра. Зимой в холодных школьных классах нас поднимали через четверть часа. мы стучали ногами и прыгали, чтобы согреться. Отцовская солдатская шинель, под которой спали мы вместе с братом, еще пахла гарью и порохом. Праздник, когда в сельскую лавку завозили карамельку или ящики с сомнительным лимоиадом. Налоги, из-за которых вырубались все сады. Уполюмоченные, выколачивающие хлеб, подписку на займы, выборы с музыкой в шесть утра...

Но была вера — в справедливость мира, в светлое будущее, в то, что мы живем в самой лучшей стране. Жило ощущение радости в детской душе, а это значит, что радость была и в мире. «Что главное в жизни? — спросил мудрец и ответил: — Сегодня». То «сегодня» было счастливым.

Кончилась война, те, кто остался в живых, надеялись на лучшее. Вечерами мы собирались у печи, в которой ярко вспыхивало соломенное пламя, заинтересованно поглядывали, когда мать сварит что-нибудь удивительно вкусное и слушали отцовские песни. У отца был прекрасный голос, профессиоиальный (умели учить в старых учительских семинариях; правда, подрабатывая пением в кафедральном соборе в 19-м году, он порвал голосовые связки), но пел он вдохновенно:

Скажи ж мені правду,
Мій любий казаче,
Що діяти серцю, як сердце болить.
Як сердце застогне, як серце заплаче,
Як тяжко в неволі воно заболить.

Приезжая на заросшее сиренью кладбище, там давно покоится отец, я спрашиваю — а что спели мы своим детям, что запомнят они и унесут в будущее? Какую частичку вечной жизни народной мы утратили и не донесли до них? Есть глубокая печаль в невозвратиых потерях — к нашим отцам не пришли Платонов и Булгаков, Бердяев и Соловьев, и другие, несть им числа; сколько генетически потеряли мы и дети наши, каков нащ личный вклад в длинную вереницу утрат — кто оценит?

Люблю Россию. Не знаю, бывает ли вторая Родина, но как назвать то недробящееся чувство единения с огромной и прекрасной землей, беды и заботы которой так же в тебе, как и тот, озаренный вечным светом, край твоего рождения. Холодная зыбь Охотского моря, пронзительная чистота снегов Сахалина. Непостижимые тундровые закаты, светящаяся в мерцающей прозрачной сумяти приполярной ночи серая лента Енисея... Фантастическое сияние базальтов Такурингры.

Горько-соленая пыль Арала, погубленные реки Украины, рукотворные пустыни Западного БАМа и приенисейской лесотундры. Это все — часть меня, и я спрашиваю — а был бы человек богаче, если бы он не был сопричастен с этим — нет, не как гость, а как труженик на трудной земле своей Родины?..

Я проверяю истинность этого чувства, обращаясь к образам и чести друзей давних и не очень давних лет, сотоварищей по славному таежному братству. Они встают передо мной, хотя многие рассеялись в каких-то иных земных пространствах, а иных уж и нет в этом мире. Мудрец, философ и великий житейский неудачник... Спившаяся романтическая душа и несостоявшийся для людей поэт... Художник и истинный лесовик, воитель за спасение дальневосточных лесов... Настоящий ученый, собрат по длинным таежным и житейским дорогам, цельная и чис-

тая натура. Человек вечной душевной юности и чистоты... Украинец, русский, русский, русский, представитель не запомнившейся какой-то совсем уж редкой национальности... Я думаю о том, что мы никогда не интересовались национальностью друг друга. А рядом — элегантный, воплотивший в себе всю благородную мудрость своего народа грузинский князь... Неторопливый, сохранивший свет в своей душе сквозь жизнь трудную белорус...

Люблю Россию. Что жизнь человека в сравнении с рождением, развитием и смертью этносов... Есть, уверен, в этом генная основа, со времен объединения южных славян в Аитском царстве, со времен Полоцкого и Суздальского княжеств... Много воды утекло с тех пор. Было Кирилло-Мефодиевское братство. Был и указ Екатерины о ликвидации Запорожской сечи, практически положивший конец украинской государственности. Был и Валуевский циркуляр 1863 года («...никакого малороссийского языка не было, нет и не может быть»). Была и большая история XX века (а что знали мы, ныне живущие, из этой истории — ну, например, то, что своим III универсалом Центральная Рада (20.XI.1917), объявив о создании Украинской народной республики, провозгласила ликвидацию частной собственности на средства производства, демократические свободы и восьмичасовой рабочий день), и сталинско-ждановская интерпретация национальных отношений.

Но было, есть и, верую, будет во веки веков непреходящее чувство единства славянских культур, уважение, сострадание и помощь братских народов, есть общие корни, единые символы культуры и духа.

О земля Кобзаря! Я в закате твоем, как в оправе
с тополиных страниц на степную полынь обронен.
Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе
соловьи запорожских времен.
.....
С Украиной в крови я живу на земле Украины
и, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,
На полях доброты, что ее тополями хранимы.
Место есть моему шалашу.

(Б. Чичибабин)

Я верю в то, что поля доброты — неповторимые и великие, российские и азербайджанские, украинские и чукотские, молдавские и узбекские, армянские и белорусские, и все остальные, затаившиеся от лишений и унижений, размытые эрозией духа, станут тем, чем богом дано им быть — основой свободной общности народов.

И мне хочется повторить то, что сказал украинский поэт, не называя его, ибо, убежден, эти слова в отношении к русской нации, с иными именами, может сказать представитель любого народа нашей великой и многострадальной земли: «...Имеием Пушкина, проклявшего Екатерину II за то, что она закрепостила Украину, именем Чернышевского, который во времена запрета украинского слова признал право украинской литературы на достойное место среди писательства Европы, именем Менделеева, который основал в Петербурге украинское культурное общество, именем Платонова, который ощущал Украину до глубиннейших болей Василя Стефаника, именем Сахарова, отстаивающего легализацию УКЦ, обращаемся к вам, россияне: подайте нам руку в это великое и тяжелое время».

Великая нация русичей! Найди в себе в дни испытаний на прочность всего святого, чем существует народная душа, животворные силы, чтобы, как всегда в переломные дни, быть средоточием разума и прогресса, чести и совести, чтобы вместе со всеми народами невозвратно идти к общему очищению и возрождению в действительно свободной семье свободных народов.

●

человек и город

ИРИНА ФИЛИППОВА

Урбанизация, или Раненая душа

Что происходит с русской культурой? С самим русским человеком? Находясь в командировке в Челябинске, я попыталась вместе с местными деятелями культуры ответить на эти вопросы. И оказалось, сделать это совсем нелегко.

Со времен Демидовых на Южный Урал хлынул поток крепостного люда, вместе с коренными жителями этой земли образовалось смешение народностей и произошло взаимопроникновение культур. Исконно русская культура растворилась, как кристаллик сахара в стакане чая. Спросите сегодня у русского — городского или сельского жителя, — что такое масленица или попросите высчитать, когда будет пасха, мало кто ответит. Зато любой житель татарской или башкирской национальности без труда объяснит, что такое ураза или сабантуй. Очень бережно к своим традициям относится и немецкое, и еврейское население.

Сегодня русского населения на Южном Урале более 80 процентов. Но сколько из них осознает себя русскими? Куда теперь девался тот русский дух, о котором когда-то сказал А. С. Пушкин: «...Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»? Да что ж тут удивляться! До семнадцатого года в одном только Челябинске было 13 церквей, теперь по счастливому стечению обстоятельств уцелело лишь 3. А какая ж Русь без Православия, без колокольного звона, без крестов на куполах?

Вглядываюсь в лица горожан в транспорте. (Где их еще увидишь так близко?) Но кроме усталости, какой-то вселенской обреченности и равнодушия, не могу прочесть ничего более. Механически входят, садятся, встают, выходят.

Выхожу на площади Революции — это центр города. Но в отличие от промышленных районов, здесь будто бы другая климатическая зона: и наряды иные, и выражения на лицах. И, кажется, дышится легче. Наверное, пассажирам нужно к проездным билетам прилагать респираторы для проезда в зоне промышленных предприятий.

Уютными и тихими кажутся старые центральные улочки и переулки. Когда-то купеческий город еще хранит свою историю, свое лицо. Почти не встретишь здесь безликих многоэтажек-муравейников.

Челябинск принято называть пролетарским промышленным городом, но это неверно. Челябинск еще и крупный культурный центр на Южном Урале. В городе четыре театра: Оперный театр им. М. Глинки, Драматический театр им. С. Цвиллинга, Театр юного зрителя, Театр кукол. Есть филармония. Даже для миллионного города это немало. Я не буду всуе говорить об этих театрах, это серьезный вопрос и требует обстоятельного разговора. Но горожан тревожит, прежде всего, то, что не удерживаются таланты в городе. Сколько-нибудь выдвигается человек и уезжает (даже не обязательно в Москву). Возникает естественный вопрос: почему?


«Окно в город». Фото Андрея Будаева

Дело, видимо, в том, что в таком большом промышленном городе как Челябинск, культура оказалась подчиненной промышленным интересам.

Приходит в театр молодой талантливый режиссер и предлагает поставить, к примеру, М. Булгакова или А. Вампилова. А ему в ответ: «Мы обслуживаем промышленный комплекс». Не ходи, мол, в наш монастырь со своим уставом. Куда деваться таланту? Ни Гоголя, ни А. Островского, ни Чехова сегодня на театральных афишах в городе не увидишь. Но чем же помешала классика рабочему человеку?

В городе есть, кроме нескольких газет, и собственное книжное издательство. Заглядываю в книжные магазины, спрашиваю, что есть, чем интересуются. Интересуются всем: художественной литературой, классикой особенно, философией, историей, но удовлетворения не находят. Бывают книги местного издательства, но их не хватает и на час торговли. По обмену — пожалуйста, но это для тех, кому есть что менять. Прочим остается разглядывать обложки за стеклом.

Захожу в Публичную библиотеку, спрашиваю книги по истории края, получаю несколько, просматриваю — все тот же сюжет: «Урал — опорный край державы». Кажется, здесь и сама История работает на тот же промышленный комплекс.

Спрашиваю, отчаявшись найти первоисточники, у бабушки: «Как вы до революции жили?» «Дак, хорошо жили, — оживляется старушка. — Семья у нас была большая, хозяйство большое, все работали, никого не эксплуатировали. А большевики пришли, отняли все. Говорят: кулаки вы... Весело жили, — продолжает она, вздохнув, — днем работали, вечером гуляли, песни русские пели, хороводы водили, по праздникам в церкву ходили... Хорошо, дочка, жили... Бог помогал. Да видно, прогневили господа». — — Старушка перекрестилась и смолкла скорбно.

Вот так! В Бога веровали, и Бог помогал, а не стало Бога — и помочь некому.

Озабоченные таким состоянием русской культуры, объединились челябинцы в новую неформальную организацию, часть патриотического объединения «Родина», которую назвали Славянским культурным центром. Организатором и председателем центра является поэт Геннадий Суздалев, человек, болеющий душой за все происходящее, который относится к плеяде людей, могущих что-то сделать, сдвинуть дело с мертвой точки. Суздалев — живой нерв Славянского культурного центра, а сегодня все держится на подвижничестве. Русский человек всегда славился широкой душой и отличался некоторой неорганизованностью. Цель этой организации — спасение и возрождение славянских культур, развитие исторической памяти славянских народов. Челябинский Славянский культурный центр объединяет на добровольных началах всех заинтересованных граждан без ограничений по национальным, политическим, социальным, возрастным и иным признакам. Центр работает на основе демократических принципов в контакте с государственными и общественными организациями.

Не так давно, например, вернули Свято-Троицкой церкви (одна из

трех уцелевших) кресты. Прежде в ней находился Краеведческий музей. Сейчас внутри идут реставрационные работы, обещают скоро вернуть ее народу. И в этом немалая заслуга Центра.

«Но как трудно эти церкви отдаются. Казалось бы, чего проще, — говорит руководитель ансамбля русской духовной музыки «Октоих» В. Усольцев, член Правления Славянского культурного центра, — отдать, сказать: простите нас, Христа ради!.. Не понимают, что не будет возрождения русской культуры, пока не вернут народу то, что было отнято — веру... Почему нас не коробит вид веселенького теремка на Алом поле (в Челябинске), оборудованного под органный зал? Эту икону в камне, собор Александра Невского, построили на народные деньги наши прадеды. И эту святыню истории, культуры и веры во что только не превращали: и в шахматный клуб, и в планетарий... Вот уж поистине памятник нашей бездуховности и бескультурья. Так медленно и неохотно восстановили внешний облик Свято-Троицкой церкви. Ну, а дальше? Внутри собор как бы разрезан пополам потолком, замазаны известкой фрески, на месте алтаря всевозможные чучела, рядом с простреленным партбилетом баптистская статуя сидящего Христа...»

Обеспокоенность тем, что народ не знает христианской культуры, православной музыки и не подозревает, что он утратил, желание вернуть этот долг России со взорванными храмами, с оскверненными святынями и монастырями, превращенными в остроги, объединило людей столь разных профессий в ансамбль русской духовной музыки «Октоих». Ведь эти прекрасные обычаи, музыка, поэзия, живопись вплетены, словно золотые нити в кружево, в русскую культуру. Все это есть основа души, без которой она не может оставаться таковой. И чтобы говорить о возрождении духовной культуры, нужно подумать, как сохранить эту национальную самобытность России.

Ансамбль «Октоих» подготовил программу благотворительных концертов, сборы от которых пойдут на ремонт и реставрацию разрушенных храмов... Четыре концерта уже даны, в том числе в фонд пострадавших от землетрясений в Армении и в Ашинской железнодорожной катастрофе. Люди плакали, слушая колокольную музыку, и благодарили: «Как же мы вас долго ждали!» И никак не хочется согласиться с В. Усольцевым, что погибла совсем русская культура. Могу лишь объяснить, откуда столь пессимистичный взгляд — от саднящей боли, от осознания безвозвратно потерянных сокровищ русской культуры. Иначе, думается, не взялся бы он за столь благородное дело — донести духовную музыку до народа, ведь не одним только старушкам это надо. Это нужно, прежде всего, молодым, не отравившим еще сознание нигилизмом, всем жаждущим исцеления, не нашедшим иной веры.

«Сейчас со съездовских трибун много говорят о бездуховности... То не было души, и вдруг бездуховность откуда-то взялась, — продолжает В. Усольцев. — Отрицание отрицания получается... Нынче модно объявлять себя верующим, но «по делам вашим будут судить вас...» Люди настолько темны сейчас в духовном отношении, что вот этот свет, который исходит от нас, всего лишь отражение, идущее от церкви. Мы как просветители, мы же еще и говорим о музыке, рассказываем, что такое всенощное бдение, великий пост, пасха, рождество, литургия... Библию, конечно, не растолкуешь, ее всю жизнь нужно изучать, но ради одной заблудшей овцы нужно бросить девяносто девять праведников и идти в пастыри. Пастырями мы себя, конечно, не считаем, но каждый должен в этой пустыне бездуховности посадить росток».

Да, миссионерство сегодня — это подвиг. Бороться приходится не только с бездуховностью, но и с «гидрой», которая хватает за горло каждого, кто осмелится подать голос в защиту русского духа, культуры, без которой России не выжить.

Удивительное дело, ни в огне Россия не сгорела, ни в крови не захлебнулась, ни головы перед иноземцем не склонила, зато русофобия оказалась тем дамокловым мечом, который занесен над великой страной. Кто, когда сумел внушить россиянину ненависть к собственной культуре, к самому себе? Неужто эта двойная сущность русского человека, сочетающая в себе и подлость, и наивность, его губит? Как теперь полюбили у нас цитировать Ф. М. Достоевского! Однако за все время существования православия в России эта двойственность не мешала процветать русской культуре. Какие памятники архитектуры, искусства, литературы может противопоставить ему, православию, советский период безбожия? Правда, сейчас в оправдание высказывается мнение, что идея социализма — это новая вера, только чем-то сродни язычеству. Но может ли языческая религия сравниться с теперешней по массовости жертвоприношений своим богам? Но и у язычества также существовала своя культура, а что дала нам наша вера? Много ли шедевров войдет в сокровищницу мировой культуры?

Собирая материал о Славянском культурном центре, я побеседовала с еще одним членом его правления (по его просьбе не называю имени, но, думаю, рассказать об этом все же стоит, ибо высказанное им мнение проливает свет на отношение к русской культуре). Б. считает, что православие исчерпало себя, что нам нужна новая религия, которая спасет русскую культуру от вырождения, и такая религия, якобы, есть. Но рассказать об этой новой религии он отказался, сославшись на несвоевременность. Видимо, нужно еще подождать, пока русская культура перестанет существовать, чтобы провозгласить официальную новую религию.

«Москва есть Третий Рим, а четвертому не бывать», — говорил русский народ. «Россия была, есть и будет!» — утверждал И. А. Бунин. Не потому ли Шариковы и Швондеры, дорвавшись до власти, так увлеклись геноцидом, чтобы потом, когда дело будет сделано, заявить, что православие исчерпало себя, и что России никогда не было, ее выдумали? Русскому человеку вообще не свойственен национализм, иначе бы не случилось того, что случилось с Россией. Наверное не случайно в русском народе живет так много анекдотов о простоте и незлобивости русского характера, и об умении посмеяться над собственной глупостью. Величайшие умы России — А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Платонов сказали о нем много правды, и чтобы приблизиться к разгадыванию этой тайны, нам нужно изучать их творчество полно и глубоко. Многое сочетает в себе русский характер: и мудрость, и наивность, и грубость, и душевную тонкость, и острый ум, и безалаберность, но при всем этом русский человек всегда был силен красотою своего духа. «Красота спасет мир», — говорил Ф. М. Достоевский. Думается, писатель имел в виду красоту духовную. Именно на ней держится мир, и всегда держалась Русь. Ибо там нет жизни, где нет духа. И тогда ни перестройка, ни даже ядерное разоружение не спасут мир.

Любопытно отношение Б. и к русскому языку. Он считает: а) лексика устарела, ее нужно «оптимизировать»; б) алфавит — то же самое; в) нужна «реформа орфографии» и г) «новая оценка имеющихся вариантов слова, которое должно выразить понятие, появившееся в будущем». Насколько я сумела разобраться в этой терминологии, вместе с «религией» заменить и язык?

Конечно, справедливости ради, нужно сказать, что язык, на котором мы говорим сегодня, весьма отдаленно напоминает язык А. Пушкина, Л. Толстого, И. Тургенева, А. Чехова. Это не русский язык, это «новояз», который нам навязали уже однажды. Почему бы автору этих усовершенствований не обратиться в Еврейский культурный центр? Или в Немецкий? Может быть, там эта программа окажется более приемлемой. Но зачем нужно спасать русскую культуру такой ценой?

В Славянском культурном центре нет ни одного штатного работника, не заработка ради взялись эти люди за святое дело, но передать бы им полномочия Областного Управления Культуры, они бы горы сдвинули. Не любители говорить эти люди, и заслуги их пока скромны, но по капле, по крохе делают большое дело. Не разглагольствуя с трибун и не ожидая поощрений, каждый делает то, что умеет, часто вкладывая в это дело и из собственного кармана.

Заместитель председателя исполкома Центрального района г. Челябинска В. В. Турутин не только поддержал идею спасения славянских культур, но и пообещал выделить проценты от отчислений Спортивно-Культурному комплексу, председателем которого он является. Очень хотелось бы получить материальную поддержку и от других предприятий.

И еще свидетельство любви к родной культуре — строительство «Славянского подворья» возле села Тургояк, в отдаленной от дорог лесной зоне. Здесь все будет как в «старину»: и бревенчатая изба со ставнями, с резными наличниками, и печь с изразцами, и своя конюшня, и кузница, и конный маршрут будет, и даже экологически чистая атмосфера. Путешествие прямо в сказку. А занимается этим представитель УВД — Шаршин Анатолий Александрович. Душа у человека болит: преступность среди подростков в области растет, и на мафию управы нет, а тут отдушина — «Славянское подворье».

Теперь уже нелегко найти обрыв той нити, связующей нас с корнями русской культуры, нужны первоисточники. «Мы, прежде всего, обязаны вернуть книги нашим русским детям, — отметила в беседе главный хранитель Челябинской картинной галереи Г. И. Пантелеева. — Ведь в книгах заложена не только церковная сила, в них великая нравственная сила, подвижническая жизнь целого поколения людей. У нас есть книги Ивана Федорова, Симеона Полоцкого, Никиты Феофанова... У нас есть «Слово» Сергия Радонежского, где ставится самый главный сегодня вопрос «Зачем ты пришел в этот мир?». Каждая книга — подвиг этих людей... Мы живем как в пустыне, нам очень тяжело... Сколько лет я здесь работаю с художниками, казалось бы — духовная среда, но все время ощущаю вакуум... У нас нет традиций. Вернуть книги, вернуть иконопись — наша задача, чтобы как-то пробудить духовность».

А какая может быть духовность в вечно отуманенной голове? Такая голова может быть лишь винтиком, исполнительной деталью за скромное вознаграждение — очередную дозу «спасительного» зелья. Не потому ли столько злобы выплеснулось на головы последователей Г. А. Шичко, взявшихся за отрезвление народа? Ведь и метод-то Шичко прост, даже медикаментов не требуется, одно лишь желание — стать полноценным. Курс из десяти дней, который проводит лектор «Общества борьбы за трезвость» И. П. Матвеев, заключается в самовнушении и ведении дневников. Каждый слушатель ведет свой дневник в течение полугода, прислушиваясь к собственным ощущениям: есть ли потребность в алкоголе и табаке, почему, можно ли отказаться от этого желания, вспоминаются положительные эмоции, все вместе анализируется. Метод Шичко воздействует не только на сознание, но и на подсознание.

Сказать бы этим людям «спасибо», да в пояс поклониться, ан нет, упреки со стороны здравоохранения, желчное остроумие, обвинение в «шичковании» со стороны прессы. Но не от самих пациентов! Похоже не хотят, чтобы народ протрезвел, а то бог знает до чего додумается...

Чтобы отвлечь молодежь от вредных привычек, задумал Славянский культурный центр устроить Школу Искусств, где бы дети могли не только учиться игре на русских народных инструментах, но и изучать фольклор, народные ремесла. Ведь не научишь любить родную культуру, не зная традиций. И помещение уже отвоевали. Вот только педагогов в этом еще приходится убеждать. Отмахиваются, своих проблем, говорят, хватает. Дети, оказывается, не их проблема.

«Университет должен играть первую скрипку, — говорит профессор Р. П. Чапцов, проректор по научной работе (теперь уже бывший) Челябинского государственного университета. — Большую надежду мы возлагаем на исторический и филологический факультеты. В Челябинске есть настоящие ученые. А. И. Лазарев, например, уже очень давно собирает русский фольклор. Он делает большое дело — восстанавливает традиции.

Или Григорий Аронович Туберт, его я знаю давно. Это большой ученый. Научные интересы Туберта: просторечие, фразеология, антропонимика, семантика, этимология. В 1985 году Туберт впервые расшифровал этрусские надписи. Этрусская цивилизация — третья после греческой и римской, памятники которой до сих пор молчат. «...Расшифровать этрусские тексты было трудно, — пишет Г. А. Туберт в статье «Археология мысли и духа» (Уральская новь, № 5, 1989 г.), — опубликовать расшифровки и вовсе невозможно. Очевидно, это связано с тем, что, открывая третью — после греков и римлян — мировую античную цивилизацию, мы получаем огромный заряд духовности, который общество еще не готово воспринять. Заботы о продуктах и промтоварах отвлекают наши мысли и силы. Но пока наше общество не сделается высокодуховным, пока у нас будет дефицит гуманности, будет и нехватка самых нужных товаров».

Уникальным для нас открытием является и Аркаим. Это городище 180 м в диаметре, которому 4 тысячи лет. Старше Трои! И сохранился прекрасно. Теперь у нас совершенно другой взгляд на то, как шло народорасселение. Аркаим — это протогород, где жили протоиндийцы (арии), в 14—15 веках до н. э. ушедшие на юг. На вновь завоеванных землях они основали позже современную Индию. Это город начальной городской культуры, где существовали ремесла, металлургия, с высоким уровнем архитектуры, организации. В городе была центральная площадь, были колодезное водоснабжение и подземная самотечная канализация. Это эпоха бронзового века, эпоха высокого уровня культуры. И такую бесценную находку собирались затопить! Можно ли говорить о возрождении культуры, когда сталкиваешься с такой вот бездуховностью, вопиющей слепотой и тупым прагматизмом? Ведь даже те три миллиона, которые ушли на строительство плотины, можно с лихвой вернуть, если сделать Аркаим национальным археологическим центром. А место для водохранилища можно подыскать.

Но не довольно ли экспериментировать над природой? У нас есть уже большой опыт, за который расплачиваться придется также нашим детям. «Не сочинять нужно законы, а использовать существующие, природные, — продолжает разговор Р. П. Чапцов. — Все проблемы должны решаться только на научной основе, нужен научно обоснованный подход, нужна состязательность... Подумать только, на 1/6 части суши — одна партия, одна железная дорога, один аэрофлот... Такой монополизации не снилось ни одному капиталисту.

В нашей стране много говорят об интернационализме, но почему же не призывают уважать национальное? Мыслимо ли стать интернационалистом, не имея под собой собственных, национальных корней? К слову сказать, русские эмигранты, не принявшие новой власти, между тем по сей день бережно хранят родную культуру, передают ее детям, в которых русской крови остается уже совсем немного. Но как же нас-то понять, выросших в родных пенатах? Кто сделал нас эмигрантами в родной Отчизне, лишив не только памяти, но и права памяти исторического прошлого дедов и прадедов?

Если справедливо, что достаточно трех поколений, чтобы уничтожить культуру напрочь, то на нас, на третьем поколении, лежит ответственность за ее судьбу. Но какое же новое потрясение необходимо, чтобы заставить нашу память очнуться от летаргии? А что если будет поздно?



Имя Ивана Дмитриевича Сытина (1851—1934) уже давно овеяно легендой. Начав с издания популярных в крестьянской среде лубков, картинок на религиозные темы, портретов царей, иллюстраций к Пушкину, Гоголю, Лермонтову, Крылову, он вскоре занялся выпуском и общедоступных книжек. Вместе с Л. Н. Толстым и В. Г. Чертковым работал для издательства «Посредник», сыгравшего значительную роль в просвещении народа, создал серию популярных книжек «Правда», первым в России проявил инициативу выпуска энциклопедий, дал жизнь существующему до сей поры журналу «Вокруг света», основал имевшую миллионный тираж газету «Русское слово»... И хотя сытинские издания отличались высоким уровнем оформления и полиграфического исполнения, они были предельно дешевы и продавались во многих городах России, где «Т-во Сытин и К°» имело магазины.

В 1916 году отмечался юбилей выдающегося издателя-просветителя — 50 лет работы на книжном поприще. К этой дате был приурочен выпуск ставшего ныне библиографической редкостью фолианта «Полвека для книги». Мы сочли своевременным позаимствовать из него очерк Г. Петрова, эссе М. Горького и несколько высказываний писателей, ученых и общественных деятелей, ибо сейчас, когда отечественное книжное дело находится на перепутье, важно снова оглянуться назад, не считая зазорным повторить путь, пройденный русским самородком Иваном Дмитриевичем Сытиным...

Огорчительно, что опыт и мысли наших отечественных предпринимателей, радевших для народа — а у Сытина на этот счет заслуги особые (книга за копейку, лубок, дешевые библиотечные серии и т. д.), — крайне мало пропагандируются, популяризируются и, можно даже сказать, современным издателям недоступны. Хотя не вызывает сомнения, что «Полвека для книги» должна быть настольной книгой издателя, редактора и современного предпринимателя. Девиз Ивана Дмитриевича «Быстро, доступно и дешево», которым он всю жизнь руководствовался и очень в этом преуспел, к сожалению пока нашими издателями не разделяется.

Правда, в настоящее время по поручению Председателя Госкомпечати СССР Н. И. Ефимова ведется разработка программы книгоиздательского дела в стране. Главные принципы этого документа — приоритет изданиям социально значимым, формирующим высокие эстетические, нравственные и художественные позиции человека; борьба с тенденцией некоторых издательств гнаться за рублем в ущерб содержанию и качеству книг. Привлечены к этой работе ведущие специалисты и ученые, выдвигаются самые фантастические проекты и прогнозы. Но хорошо бы не забыть и доброго старого сытинского правила: если книга для народа, то она должна выпускаться быстро, быть доступной в любом уголке нашей огромной Родины и, конечно же, дешевой.

РУССКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Достоевский, определяя различное отношение читателей к книге, отмечал три степени оценки. Одни читатели, интересуясь книгою, только читают ее, смотрят на нее, как на временного собеседника. Другие не только читают книгу, но и покупают ее, желая иметь книгу постоянно под рукою. Третьи, наконец, покупая книгу, еще и переплетают ее, наряжают, как любимую женщину.

Соответственно этому и путь книги в руки читателя имеет три ступени. Книгу надо написать, затем доступно издать и, наконец, умно распространить, — приблизить книгу к читателю. Первое — дело писателя, работа авторского таланта. Второе и третье — задача и заслуга издателя. Чтобы сделать и хорошую книгу легкою на подъем, способною долететь до самых глухих и далеких углов, нужно удешевить ее и проторить ей широкие и доступные пути. Для этого требуются большая любовь к книге и глубокая вера в светлое действие ее на читателя, — свойства, так сказать, идеалистические. Вместе с тем не менее необходимы и своеобразный большой дар деловитости, уменье пустить книгу автора в путь и возможно скорее доставить ее в руки читателя.

Мы, русские люди, даже и призванные к строительству жизни, к сожалению, менее всего богаты талантом деловитости. В силу своеобразных исторических условий прошлого, мы были устранены от деятельного участия в строительстве жизни и потому у нас даже лучшие люди, — самые просвещенные умы и благородные сердца,— чаще всего оказывались и оказываются несостоятельными при воплощении своих великих идей и светлых мечтаний в живую действительность. Иногда и удается преодолеть преграды, но в итоге все же неудача: не хватает деловитости, нет уменья и настойчивости осуществить добрый и прекрасный замысел.

Нам, русским людям, богатым и высокими идеями, и ярким идеализмом, прямо необходимо учиться деловитости, твердить себе о необходимости ее во всех делах и рамках нашей деятельности, радостно отмечать все заметные и благотворные проявления ее. Я бы сказал, что нам, русским людям, более, чем кому другому, необходимо спуститься с заоблачных воздушных мечтаний на жесткую землю. Не затем, чтобы, выражаясь образно, ради грубой земли забыть светлое небо, а чтобы приобщить небо земле. Не верить лишь в рай за гробом, а строить рай здесь, в окружающей нас действительности, поскольку у кого на то хватит сил, охоты и уменья. Нам надо понять, что если велики и ценны идейные мечтатели, то имеют свою немалую ценность и воплотители этих мечтаний, хотя бы и рожденных гением других.

Когда-то некий французский король желал, чтобы у каждого французского крестьянина была курица в супе. Не менее прекрасно желание, чтобы у всех и у каждого была и книга в доме, чтобы всюду были и уголь, и керосин, и сахар, и дешевая одежда, и обувь, чтобы все удобно, скоро и дешево могли сообщаться, освещаться, питаться, учиться и даже веселиться. Но если умно и благородно желать этого, то следует признать, что делают свое великое общественное дело и те, кто только помогает этим прекрасным желаниям воплотиться в окружающей нас действительности.

С этой стороны я всегда завидовал, видя, как в Западной Европе высоко чтут и ставят в пример людей деятельного гения. Там ярко отмечают не только людей науки, художественного творчества и социально-политической борьбы, но и творцов новой промышленности. Тот создал мировое производство оптических приборов, фабричных машин, сельскохозяйственных орудий, паровых судов. Этот небывало развил добычу угля, руды, серы, искусственных удобрений. Третий основал мировую фабрику анилиновых красок или литья орудий, нотопечатания, чернил, карандашей и так далее, и так далее. Бинокли Цейса и Герца, карандаши Фарбера, вагоны Пульмана, швейные машины Зингера, фирма Сименса и Гальске завоевали, например, почти полмира. Разве это не Наполеоны своего рода! И разве это не пример того, что и карандашом, банкою чернил, тормозом Вестингауза, бочкою красок, головою сахара, куском рельса или даже мыла, парою калош и кипою хлопка можно вести мировую борьбу, завоевывая целые страны, и служить славе и благу родной земли?



**Иван Дмитриевич Сытин. 1901 г.
Публикуется впервые.**

Полагаю, не ошибусь и не преувеличу, если скажу, что было бы большим благом для России, если бы у нас, в дополнение к нашим Толстому, Достоевскому, Глинке и Репину, появились и свои русские мыловары Пирсы, оптики Цейсы и Герцы, Зингеры, Фарберы, Пульманы, Вестингаузы, Круппы, Сименсы, Шуккерты, Ремингтоны и Мак-Кормики, то есть люди, которые бы и в России создали и подняли на мировую высоту целый ряд промышленностей: производство мыла, сахара, красок, машин, клея, бумаги, тканей, металлов, электрических и оптических приборов. Стыдно ведь писать, но до войны для земледельческой России Австрия поставляла косы для косарей. Все почти ноты наших композиторов до войны печатались в Лейпциге. Почему все это? Потому, что народы, живущие западнее нас, настойчиво развивали и развивают деловитость. Высоко ценили и ценят ее. Считают людей широкой и плодотворной деловитости, у какого бы дела они ни стояли, большою ценною общественною силою.

Под углом подобных соображений полувековая работа И. Д. Сытина на русском книжном рынке является, несомненно, большим и ценным общественным делом, как и самая личность его, рост и выработка ее являются незаурядно интересными.

II

Иван Дмитриевич Сытин — в полном смысле слова сын народа, уроженец глухой Костромской губернии. Родился и рос в бедной крестьянской среде, — отец его был волостным писарем. Все образование его состояло в слабом обучении начальной грамоте, а чуть мальчик подрос, ему пришлось уже с дядей отправиться на отхожие заработки. Встреча с новыми и новыми людьми сослужила маленькому Ивану Сытину большую службу. Вывезли его из сониого угла родной деревни, расширили жизненный кругозор, дали сильный толчок природному, острому и пытливому уму. Работа с дядею по деревням стала скоро тесною, — мальчика потянуло дальше, за пределы знакомых деревень, его стал манить к себе город. Дядя также понял, что маленькому Ивану надо дать больше простора, и он отправил мальчика в Москву. Здесь с хлопотами вышла заминка, и, после долгих поисков, И. Сытин узнал, что можно поступить пока только мальчиком в книжную лавку Шарапова.

> **Россия, волею судеб значительно отставшая от других культурных стран, особенно нуждается в просвещении своих широких народных масс, ищущих хлеба духовного. И. Д. Сытин не только внес свою лепту в это великое дело, но и посвятил ему всю свою удивительную творческую энергию и исключительное дарование.**
>
> **Д. ВАРАПАЕВ**

Малеиькая, тесная, в одно окно, заваленная книжною дешевкою рыиочного изделия, лавка Шарапова находилась на Лубянской площади. Помимо торговли в лавке, мальчику-подручному приходилось нести еще большую службу по дому хозяина: утром и вечером ставить самовары, чистить старшим служащим сапоги, быть у всех на побегушках. Путь И. Д. Сытина от шараповских прилавка и кухни с чисткой сапог до идейно-делового общения с учеными, авторами и редакторами научных изданий и чуть ли не со всеми современными русскими писателями, если бы его подробно изобразить по живым рассказам самого бывшего мальчика-скорняка, дал бы захватывающе-интересный материал для яркой и вразумительной истории-сказки, не менее чудесной и ценной, чем и сказка жизни М. Горького и Ф. Шаляпина. Какая длинная и многоцветная, чисто радужная дуга восхождения! Какое богатство и поразительное разнообразие пережитых впечатлений, встреч и, хотя бы порою, временных, но часто и очень тесных духовных общений! Первый учитель, покровитель, а потом и друг — Шарапов, мелкий рыночный книжник, в душе сильно тяготевший к старообрядчеству.

Первые сотрудники И. Д. Сытина, его друзья-приятели — офени, деревенские книгоноши, костромские и владимирские крестьяне. Далее идут длинными рядами Ф. Н. Плевако, солнце московской адвокатуры, темные лики Берга, историка Иловайского, толстовец Чертков с кружком «Посредника» и сам великий Лев Толстой, К. Победоносцев и баронесса Варвара Икскюль, Нижегородская ярмарка и Ясная Поляна, А. Чехов, М. Горький, Мережковский, профессора университетов, такие деятели по народному образованию, как А. В. Погожева, Н. А. Рубакин, В. П. Вахтеров и Н. В. Тулупов, худож-

ники, скульпторы, министры Плеве и Витте, десятки крупных общественных, газетных, земских и банковских работников.

Все это ждет и требует живых и подробных описаний, и, конечно, большая биография И. Д. Сытина, вернее, картины всех тех кругов русской жизни, среди которых и с которыми ему пришлось работать пятьдесят лет, когда они будут писаться, смогут привлечь как перо художника-писателя, так и ученого историка. Очень уж многих людей и дел свидетелем жизнь поставила И. Д. Сытина.

III

Сам И. Д. Сытин с большой приязнью и даже благодарною любовью всегда вспоминает своего первого руководителя в книжном деле в Москве, Шарапова. Вспоминает добром, не как лишь доброго хозяина, а потом и пособника стать на собственные ноги, начать свое небольшое дело, а, главным образом, как человека, как учителя жизни, хотя, может быть, и бессознательного. Обратив внимание на толкового и расторопного, умеющего и готового всем угодить мальчика-крепыша, Шарапов стал приближать его к себе. Начал втягивать подростка-Сытина в свое любимое чтение, а, тяготея сильно к старообрядчеству, Шарапов и книгу любил более старопечатную, церковную, творения святых отцов.

Годы шараповского ученика были юношеские, в душе молодого парня вставали и бродили новые и новые духовные запросы. Чтение святоотеческих творений давало, казалось, ответы на эти вопросы, вносило душевный мир. И будь юноша натурою более мягкою, мечтательною, увлечение творениями подвижников могло бы повести его в сторону чуть ли не монастыря, но крепкий, здоровый и деятельный дух великоросса преодолел византийское отрешение от жизни, и годы чтения с Шараповым духовных творений только обвеяли внутренний мир юноши своим особым ароматом. Где-то глубоко в душе молодого человека, как в потайной моленной, зажгли свою лампадочку. И как с годами росло сытинское дело, как начальный, от Шарапова унаследованный, скромный книжный прилавок, обрастал типографиями, складами, магазинами, новыми большими издательствами, так и потаенная часовенка с зажженной в шараповской лавке лампадою обрастала деловыми кабинетами, конторами и кассами, но юношески-зажженный далеко во внутренней молельне огонек не потухал. Каким-то своим внутренним маяком светил, давал основную линию издательской деловитости.

Сытин, может быть, иногда бывает и скуп, но и эта скупость у него своя, особенная, потому что он всегда хочет сберечь как можно больше средств на создание новых дел, на организацию новых отраслей своего предприятия.

Ф. БЛАГОВ

В издательской работе И. Д. Сытина на всю жизнь остался особый привкус, дума о том, чтобы издать не только лишь выгодно, а если можно, то и деловито-красиво: возможно дешевле, доступнее широким массам читателя и тем сильнее увеличить издание. Подходит, например, срок выхода сочинений Гоголя из частных собственнических рук, — можно издавать кому угодно. И. Д. Сытин хотел бы дать народу полное собрание сочинений Гоголя за 50 копеек. Контора подсчитывает точно, и выходит, что полтинник с трудом покрывает издательские расходы, — выгоды никакой.

— Пусть так, — отвечает И. Д. Сытин, — но зато как красиво: весь Гоголь за 50 коп.! Издаем за полтинник.

Среди почитателей Льва Толстого в середине восьмидесятых годов зарождается мысль дать народу за самую дешевую цену разумное и художественно-изданное чтение. Сам Л. Толстой пишет ряд дивных народных рассказов. К нему примыкают другие писатели-народолюбцы. Большие художники дают свои рисунки к повестям и рассказам. Остается издавать и распространять в народных массах. Образовывается издательство «Посредник». Идейно-художественное дело задумано прекрасно, но нет уменья практически осуществить свой замысел. Обращаются к разным народным издателям, — отказ: не стоит возиться с грошовым делом, напрасные хлопоты. Обращаются к И. Д. Сытину — и он, буквально миллионами, распространяет по России книжки «Посредника». Каждая книжка по 36 страниц, с обложкою, украшенною часто рисунком Кившенко, а то и Репина. Цена за сотню по 90, а то и по 75 копеек.

П. Н. Шарапов — первый наставник И. Д. Сытина.

Во Франции на выставке дают особую награду за поразительную дешевизну народных сытинских изданий ⟨...⟩

IV

Когда на первых порах моего знакомства с И. Д. Сытиным мне приходилось ходить с ним по книжным складам и мастерским издательства, то, помню, мне бросалось в глаза, с какою своеобразною «жадною» любовью И. Д. Сытин смотрел на тюки увязанных уже для отправки книг или на груды только что сложенных, снятых с машины печатных листов. Я невольно вспомнил тогда пушкинского скупого барона, который, спускаясь ночью в подвалы своего замка с сундуками, полными золота, радостно говорил:

«Хочу себе сегодня пир устроить:
Зажгу свечу пред каждым сундуком,
И все их отопру, и стану сам
Средь них глядеть на блещущие груды».

Только здесь радость была не тому, что чрез груды этих увязанных тюков книг, листовок и народных картин можно было полнее набить издательский сундук, а тому, что издательство, как нефтяной фонтан какой, бьет мощною струею, шире и дальше разливает свои струи. Здесь была радость и гордость полководца-завоевателя, который шлет во все стороны новые и новые батальоны, полки, корпуса печатных изданий. Будет ли это книгоноша из волжских водоливов с барки, дядя Яков, который начал свою торговлю с оборотного капитала в 50 копеек и довел закупку книг и картин у Сытина до сотни рублей в каждый приезд. Будет ли это профессор политической экономии, Железнов, курс лекций которого выходил издание за изданием. Или деятель в области начальной школы, потребляющий на свои книги в издательстве И. Д. Сытина гору бумаги. Безымянный ли народный календарь, идущий ежегодно по пять, шесть, чуть ли не семь миллионов.

Все они — предмет одинаково сильной особой любви И. Д. Сытина. Они вытягивают из печатных машин новые и новые горы бумаги и сыплют их без конца сквозь издательство в народ. Чем больше тюков, коробов, посылок уходит из складов, тем сильнее радость и хорошая гордость. Хочется отправлять их больше и больше, все в новые и новые места. Растет, не знающая меры, своеобразная жадность, жадность на расширение дела. Одно новое дело еще только налаживается, а в голове роятся и родятся уже новые и новые планы, хочется открыть новые книжные склады в новых местах. Хочется расширить старые производства, приобщив в одно целое смежные чужие предприятия, хочется создать новые отрасли издательского дела. Хочется начать новые издания — книжные, газетные и журнальные. Хочется делать сразу хоть сотню больших дел, иметь сотню рук, полсотни голов, тысячи нужных, умелых, усердных работников, пособников, а если найдутся, то и советников, руководителей. Идет седьмой десяток лет, а крепкий еще, кряжистый И. Д. Сытин полон рабочей энергии, полон юношески смелых и широких новых замыслов, не знает ни отдыха, ни покоя. И оторванный тою или другою поездкою от всех своих дел, тем усиленнее со стороны, издалека думает и волнуется о них.

Так человек горит за своим делом ровно пятьдесят лет. За это время он создал громадное, единственное, пожалуй, не в России лишь издательство. Конечно, в работе его, как во всяком живом и сложном деле, были и есть промахи и ошибки, но при всем том, окинув глазом пройденный пятидесятилетний путь работы в книжном деле, не только сам И. Д. Сытин и его соработники могут заслуженно гордиться сделанным и достигнутым, но и русская творческая жизнь в ее целом, несомненно, признает за И. Д. Сытиным законное право, на, может быть, скромное, но бесспорно, свое почетное место в ряду тех, кто клал крепкий фундамент и прочные стены грядущей разумной и светлой жизни русского народа.

Г. ПЕТРОВ



Рабочий стол И. Д. Сытина.
Фото АЛЕКСАНДРА ШАТРОВА

Русский человек — плохой работник. Наверное, это мое суждение обидит соотечественников, и особенно заденет тех, которые считают профессией своею восхищение русским человеком.

Но мой жизненный опыт, мои наблюдения над работой русского человека дают мне право судить о нем по-своему, — я с грустью повторю еще раз: русский человек в огромном большинстве — плохой работник. Ему неведом восторг строительства жизни, и процесс труда не доставляет ему радости; он хотел бы, — как в сказках, — строить храмы и дворцы в три дня и вообще любит все делать сразу, а если не удалось — он бросает дело.

Однако, я уверен, что у русского человека и нет возможности быть хорошим работником, — условия нашего политического и социального бытия не могли и не могут воспитать его таковым.

Кто и когда учил его, что труд — основа культуры, что труд не только обязанность человека, но и наслаждение? Кто внушал ему простую истину: всякий труд — на украшение земли и ради будущего? ⟨...⟩

Если жизнь для меня — благо, несмотря на все ее мерзости, и если я чувствую себя на земле хозяином, творящим все ее доброе, ответственным за все злое, — я не могу испытать великое счастье труда и работая над книгой, и прокладывая по болотам новую дорогу, занимаясь изысканиями в области медицины и возводя новый дом. Возводя не для себя — для кого-то другого, — так. Но, ведь, в конце концов все культурное творчество, все общечеловеческое дело делается не для себя, а на годы и века для будущих поколений.

В основе всякого искусства, всякого творчества лежит не только необходимость, но должна жить и любовь к труду. Стул, сделанный с любовью, остается в жизни века, ибо он является художественной вещью. Душа всякого искусства — любовь, мы знаем, что часто она делает бытие вещей более длительным, чем имена творцов их.

На святой Руси труд не дает радости еще и потому, что он подневолен, ограничен надзором со стороны командующих нами людей, им же несть числа. Свобода деятельности уродливо стеснена, и это внешнее стеснение, почти необоримое при нашей лени, уродует всех нас. Для того, чтобы труд человека был приятнее и продуктивнее, человеку необходимо чувствовать себя свободным гражданином своей страны, хозяином ее природных сил и богатств.

Русский человек не гражданин, он не так прочно стоит на земле, как люди Европы, и потому его отношение к труду — воловье. Свободный труд — вот точка опоры, которую требовал Архимед, чтобы перевернуть мир.

В русском человеке еще крепко сидит память о недавнем рабьем, крепостном труде. Он еще не уверен в том, что созданное им не может быть отнято у него, искажено, разрушено. Он живет во власти капризных воль и сил, которые относятся к нему, как существу несовершеннолетнему, неразумному и неответственному за свои поступки.

До известной степени это так и есть: мы культурно несовершеннолетни и очень неразумно относимся к судьбам нашей страны, друг к другу. Управляющие нашей жизнью — тоже люди, не более нас энергичные и не более умные, но, кажется, даже и они начинают сознавать, что воспитали в народе свойства, с которыми необходимо бороться.

Эти свойства — слабое развитие инициативы, подъяремное отношение к труду, нечестное к общественным средствам и отсутствие у людей сознания личной их ответственности за хаос, безобразие и грязь нашей жизни.

Чтобы вылечиться от этих пагубных недостатков, необходимо иметь возможность свободной личной и общественной деятельности. И если мы не вылечимся от азиатских привычек, мы, возможно, окажемся совершенно лишними на земле.

Иногда из тестообразной, бесформенной массы русского народа выбираются на поверхность жизни какие-



Здание типографии Т-ва И. Д. Сытина в Москве (ныне Первая Образцовая). Гравюра И. Павлова.

то особенные, крепкие, очень трудоспособные люди. Эти люди ценны не только своей работой, но, быть может, гораздо больше тем, что они указывают нам на существование в народной массе энергии очень богатой, гибкой и способной к великому труду, к могучим достижениям. Для меня лично это — самые ценные русские люди как по их любви к делу, так, главным образом, потому, что они выходят из демократии, из самой глубины темной народной массы.

Мне хорошо известно, как чудовищно труден путь этих выходцев из народа. Невероятная трата энергии, рассеянной этими людьми по пути с низу на верх, — по пути с низу, где человек в глазах ближних своих имеет цену не большую, чем цена таракана, — эта энергия тратится бесполезно для общества, ибо ее тратят именно на преодоление общественного равнодушия к человеку, к его поискам точки приложения своего труда, к поискам места в жизни. Лучеиспускание человеческой энергии в пустоту общественной косности — огромный убыток, который ничем и никем не возмещается. Нигде не относятся к человеку столь безразлично, как у нас на Руси, при внешней мягкости и московском радушии, за которым всегда чувствуется звериная подозрительность.

Не преувеличивая, можно сказать, что у нас человек подходит к делу, облюбованному им, уже протертым сквозь железное решето разных мелких препятствий, искажающих его душу. Помешать работающему всегда легче, чем помочь ему; у нас мешают работать с особенным удовольствием.

Тому, кто может и хочет работать, приходится побеждать, кроме равнодушия азиатски-косного общества, еще острое недоверие администрации, которая привыкла видеть в каждом сильном человеке своего личного врага.

Здесь человеку дела неизбежно всячески извиваться, обнаруживая гибкость ума и души, — гибкость, которая иногда и самому ему глубоко противна, но без применения которой дела не сделаешь. И человек расточает ценную энергию свою на преодоление пустяков.

Это очень смешно и печально, но люди, управляющие нашей жизнью, почти всегда считают культурную работу — революционной, ибо она разрушает тот налаженный ими строй жизни, имя которому хаос и анархия.

Вот, в каких условиях живут и работают те редкие русские люди, которые видят в работе смысл жизни и любовно чувствуют огромное значение труда.

И если, вопреки всем препятствиям, которые ставит на пути таких людей фантастическая русская жизнь, людям все-таки удается сделать крупное дело, — я лично очень высоко ценю людей, создавших его.

Одним из таких редких людей я считаю Ивана Дмитриевича Сытина, человека, весьма уважаемого мною. Он слишком скромен для того, чтобы я мог позволить себе говорить об его полувековой работе и расценивать ее значение, но все-таки я скажу, что — огромная работа. Пятьдесят лет посвящено этой работе, но человек, совершивший ее, не устал и не утратил своей любви к труду. Это редко встречается в нашей жизни, бедной крупными делами и крупными людьми.

И я горячо желаю Ив.Дм.Сытину доброго здоровья, долгой жизни для успешной работы, которую его страна со временем оценит правильно. Ибо, надо надеяться, что мы когда-нибудь все-таки научимся ценить и уважать труд человека.

М. ГОРЬКИЙ

Именно по этому адресу находится последняя из четырех московских квартир И. Д. Сытина, где он провел семь лет жизни и умер 23 ноября 1934 года в оставленной за ним комнатушке. Потом она перешла к его младшему сыну Дмитрию Ивановичу. Он-то и стал зачинателем создания посвященной отцу мемориальной экспозиции. Вместе с сестрами Анной и Ольгой более десяти лет собирал издания Товарищества И. Д. Сытина, сохранил семейные фотографии, документы, письма, мебель, предметы быта.

К сожалению, долгое время имя издателя было предано забвению, хотя и после национализации его предприятий он продолжал трудиться — служил консультантом Главиздата, руководил небольшими типографиями, добывал бумагу, участвовал в организации выставки русских художников в США. Тем не менее бывший «миллионщик», оставивший после себя огромное количество изданных им книг, несколько построенных на его средства и существующих поныне зданий, жил остаток жизни на грани бедности. Лишь за шесть лет до смерти ему была назначена небольшая пенсия.

После долгого времени, причем по инициативе Дмитрия Ивановича, было решено отметить заслуги И. Д. Сытина перед русской культурой — в 1966 году отпраздновали 100-летие его издательской деятельности. Тогда же родилась идея установить мемориальную доску на доме, где он жил, памятник на могиле на Введенском кладбище. Дмитрий Иванович обратился к М. А. Суслову, затем в Комитет по печати (ныне Госкомпечать СССР) с предложением создать в квартире дома по улице Горького мемориальный музей. Предложения вроде бы не вызвали возражений, но на деле начались бесконечные согласования и консультации, пошла межведомственная переписка... Только в 1971 году удалось организовать выставку сытинской коллекции, посвященную 120-летию со дня рождения издателя. Интерес к ней был велик, и тогда же Дмитрий Иванович послал руководству Комитета по печати следующее письмо: «Настоящим подтверждаю, что семья И. Д. Сытина передает безвозмездно все собранные ею книги, календари, литографии, учебные пособия и прочие материалы, изданные Т-вом И. Д. Сытина, адреса и приветствия общественных учреждений и лиц И. Д. Сытину в день юбилея 50-тилетней деятельности его с художественным их оформлением и оставшиеся его личные вещи для организации музея». И Комитет вплотную занялся организацией мемориала при материальной помощи Первой Образцовой (бывшей сытинской) типографии, начал хлопоты о переселении из квартиры родственников И. Д. Сытина.

Страна, народ которой дает таких деятелей, как Иван Дмитриевич Сытин, заслуживает быть великой и независимой. Был бы только надлежащий простор для работы «Сытиных», и никакие невзгоды и потрясения не будут страшны нашей родине.

Б. ВОСТРЯКОВ

Что же произошло потом? В 1977 году квартира была освобождена от жильцов. Но они оставили в ней вещи, предметы быта, картины для оформления будущей экспозиции. Начались реставрационные работы, выделялись средства... Но тут в Госкомиздате СССР произошла реорганизация, и потребовались ему дополнительные помещения — в сытинской квартире разместили два небольших отдела, комната с вещами издателя была наглухо закрыта.

Уходили из жизни дети И. Д. Сытина. В 1973 году скончался Дмитрий Иванович, в 1976 году — Ольга Ивановна, а 1979 году — Петр Иванович. В 1981 году не стало Анны Ивановны. Незадолго до смерти она передала мне папки с семейным архивом.

В 1986 году у сытинской квартиры появился новый хозяин — Всесоюзное общество любителей книги. Днем открытия Выставочного центра в мемориальной квартире можно считать 16 февраля 1988 года. Именно в этот день была развернута выстаака книг и начались первые Сытинские чтения. Управление культуры Моссовета взяло на учет личные вещи семьи издателя как памятники отечественной культуры. Был составлен проект оформления Выставочного центра и мемориальной комнаты, началось пополнение коллекции через букинистов.

Тем не менее у нашего маленького коллектива чувства удовлетворенности нет. В проведении выставок (а их планирует общество любителей книги) нет последовательности, к тому же сытинские издания лежат в запаснике. И понятно неудовольствие посетителей. В нашей книге отзывов есть, например, такие записи: «Шел к Сытину, а в его квартире выставка Саят-Новы. Квартира Сытина должна быть подлинной экспозицией о его жизни и деятельности». «Жаль, что нельзя увидеть сытинские издания, о которых все просвещенные люди очень много слышали и которые послужили бы живым образцом для иашей современной издательской индустрии». А вот что считает «группа ветеранов педагогического труда»: «Работа этого музея достойна всяческой поддержки со стороны правительства. Наша просьба: чтобы в мемориальиой квартире была постоянная экспозиция И. Д. Сытина; присвоить Первой Образцовой типографии его имя».

Два года назад мемориальная квартира была передана обществу любителей книги РСФСР и получила наименование — «Выставочный центр «У книгоиздателя И. Д. Сытина». Что же изменилось? Сформирован Всероссийский общественный сытинский совет, занимающийся изучением и пропагандой деятельности И. Д. Сытина, других книгоиздателей России, более продуманными, содержательными стали выставки — это «Книги древней Руси из собрания российских библиофилов», «Книги для народа. Из коллекции семьи Сытиных и собраний московских книголюбов», «Художники детской книги первой трети XX века»... 1990 год Выставочный центр встретил экспозицией «Мир русского календаря», основой для которой послужило богатейшее собрание столичного библиофила В. В. Алексеева.

«Необыкновенно радостно, покинув пошлую суету громадного торгового проспекта, вдруг обнаружить себя в тихой и высококультурной атмосфере недавнего прошлого» — гласит запись одного из посетителей этих выставок. В обстановке обостренного интереса к отечественной культуре прошли также выставки «Путешествие по старой Москве» из собрания Я. М. Белицкого и «Русские православные праздники».

Как уже говорилось, Выставочный центр владеет не очень большим, но ценным архивом Сытина, которым пользуются не только советские, но и зарубежные исследователи. К примеру, канадский профессор Чарльз Рууд написал на его основе книгу «Русский предприниматель: книгоиздатель Иван Сытин». У него есть договоренность с издательством «Книга» о выпуске этого труда на русском языке. Свой гонорар ученый намеревается передать на обустройство сытинской квартиры. Хороший пример! Было бы закономерным, реши Госкомпечать СССР, центральные издательства, Первая Образцовая типография принять участие в финансировании немалых реставрационных и других работ, которые еще иам предстоят. Кстати говоря, одним из источников доходов Выставочного центра могли бы стать факсимильные и репринтные издания на основе наших книжных фондов. А пока, откровенно говоря, я не очень-то горячий сторонник широкой рекламы сытинской квартиры — мне стыдно, что до сих пор не приведен в надлежащее состояние грязный, обшарпанный подъезд, много недоделок в самих комнатах, не говоря уже о допотопных выставочных витринах, погибающих на глазах картинах. Правда, затеплилась надежда — к концу 1990 года необходимые работы обязались выполнить кооператоры, и хочется надеяться, что к 140-летию Ивана Дмитриевича, которое будет отмечаться через восемь месяцев — 5 февраля, его мемориальная квартира примет достойный этого замечательного человека вид. Время не должно стереть из нашей памяти подвиг русского подвижника и просветителя.

ИРАИДА МАТВЕЕВА

«ПО ДОГОВОРНЫМ ЦЕНАМ...»

Отдел науки, культуры и здравоохранения Комитета народного контроля СССР изучил работу ряда центральных издательств в условиях хозяйственного расчета за 1988—1989 годы и проанализировал роль подразделений Госкомпечати СССР в повышении эффективности издательского дела.

Проверенные организации выпускают более половины всей продукции. После проведения их на новые условия хозяйствования расширены их права. Работая в новых условиях, издательства несколько увеличили выпуск печатной продукции, выполнили планы поставки литературы в соответствии с заключенными договорами. Численность их сотрудников сократилась на 3.5 процента. В отдельных случаях уменьшились общеиздательские и редакционные расходы.

В то же время в этой работе вскрыты серьезные недостатки. Не произошло повышения эффективности издательского труда, улучшения его организованности. Продолжали снижаться число названий и суммарный объем выпущенной литературы. Только за прошлый год он уменьшился на 8400 издательских листов, что эквивалентно общему объему работы таких крупных издательств, как «Советская энциклопедия», «Экономика», «Юридическая литература». Сократилась выработка на одного сотрудника в среднем на 2 процента, а в издательствах «Мысль», «Прогресс» и «Художественная литература» даже на 10 процентов.

Без должной ответственности утверждаются и изменяются планы выпуска литературы. Как показала проверка, это делается регулярно и прежде всего для того, чтобы таким путем обеспечить их выполнение. Так, Стройиздат сократил первоначально утвержденные планы на 1988 и 1989 годы по названиям на 7 и 13, а по объему — на 15 и 20 процентов. Аналогичное положение и в Энергоатомиздате, где за два года не издано 89 запланированных книг. В издательстве «Аврора» заменен в 1988 году каждый четвертый предусмотренный плановом альбом.

Снизилась ответственность издателей за свои обязательства перед читателями. В результате в 1989 году издательство «Радуга», например, не выпустило каждую четвертую книгу, включенную в аннотированный план, «Международные отношения» и Энергоатомиздат — каждую вторую.

Не выполняется установленный двухлетний срок выпуска одобренных к печати рукописей. В издательстве «Высшая школа» выявлено 173 работы с нарушением этого срока, «Художественная литература» — 416. Особенно велика продолжительность создания энциклопедической литературы. Более 10 лет в издательстве «Советская энциклопедия» выпускались Математическая и Лингвистическая энциклопедии, Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. Не завершена до сих пор работа над пятитомной Горной энциклопедией, начатая в 1976 году, хотя подписчики должны были получить последний том этого издания еще в прошлом году.

Это приводит к тому, что многие рукописи стареют, работа над ними прекращается, а затраты повсеместно списываются. Только за два последних года по издательствам «Аврора» и «Искусство» такие непроизводительные расходы составили более 118 тыс. рублей, но виновные не были привлечены к ответственности.

В этих условиях многие издательства стремятся улучшить свое финансовое положение путем безудержного повышения договорных цен, в применении которых выявлены серьезные изъяны. Количество таких изданий возросло за прошлый год в 1,6 раза и составило 243 названия. Суммарный тираж книг по договорным ценам увеличился вдвое и достиг 13,2 процента от общего выпуска книжной продукции. В издательствах «Искусство» и «Мысль» по повышенным ценам была издана пятая часть общего тиража. «Художественная литература» и «Прогресс» — четвертая. «Книжная палата» — две трети. В погоне за рублем ослабляется внимание к содержанию и качеству таких книг. Нередко, несмотря на высокую стоимость, они выпускаются на низкосортной бумаге, в мягких обложках, что серьезно сокращает срок их службы.

Госкомпечать СССР не разработал четких критериев и пределов договорных цен, в результате они нередко в несколько раз превышают прейскурантные. Издательство «Художественная литература» выпустило «Воспоминания» Белозерской-Булгаковой с номиналом 4 руб. 50 коп., что в 4,7 раза превышает прейскурантную стоимость. «Искусство» — сборник «Высоцкий» — за 3 руб., или в 4 раза. «Медицина» — пособие Кона «Введение в сексологию» — за 3 руб. 50 коп., или в 2,5 раза выше прейскуранта. За два последних года только издательствами союзного подчинения с помощью договорных цен из карманов покупателей было изъято 88 млн. рублей.

Между тем, несмотря на то, что Верховный Совет СССР еще в ноябре прошлого года, а Совет Министров СССР 5 февраля 1990 г. приняли постановления о дополнительных мерах по стабилизации потребительского рынка и усилению государственного контроля за ценами, где допускается лишь 30-процентное превышение договорных цен, Госкомпечать СССР до настоящего времени своего отношения к этому вопросу не определил.

Применение договорных цен, распространение общих принципов хозрасчета на книгоиздание вне связи с его спецификой позволили издательствам без особых трудностей создать значительные фонды, в первую очередь оплаты труда. В проверенных издательствах они выросли в среднем на треть, а в издательстве «Художественная литература» — более чем вдвое. Эти фонды направляются в основном на различные выплаты и дотации. В издательстве «Советская энциклопедия» на эти цели использовано три четверти израсходованных фондов. «Медицина» и Стройиздат — более 80 процентов. Помимо выплаты заработной платы и премий широко практикуются оплата различных путевок, дотаций на питание, погашение взносов в различные кооперативы и даже возмещение обменных денег при поездках за рубеж.

Такое положение привело к тому, что рост заработной платы значительно опережает увеличение выпуска книжной продукции. В целом по издательствам союзного подчинения среднемесячная зарплата работников в 1989 году по сравнению с предыдущим годом возросла на 18,6, а объем производства — только на 3,3 процента, то есть темпы прироста выпуска книг в 5,6 раза ниже, чем прирост среднемесячной зарплаты. Более того, по восьми издательствам даже при снижении объемов производства рост средней заработной платы составил от 11 до 21,4 процента. Однако фактические доходы работников за счет всех фондов значительно больше средней зарплаты. В издательствах «Советская энциклопедия» они достигли 480 рублей. «Планета» — 460. «Художественная литература» — 437 рублей, что больше, чем в предыдущем году соответственно на 60, 51 и 48 процентов, а выпуск книжной продукции — лишь на 1,3; 4,3 и 3,2 процента.

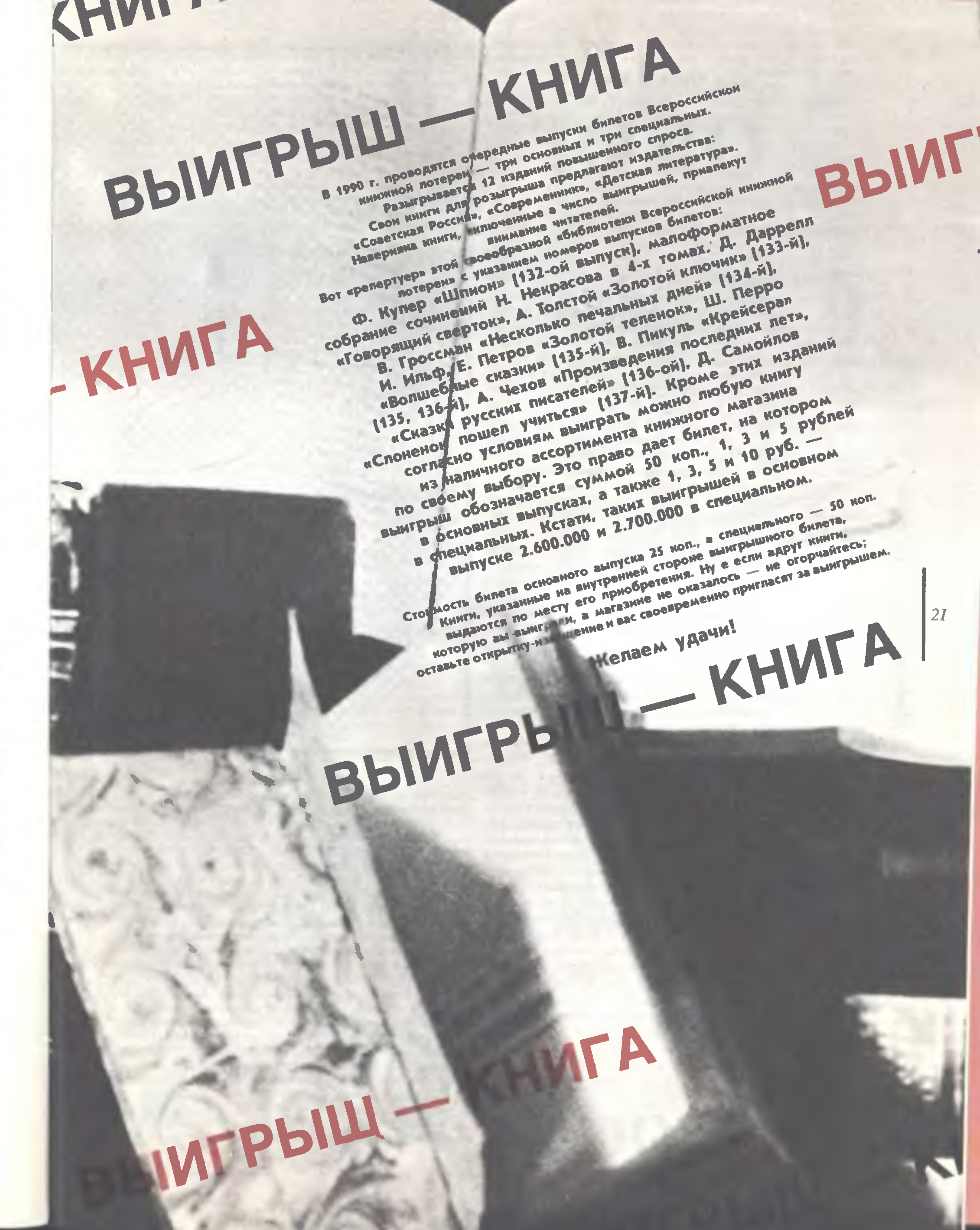
В известной мере это происходит и потому, что в ряде случаев выявлены факты излишеств в расходовании государственных средств, разбазаривания фондов оплаты труда и социального развития. Например, в издательстве «Планета» в прошлом году 48 лицам, уже не работающим, в том числе длительное время, выданы пособия до 500 рублей каждому, а месяцем ранее 21 из них вручены еще ценные подарки стоимостью 100, 200 и 500 рублей, всего на сумму 30 тыс. рублей. Премировались здесь также внештатные работники. Дело дошло до того, что выплачивались премии сотрудникам ЦУМа за организацию для коллектива выездной торговли. Нигде в сметах или утвержденных положениях такие выплаты не предусмотрены. В издательстве «Книга» за два последних года выплачено 2,8 тыс. рублей при невыполнении утвержденных основных условий премирования. Более того свыше 2 тыс. рублей здесь выдано премий ответственным работникам Госкомпечати СССР, в ходе проверки эти средства возвращены в кассу издательства.

Несмотря на выплаты по всем возможным направлениям в проверенных издательствах выявлены большие остатки фондов. На 1 января 1990 г. они составили около 45 млн. рублей, в том числе на оплату труда более 25 миллионов, что в ряде издательств превышает годовую потребность в зарплате и авторском гонораре.

Такое положение сложилось в результате того что Госкомпечать СССР, его соответствующие отделы не приняли конкретных мер, исключающих возможность неадекватного роста заработной платы вне связи с конечными результатами труда, не разработали в отрасли экономический механизм, стимулирующий ускоренное развитие производства, не осуществили меры, регламентирующие применение договорных цен. Практически отсутствует контроль за расходованием фондов издательств, не анализируются изменения тематических планов, договоров, заключенных с книготорговыми организациями. Материалы ревизий зачастую глубоко не изучаются, по их результатам не всегда принимаются необходимые меры. Снизилась роль подразделений Госкомпечати СССР в обеспечении издательств нужными ресурсами. Не решается проблема выпуска сложных в полиграфическом отношении и малотиражных изданий.

Так что на вопрос — будут ли книги дешевле — вряд ли в современных условиях можно ответить положительно. Конечно, если изменится отношение к нуждам читателей со стороны издателей и соответствующих служб Госкомпечати СССР, то можно хотя бы надеяться, что книжная продукция не будет дорожать и далее. Это потребовал и Комитет народного контроля СССР, рассмотревший этот вопрос.

Б. ПОПОВ,
зав. сектором культуры КНК СССР

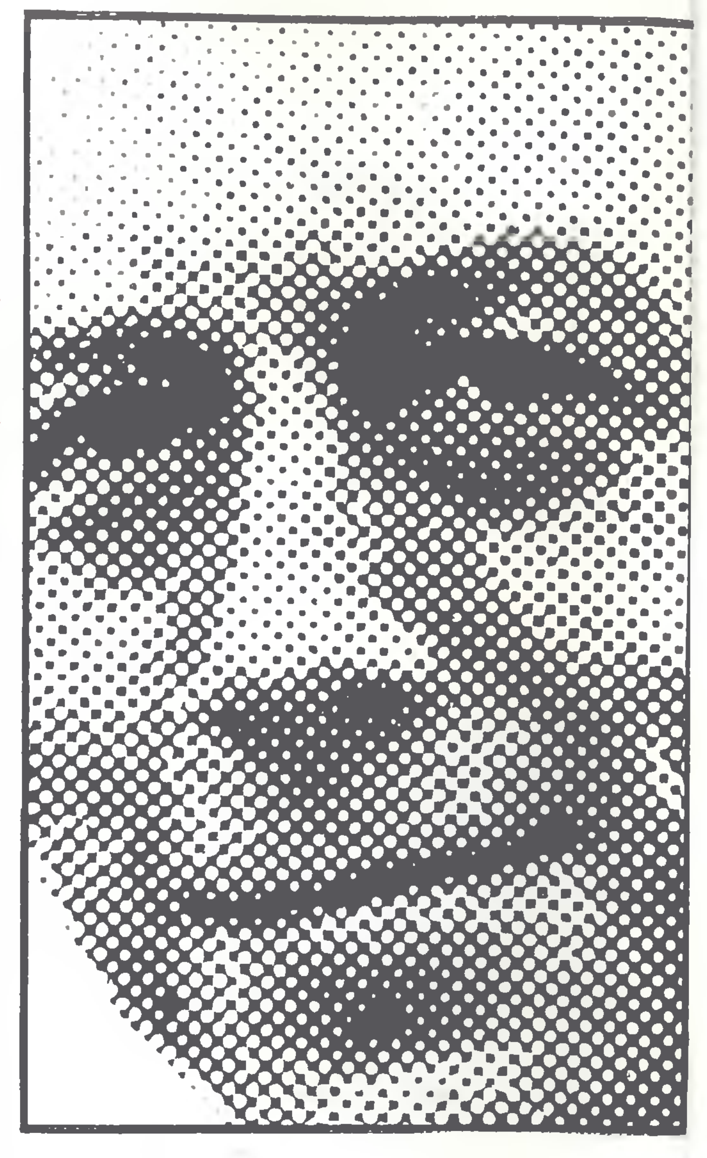


АЛЬБЕР КАМЮ

ОБЕТ ВЕРНОСТИ

Тридцать лет назад в автомобильной катастрофе на юге Франции погиб замечательный писатель XX века — романист, драматург, эссеист — Альбер Камю. Его многочисленным планам, которыми он делился с друзьями, не суждено было сбыться, сам писатель считал, что лишь достиг творческой зрелости. Тридцать лет — но знакомство наше с литературным (и неразделимо — философским) наследием Камю не завершено: в частности, ждут своего читателя многие страницы публицистики. При жизни Альбер Камю не испытал недостатка ни в яростных атаках хулителей, ни в дифирамбах восторженных поклонников — трудно представить иную судьбу художника, выбравшего роль «вольного стрелка» (выражение Камю), но не над схваткой, а в гуще схватки враждующих армий, полемизировавшего и с христианством, и с марксизмом. Но мало кому удалось, оставшись рыцарем и защитником своего поколения, так ощутить и передать моральный климат середины нашего трагического столетия.

В 1957 году сорокачетырехлетний Камю был удостоен Нобелевской премии по литературе — немногие удостаивались этой чести в столь молодом возрасте. Шведская Академия в своем решении отметила внимание писателя «к проблемам человеческой совести в нашу эпоху». Нобелевская премия остается престижнейшим мерилом писательского труда; и хотя в списках ее лауреатов читатель подчас встретит имена малознакомые, но не найдет Ахматовой, Набокова, Борхеса, ежегодно 10 декабря внимание литературного мира приковано к Стокгольму, где происходит ритуал вручения премии и новоиспеченный лауреат произносит «нобелевскую лекцию». Традиции этой без малого сто лет, и нарушалась она довольно редко — вспомним, впрочем, Бориса Пастернака и Александра Солженицына. Речь Камю на торжественной церемонии в стокгольмской ратуше была посвящена его взглядам на природу искусства, на долг писателя в наше время. Выступая через несколько дней в старинном университете, в Упсала, он развил эту же тему и вскоре под одной обложкой были изданы обе «Шведские речи». Сегодня мы публикуем первую из них; вторая будет напечатана в одном из ближайших номеров.



Моя признательность за оказанную мне вашей независимой Академией честь тем глубже, что я оценил, насколько эта награда превосходит мои личные заслуги. Все люди, а тем более все художники, стремятся к признанию, и я не составляю исключения. Но для меня было невозможным узнать о вашем решении, не попытавшись примерить к себе его резонанса. Не приму ли я с некоторой растерянностью, как человек относительно молодой, богатый лишь собственными сомнениями и склонностью к работе, привыкший к жизни в творческом уединении и утрате друзей, перспективу вдруг очутиться предоставленному самому себе в луче света? И с какими чувствами следовало бы принять эти почести в час, когда другие европейские писатели, и среди них более достойные, принуждены молчать в тяжелое для их страны время?

Я испытал это смятение и эту внутреннюю тревогу. Чтобы вновь обрести мир, следовало постараться, так сказать, соответствовать столь щедрой судьбе. И, поскольку мне было трудно сделать это, опираясь лишь на собственные достижения, я обратился к тому, что поддерживало меня в самых неблагополучных обстоятельствах: к моим представлениям о моем искусстве и о роли писателя. Позвольте же рассказать вам, с чувством и приязни, и благодарности, с наивозможной простотой, в чем заключаются эти представления.

Жизнь для меня невозможна без моего искусства. Но я никогда не ставил его превыше всего. Напротив, если оно мне необходимо, то только потому, что не отделяет себя ни от кого, позволяя мне жить со всеми вместе — и быть самим собой. На мой взгляд, искусство — не уединенная забава, а средство взволновать наибольшее число людей, развертывая перед ними исключительные образы всеобщих мук и радостей. Следовательно, искусство не побуждает художника к изоляции, но подчиняет его истине — самой скромной и самой всеобъемлющей. И нередко тот, кто выбрал судьбу художника лишь от ощущения своей избранности, довольно быстро понимает, что не взрастит своего искусства, а избранность его — мнимая. Художник представляется в непрерывных метаниях между собой и людьми, на полпути между красотой, без которой ему не обойтись, и общностью, от которой он не может отречься. Вот почему подлинным художникам чувство презрения не свойственно: они призваны понимать, а не судить. И если уж суждено художнику с определенностью принять чью-либо сторону, то это может случиться лишь в обществе, где, по замечательному выражению Ницше, царствуют отныне не судьи, но творцы — материальных ли, духовных ли ценностей.

Роль писателя неотделима, в то же время, от затруднительных обязанностей. Разумеется, он не может состоять на службе у тех, кто делает историю: он служит тем, кто испытывает ее на себе. Иначе одинок писатель и лишен своего искусства. Многомиллионные армии тирании не отнимут у писателя его уединения, даже если он добровольно примкнет к ним. Но молчания безвестного узника, покинутого в унижении на другом краю света довольно, чтобы извлечь писателя из его добровольного заточения; так происходит всякий раз, по крайней мере, когда он достаточно возвышается над собственными привилегиями свободы, чтобы не забывать об этом молчании и заставить его зазвучать средствами своего искусства.

Все мы недостаточно велики для подобного призвания. Но в любых жизненных обстоятельствах — прославленный или безвестный, скованный тиранией или высказывающийся в данный момент свободно — писатель способен обрести чувство живой общности, которое его и оправдывает, но лишь при условии, что в меру своих сил он будет нести два бремени, возвеличивающих его профессию — служение истине и служение свободе. Потому что призвание его — объединить возможно большее число людей, и оно не может приспособиться ко лжи и угодничеству, плодящим одиночество там, где господствуют. При всех индивидуальных недостатках, благородство нашего ремесла обуславливается двумя трудновыполнимыми обязательствами: отказом от намеренной лжи и сопротивлением насилию.

В течение более чем двадцати лет нашей безумной эпохи, беспощадно затерянного, как и все мои сверстники, в конвульсиях времени, меня поддерживало неясное ощущение, что быть писателем сегодня — почетно, ибо это занятие обязывающее, и обязывающее не только писать. Оно обязывало меня нести, по мере сил, груз горестей и надежд, которые делили мы все — люди эпохи. Эти люди, родившиеся в канун первой мировой войны, которым минуло двадцать, когда одновременно устанавливался гитлеровский режим и проходили первые процессы над революционерами, столкнувшиеся, в завершение своего образования, с войной в Испании, второй мировой войной, концентрационными лагерями, Европой пыток и тюрем — должны сегодня работать и воспитывать детей под угрозой ядерного разрушения. Трудно требовать от них оптимизма. Я полагаю также, что мы должны понять (не примирившись с ними) и тех, кто от избытка отчаяния взял себе право на бесчестье, устремившись в нигилизм. Но большинство из нас — во Франции и в Европе — отвергли этот нигилизм в поисках подлинных устоев. И понадобилось выдумать искусство жить во время катастрофы, чтобы, родившись вновь, с открытым забралом вступить в битву против инстинкта смерти, столь активного в наши дни.

Несомненно, каждое поколение считает себя призванным переделать мир. Мое, впрочем, знает, что оно его не переделает. Но задача этого поколения, возможно, еще величественнее. Она состоит в том, чтобы помешать мир разрушить. Наследуя развращенную эпоху, когда смешались падшие революции, обезумевшая техника, мертвые божества и выдохшаяся идеология, когда недалекие правители могли лишь уничтожить, но не убеждать, когда разум унизился до угодничества перед ненавистью и насилием, это поколение должно было, в себе и вокруг, восстановить, опираясь лишь на отрицание, хотя бы частицу того, что составляет величие жизни и смерти. В мире, находящемся под угрозой распада, где наши великие инквизиторы готовы навечно установить мертвое царство, мое поколение знает, что должно, наперегонки со временем, восстановить мир без рабства, заново объединить труд и культуру, построить всеобщую арку согласия. Нельзя предположить, что оно способно выполнить эту чрезвычайную задачу, но можно быть уверенным, что повсюду это поколение отстаивает истину и свободу, подчас принимая за них смерть без озлобления. И оно заслужило всеобщее уважение и поддержку — в особенности там, где жертвует собой. И с этим поколением, если вы разрешите, я бы хотел разделить оказанную мне честь.

Отметив благородство писательского ремесла, я должен сказать и о том, что нет у писателя иных титулов, кроме тех, которые он делит с соратниками по борьбе. Уязвимый, но настойчивый, несправедливый, но жаждущий правосудия, он творит без стыда и гордыни на виду у всех, вечно раздираемый между скорбью и красотой; он обречен, наконец, извлекать творения из своего двойственного бытия — и пытаться выстроить их в разрушительном потоке истории. Можно ли ждать от него готовых решений? Истина загадочна, она ускользает, вечно требуя покорения. Свобода опасна, свобода возбуждает, ее нелегко пережить. Мы должны продвигаться к этим двум идеалам, продвигаться с трудом, но решительно; поражения неизбежны на долгом пути. Какой ныне писатель, пребывая в здравом уме, отважится предстать проповедником нравственности? Во всяком случае, повторяю: это не для меня. Я никогда не мог отречься от света, счастья бытия, свободной жизни, в которой вырос. И хотя подобные чувства вполне объясняют мои ошибки и прегрешения, они несомненно помогли мне лучше понять писательское ремесло. Эти же чувства объясняют мое инстинктивное стремление к обществу немногословных людей, не приемлющих жизни, состоящей лишь из воспоминаний и недолгих мгновений счастья.

Разобравшись, таким образом, в самом себе, своих обязанностях, слабостях, прихотливых убеждениях, я чувствую больше свободы, чтобы, в конце моей речи, сказать о щедрости отличия, которым вы меня удостоили; сказать и о том, что я хотел бы принять его и как проявление уважения ко всем, пережившим ту же борьбу, но не увенчанным лаврами, а познавшим горести и преследования. Мне осталось поблагодарить вас от всего сердца и, в знак признательности, публично дать древний, но вечный обет верности, который каждый художник ежедневно, в молчании, дает самому себе.

Вступление и перевод с французского
ЮРИЯ ДАВЫДОВА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. КАМЮ

ИЗБРАННОЕ. — М.: Прогресс, 1969.
Альбер Камю (в серии «Мастера современной прозы. Франция»). — М.: Радуга, 1989.
ИЗБРАННОЕ. — Минск, Нар. асвета, 1989.
СОЧИНЕНИЯ. — М.: Прометей, 1989.
ГОСТЬ (рассказ). — Иностр. лит. 1968, № 9.
У. Фолкнер, А. Камю. РЕКВИЕМ ПО МОНАХИНЕ. — Иностр. лит. 1970, № 9.
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ (рассказ). — Лит. Россия, 1980, № 42.
НЕДОРАЗУМЕНИЕ (пьеса). — Современная драматургия, 1985, № 3.
ПИСЬМО Б. ПАСТЕРНАКУ. — Иностр. лит. 1987, № 11.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГИЛЬОТИНЕ. — Иностр. лит. 1989, № 1.
ПОРТРЕТ АКТРИСЫ МАДЛЕН РЕНО (эссе). — Театр, 1989, № 7.

С. Великовский. Грани «несчастного сознания» (Театр, проза, философская эссеистика, эстетика А. Камю). — М.: Искусство, 1973.

испытание совестью

Уже само название этой книги — «Партийная этика. Документы и материалы дискуссии 20-х годов» (М.: Политиздат, 1989) как бы авансом подогревает читательский интерес: наше время, сделавшее явным многое из того, что еще вчера было тайным, остро поставило проблему нравственности правящей партии, моральных основ ее политики. Но именно в 20-х годах, в этом сложнейшем периоде отечественной истории, мы ищем и нередко находим завязи тех противоречий, которые во многом предопределили дальнейшую судьбу партии и государства.

Составляющие книгу разделы «В. И. Ленин о партийной этике» и «Дискуссии о партийной этике 20-х годов» — это, пожалуй, наиболее полное обобщение источников и документов, большинство которых стали идеологическими аксиомами, своеобразной шкалой моральных ценностей, исповедовать которые обязан был каждый член партии. И на страницах данной книги представлены основные постулаты, служившие десятилетиями «рабочим инструментом» парткомиссий при разборе персональных дел, мерой хвалы или хулы каждого конкретного коммуниста.

Кто и как этим инструментом пользовался — вопрос отдельный. Но если сейчас мы ощущаем все более насущным такое человеческое качество, как нравственность, критерии которой, регулирующие самые тонкие проявления личности, формируются, нарастают, как годовые кольца на древесном стволе, — разве не важно обратиться к истокам? Тем более, что само словосочетание «партийная этика» долгое время было как бы подернуто пеленой таинственности, ибо в системе взаимоотношений, где многое определяет (и разрешает) должность, постановка этических проблем нередко вызывает реакцию умолчания...

Что же стало причиной дискуссии, в которой участвовали такие видные партийцы, как Н. К. Крупская, А. А. Сольц, М. Н. Лядов, Д. З. Лебедь, Е. М. Ярославский, Д. З. Мануильский, Э. И. Квиринг, С. Н. Смидович? Что заставило партию в 1920 году создать Контрольную комиссию (впоследствии ЦКК), которая давала отчеты о проступках против партийной этики четырем съездам? Безусловно, в первую очередь на это толкнула изменившаяся ситуация: еще недавно оппозиционная, подпольная, гонимая партия получает власть полной мерой и немедленно начинает испытывать давление нравственных пороков — карьеризма, взяточничества, угодничества и других, которые издревле сопутствуют «властям предержащим».

В РКП(б), умножившей свои ряды с 1917 по 1921 год более чем в тридцать раз, начинается быстрое расслоение на «верхи» и «низы», связанное с образованием партийного аппарата. Появляются бюрократические, чиновничье-иерархические отношения и соответствующие нравы. Оказавшись единственной правящей силой, партия столкнулась с убаюкивающим отсутствием оппозиционной критики, а самокритика как норма внутрипартийного бытия этот существеннейший недочет не только не восполняла, но нередко становилась изощренным способом самовозвеличивания. То есть сразу же после окончания гражданской войны в РКП(б) начался процесс нравственной деформации. Понятно, это не могло не встревожить представителей того, по словам Ленина, тончайшего слоя революционеров-профессионалов, на котором держался авторитет партии.

В сборнике представлено множество свидетельств того, как тревожили Владимира Ильича угрозы моральной чистоте коммунистов, проявления зависти, тщеславия, злобы и других низменных чувств, способных погрузить любую партийную организацию, любой комитет вплоть до ЦК в пучину раскола. Плюс множество рекомендаций выхода из нелегких, этически неоднозначных ситуаций, сопровождающих деятельность каждой политической партии. Наверное, сегодняшний читатель найдет в книге даже более обильную пищу для размышлений и сомнений, чем партиец 20-х годов. И это в порядке вещей — ведь границы этических ценностей весьма подвижны. Вот что, к примеру, говорилось в опубликованном газетой «Известия» от 11 ноября 1920 года обращении «От Контрольной комиссии всем членам РКП»:

«Наша партия, как партия пролетариата, имела смелость сама поставить вопрос о своих собственных болезнях. В обстановке страшной нищеты, когда люди считают маленькие кусочки хлеба за драгоценность, когда массы устали от сверхчеловеческого напряжения, когда чувствительность обострена до последней степени и когда обстановка борьбы требует все новых и новых напряжений, немудрено, что обсуждение серьезных вопросов часто вырождается в грызню, личную борьбу, где каждому вздорному слуху верят. Но, с другой стороны не подлежит никакому сомнению, что перед нами налицо пустившая корни болезнь отрыва части работников от масс и превращения некоторых лиц, а иногда и целых группок в людей, злоупотребляющих привилегиями, переходящих все границы дозволенного и тем самым сеющих разлад, рознь, вражду внутри пролетарской партии. Не нужно преувеличивать, но не нужно и преуменьшать этой болезни, которая, в свою очередь, приводит к росту злобных слухов и открытой демагогии».

Дело философов-этиков выяснить, в каких формах шла ломка старой морали и происходило ли в действительности формирование новой. Но если обратиться к проблемам более осязаемым, придется признать, что, начиная с конца 20-х годов, опирающаяся на постулат классовой, партийной целесообразности этика все более наполнялась политико-утилитарным содержанием. Раз так, моральные оценки не могли не становиться «резиноподобными»: сегодня превозносится то, что вчера с негодованием отвергалось, любая практическая нужда партии и государства возводится в моральную добродетель. Ну а если партия и государство, не обладающие прочными демократическими традициями, соответствующими правовыми и организационными механизмами, попадают в тиски сталинской (или аналогичной ей) диктатуры? Тогда идеологическое ярмо становится реальностью для миллионов партийцев, лучшие силы партии гибнут либо физически в застенках и лагерях, либо морально — в нескончаемых компромиссах совести и злонамеренного, но оправданного свыше «долга». Кстати сказать, многие участники той дискуссии о партийной этике вскоре оказались в рядах пропагандистской гвардии сталинизма, и это обстоятельство лишний раз доказывает, что не только сон разума, но и паралич нравственного чувства рождает чудовищ.

И еще одно навеянное книгой соображение. Внимательно всматриваясь в прошлое, мы с гневом и болью размышляем над трагическими этапами нашей истории. Но можно ли полагать, что многолетние, многоликие процессы вырождения внутрипартийной демократии прошли бесследно для нынешнего духовного самосознания коммунистов, не сказались на таких слагаемых партийного товарищества, как солидарность, взаимоуважение, доверие? В равной мере не исчез еще гнет пресловутого застоя, взрастившего целые кланы беспринципных дельцов от политики, развязавшего гонку за должностями, неправедными наградами и потребительскими благами, в которой, будем откровенны, участвовали не только заведомые карьеристы и стяжатели, но и «в общем и целом» неплохие люди. Следовательно, речь идет о преодолении того, что очень долго накапливалось в мыслях, чувствах, поступках многих коммунистов. Такое «наследие» не может не противостоять перестройке, ибо именно она подводит — должна подвести! — итоговую черту под существованием в партийной среде нравов, несовместимых ни с общечеловеческой, ни с коммунистической моралью. Тем паче, что сегодня мы не видим меж ними принципиальных различий.

Именно с 20-х годов начинается осознанная борьба за чистоту нравственного облика партийцев. Однако понять недостаточность очистительной работы, ведущейся только внутрипартийными методами, означает усвоить крайне важный урок нашей истории. И одновременно несколько охладить надежды на «добрые старые» методы, на панацею независимых контрольных органов внутри партии, хранящих чистоту морального облика тысяч и тысяч людей, на поголовную эффективность «общественно-политической аттестации». Ибо мы все глубже, многомерней начинаем постигать простую, в сущности, истину: только демократизация самой партии, последовательное и сознательное увеличение ее подконтрольности обществу может дать искомый результат. В такой же мере служит этой истине и наше историческое знание, которое убеждает, что политическая целеустремленность рискует стать опасной, по существу насильнической, если не опирается на общечеловеческие ценности, в первую очередь моральные. Расширяют же знание о прошлом прежде всего книги. В том числе вроде той, о которой шла речь в этой заметке.

НИКОЛАЙ ТЮРИН

Идет слом старых структур управления государством, экономикой, и образовываются новые институты народовластия. Обновляется и становится все более многообразной политическая жизнь общества. В проекте Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партия провозгласила отказ от претензий на непогрешимость и монополию власти. Возникают и активно вовлекаются в жизнь общества новые общественные и национальные движения и объединения граждан. Все это обуславливает нынешнюю обстановку в стране, нарастающий динамизм изменений в сторону революционных преобразований, которые порой носят непредсказуемый характер.

Как же влияют происходящие процессы на лицо политической книги, какова ее роль в обновляющемся обществе? В определенной степени ответы на эти вопросы может дать анализ того, что выпускают издательства, прежде всего центральные, в русле развернувшихся дискуссий, связанных с подготовкой XXVIII съезда партии.

Все более проявляется желание издателей отойти от недавней еще традиции бесстрастного комментирования событий политической жизни страны. И мы видим, что в центре внимания многих выпущенных и запланированных книг стоят рожденные сегодняшней жизнью острые проблемы дальнейшего развития советского общества, критического переосмысления его прошлого, поиски реальных, соответствующих природе человека перспективных путей реализации идеи социализма. Эти вопросы рассматривались и в политической литературе прошлых лет, но сугубо с идеологизированной точки зрения — книги и брошюры были рассчитаны лишь на заучивание политических установок, тезисов и определений.

Ныне заметно меняется тональность изложения, прежде всего тех книг, авторы которых — государственные и партийные руководители страны. Стало заметно меньше поучений, зато больше размышлений, попыток не безапелляционно решать, а рассматривать проблемы с альтернативных позиций, причем проблемы, считавшиеся раньше неприкосновенными. Это относится и к теоретическому наследию классиков марксизма-ленинизма, и к опыту социалистической революции, и к оценкам этапов истории советского общества, взаимоотношениям КПСС с иными общественными системами. Именно таким подходом вызван большой интерес читателей к работе М. С. Горбачева «Социалистическая идея и революционная перестройка» (Политиздат) и к книге А. Н. Яковлева «Реализм — земля перестройки» (Политиздат). Отстаивая свою приверженность идее гуманного и демократического социализма, эти авторы откровенно обнажают то, что еще мешает утверждению новых принципов.

В том же издательстве коллектив авторов под руководством Г. Л. Смирнова готовит к выпуску фундаментальную работу «Ленинская концепция социализма». Прежде всего она примечательна тем, что является одной из первых попыток теоретически, с позиций сегодняшнего дня, достижений и неудач социализма всесторонне осмыслить, очистить от деформаций прошлого ленинское наследие. Дополнением к этой работе может служить полемический сборник издательства «Советская Россия» «Новые кумиры и «старые» авторитеты», авторы которого спорят с теми, кто отрицает основные положения ленинской концепции социализма.

Перестройка в области политических структур, их демократизация, создание правового государства потребовали нового освещения роли и места партии в обществе, отказа от десятилетиями копившихся в литературе по партийному строительству догм. Как происходит обновление партии, в чем ныне заключается ее авангардная роль? Ответы на эти и другие вопросы пытаются дать, в частности, книги: Т. Е. Галко. «Правящая партия. К вопросу о ленинской концепции роли партии в создании и функционировании механизма социалистической демократии» (Минск: «Университетское»), «Демократизация внутрипартийной жизни в условиях перестройки» и «Об историческом пути КПСС. Поиск новых подходов» (обе выходят в Политиздате), Ю. В. Дербинов. «Внутрипартийная демократия: принципы, направления развития» («Знание»).

С идеями советских ученых-правоведов о путях становления правового государства и роли новых институтов власти читатель сможет познакомиться в работе С. С. Алексеева «Перед выбором. Социалистическая идея: настоящее и будущее» («Юридическая литература»), а также в книгах Ю. В. Феофанова «Бремя правового социалистического государства» (Политиздат), Ю. М. Батурина и Р. З. Лившица «Социалистическое правовое государство — от идеи к осуществлению» («Наука»), В. М. Корельского «Власть, демократия, перестройка» («Мысль»).

Тема строительства правового государства находит широкое отражение и в справочной литературе. Издательство «Юридическая литература» готовит справочник «Самоуправление». О неформальных движениях и группах в РСФСР читатель получит информацию из справочника «Неформальная Россия» («Молодая гвардия»).

Продолжается выпуск и хорошо зарекомендовавших себя серий — «Перестройка, гласность, демократия, социализм» и «Свободная трибуна» («Молодая гвардия»). В серии «Диалог: Восток — Запад» издательство «Прогресс» выпускает книгу Ч. Айтматова и Д. Икэда «Песня необъятной души».

Обобщающий анализ эволюции взглядов советских ученых за последние 70 лет о путях и перспективах развития хозяйственного механизма дан в недавно вышедшей монографии Д. В. Валового «Экономика: взгляды разных лет. Становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма» («Наука»). Однако известно, что у видных экономистов и сегодня имеется весьма разнообразный взгляд на методы и темпы экономической реформы. Чрезвычайно сложная социальная обстановка в стране, медленное осуществление намеченных преобразований объясняется отсутствием стройной концепции переходного периода от административно-командных методов управления к экономическим. В концентрированном виде эта тема найдет свое выражение в дискуссионных сборниках «Время действий» («Художественная литература»), «Драма обновления» («Прогресс»), «Не сметь командовать» («Экономика»), «Пойдем налево, пойдем направо» («Советская Россия»).

Многие из выпущенных и планируемых книг содержат далеко не бесспорные мысли, идеи и суждения. Некоторые из них потребуют дальнейшего обсуждения. И в этом не недостаток их, а достоинство, ибо они наводят на размышления, вызывают живой интерес и дискуссии, способствуют эволюции мысли.

●

О. ОЧКИНА,
Б. ГУСЕВ

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

Александр Пушкин



ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА сообщает расчетный счет, на который можно сделать индивидуальные и коллективные взносы в любом отделении Госбанка вашего города: расчетный счет общества № 000700413 в Пушкиногорском отделении Агропромбанка. Адрес банка: 181370, Псковская обл., пос. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 7.

ПРИОБЩЕНИЕ

созданы вновь

Наконец мы стали все чаще и решительнее останавливать всеразрушающую руку нигилизма, задумываться: а что же у нас есть, что еще уцелело? И вспоминать, что есть Пушкин, завещавший «нам, своим потомкам, высокие идеалы, не имеющие временных, территориальных, национальных границ — вечные идеалы дружества, милосердия, добра и любви». Именно так определил значение великого поэта академик Д. С. Лихачев, председатель правления Советского фонда культуры. Жаль только, что Дмитрий Сергеевич прислал лишь письмо, но не нашел возможности принять личное участие в столь важном мероприятии — открытии Всесоюзного Пушкинского общества. Думается, что его присутствие подняло бы настроение собравшихся со многих уголков страны поклонников творчества А. С. Пушкина. Все выступавшие, представители и Союза писателей, и Союза художников, и Пушкинского дома, и Министерства культуры СССР, и Государственного музея А. С. Пушкина, и региональных Пушкинских обществ говорили о конкретных проблемах, которые действительно давно ожидают разрешения. Но, к сожалению, Учредительная конференция Пушкинского общества приняла характер сугубо официальный. Доклады, отчеты, голосование, регламент — этот набивший всем оскомину наш традиционный формализм вызывает тревогу за судьбу вновь возрожденного, спустя 38 лет, Пушкинского общества. Вот бы взять, да, минуя формальности, приняться сразу за дела, тем более, что неотложных дел в пушкинистике накопилось много. И о них, конечно, говорили на конференции, но они потонули во множестве второстепенных проблем.

А хотелось бы 200-летие со дня рождения А. С. Пушкина отметить достойно.

Ждет восстановления и Пушкинский дом и Всесоюзный музей А. С. Пушкина.

Прозвучал с трибуны конференции и тревожный вопрос об отношении молодежи к Пушкину. Не знает наша молодежь Пушкина и не желает знать; «рок», «брэйк» и «эмигранты» вытесняют его из сознания напрочь. Но, чтобы осознать нравственное и общественное значение великого поэта, нужно изучать его творчество во всей многогранности. Пора выпустить в свет, наконец, и пушкинскую энциклопедию, и факсимильное издание рукописных тетрадей поэта, и полное академическое собрание сочинений Пушкина.

Вновь было предложено создать Пушкинский Лицей. Было бы замечательно, если бы, следуя пушкинским традициям, возобновилось и классическое образование, но не принудительное, а лишь для тех, кто желает учиться. Важнее всех экономических и политических проблем сегодня — возрождение духовной жизни народа, а это возрождение культурных традиций, восстановление памятников, связанных с пушкинской эпохой, музеев. И издание журнала «Пушкиниана» — вопрос не праздный, ибо мы испытываем дефицит не только бумаги, но и дефицит и гуманности, и образования.

И хочется надеяться, что возрождение Пушкинского общества не станет тождественно утверждению его культа. Народ устал от митингов и пышных славословий в адрес поэта, ему захотелось, наконец, понять, чем же все-таки дорог Пушкин. В чем сила его гения? Почему Пушкин «есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа» — по известному утверждению Н. В. Гоголя?

И. С. Аксаков, И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский говорили о Пушкине не ради возвеличивания поэта — Пушкин в этом не нуждается, а ради понимания его значения для России. То было настоящим праздником поэзии, духовности, так, что каждый ощущал свою причастность к великой тайне Пушкина, которую, выражаясь словами Ф. Достоевского, мы «без него... разгадываем».

Чтобы любить Пушкина, не нужно никаких официальных на то разрешений — он незримо присутствует с нами, в какую бы сторону мы ни взглянули. Но Пушкинское общество, несомненно, может послужить объединению людей, которые по призванию своему, а не по назначению взяли на себя ответственность за сохранение нравственных ценностей культуры. Главная же задача сегодня — пробудить, — как говорил Ф. М. Достоевский, — в народе «дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин».

Хочется высказать пожелание, чтобы Пушкинское общество, которое, как сказано в проекте Устава, является самостоятельной общественной организацией, действовало действительно самостоятельно, не оглядываясь на Советский фонд культуры, у которого забот и без того хватает. Всесоюзному Пушкинскому обществу, очевидно, будут ближе по интересам региональные Пушкинские общества, имеющие целью возрождение духовной культуры и творческую активность народа, приобщая его к наследию Пушкина. Сегодня стало уже бесспорным, что только подвижничество способно сдвинуть дело с мертвой точки. Наш многолетний опыт убедил, что указанием сверху ни одно благое дело не решалось, весь энтузиазм должен исходить из глубин страны, хранящих, быть может, уникальные материалы, связанные с именем Пушкина.

ИРИНА УПОРОВА

В редакцию журнала «Слово» пришло письмо из Пушкиногорья. В нем сообщалось, что в Пушкинских Горах воссоздается Общество друзей Пушкинского музея-заповедника. Оргкомитет общества приглашал принять участие в проведении учредительного собрания. Эту миссию от редакции поручили мне. Радоваться и радоваться.

Бесснежным и теплым февральским днем, высадившись из автобуса на автостанции поселка Пушкинские Горы, вместе с довольно веселой компанией, которая, как я понял, тоже ехала на это собрание (ее лидер, уверяя, что их «ждут», умело взял билеты на автобус во Пскове без очереди), по размешанной самосвалами, пропитанной влагой земле, вдоль достраиваемого величественного Пушкинского научно-культурного центра я дошел до гостиницы. Прежде всего следовало, конечно, посетить оргкомитет, отметиться и получить какую-нибудь информацию о предстоящем событии.

В Доме Советов две симпатичные женщины подтвердили, что именно они представляют этот оргкомитет, но выдать какие-либо материалы (а это был проект устава, как я успел заметить) не смогли, так как он еще не был размножен. А так хотелось поскорее прочитать, изучить его, обдумать...

Наутро, десятого февраля, в день памяти А. С. Пушкина, на который и было назначено учредительное собрание, проект был готов, но получить его все так же было нельзя. Сначала надо было вступить в общество. Я убеждал милых женщин, что испытываю большое желание прежде ознакомиться с проектом его устава, узнать о целях и задачах общества, понять, смогу ли я р е а л ь н о быть ему полезен, а потом уж, оценив свои возможности, в него и вступать. Но женская логика была неумолима. Написав заявление и заполнив анкету, я тем самым стал участником учредительного собрания, тридцать восьмым по счету членом общества и получил, наконец, доступ к проекту устава.

Проект этот привел меня поначалу если не в стрессовое или шоковое состояние, то произвел сильное удивление. Какой формализм, какая укатанная схема! Да замени здесь Пушкина, к примеру, на филателию — и можно принимать его как устав общества филателистов! Ведь общество-то п у ш к и н с к о е, думал я, и устав у него должен быть каким-то пушкинским, что ли, не похожим на другие, неожиданным каким-то, высоким, отражающим «прекрасные порывы души» его участников. А, может, и устава-то никакого не нужно...

Но столь въелись стереотипы, что, перечитывая проект, я сдавался. А как еще можно? По-другому? Я не знал.

В уставе задача общества формулировалась в трех подпунктах. «А) — повседневная пропаганда творчества великого поэта». С этим я тут же согласился. Надо пропагандировать творчество великого поэта? Безусловно, надо. Повседневно? Повседневно. «Б) — ознаменование юбилейных дат и памятных событий, связанных с А. С. Пушкиным». Надо ознаменовывать юбилейные даты? Надо. А памятные события? Тоже надо. «В) — забота об охране и благоустройстве пушкинских памятных мест». Надо заботиться? Надо. А благоустраивать? Тоже надо. Только как, каким образом и я, и общество все это будем делать?

Вспомнился прекрасный подмосковный уголок — пушкинское Захарово, Большие Вязёмы, места, связанные с его детством. Там давно уже тоже должен был бы быть Пушкинский музей-заповедник. Охраняемый и благоустроенный. И он мог бы не уступать Пушкиногорью. А будучи расположен недалеко от Москвы, стать местом паломничества десятков, сотен тысяч людей, служить «повседневной пропаганде творчества великого поэта». Ведь в жизни Пушкина было и такое «памятное событие», как детство. И, кстати, оно не было таким уж беспросветным, как его нам изображают. И могло бы быть «ознаменовано». Но нет заповедника. Есть множество давних и свежих, но «заповедных» решений и постановлений, к выполнению которых так никто и не приступил. Кто должен брать на себя заботу об этом? Отдельные граждане? Энтузиасты? Пушкинское общество? Советский фонд культуры? «Спонсоры»? Инофирмы? Государство? Найдется ли второй такой уникальный человек, личность такого масштаба, как Семен Степанович Гейченко, отдавший всю свою жизнь Государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина на Псковской земле? Вот уж сколько лет прошло, да что-то нет такого.

А уж как «охраняется и благоустраивается» памятник Пушкину в Москве — и вспоминать не хочется. Позади — стеклянная стенка — «Россия», слева — «Кока-кола», справа — «Макдональдс». Открытие импортной закусочной по своей сенсационности стало событием почти такого же порядка, как запуск первого человека в космос. А уж открытие памятника Пушкину и сравниться с закусочной не может. Только тогда все это делали мы, а теперь — фирма. И что самое интересное, господа Достоевский, Тургенев, Иван Аксаков, Писемский, Григорович, Островский... — нам уже ничего не стыдно. Последнему же, уверен, и не снились темы наших сегодняшних комедий...

Теперь даже и перенеси памятник на прежнее место, на Тверской бульвар — что изменится? Ничего. Нет, ошибся, — справа будет «Кока-кола», слева будет — «Макдональдс». Кушайте «гамбургеры». Вы уже почти в Гамбурге. И на все это смотрит — П у ш к и н. Какое «общество» справится со всем этим? И в о о б щ е что в с е это з н а ч и т?

Отложив с досадой проект устава, развернул газету «Пушкинский край». Первого марта исполнялось шестьдесят лет со дня ее основания. Все, кто любит Пушкина, особенно ценят ежегодные выпуски газеты, целиком посвященные поэту. Просматривая номер, на последней странице обнаруживаю такое объявление: «Пушкиногорское райпо информирует инвалидов Великой Отечественной войны и другие категории населения, пользующиеся льготами, что колбасные изделия продаются каждый первый и третий четверг месяца в специализированном магазине и хранятся в магазине не более трех дней. Инвалиды Великой Отечественной войны и другие категории населения, пользующиеся льготами, проживающие на селе, будут обслуживаться в магазинах на центральных усадьбах колхозов и совхозов».

И уже не дико читать подобное... Уже привыкли. Уже даже радостно где-то, что такая забота. Подумалось лишь: а как было при Пушкине? Как снабжались инвалиды т о й Отечественной войны? Да и была ли тогда колбаса? А если нет, то что было?

В эти же дни, в годовщину окончания войны в Афганистане, Псковская молодежная газета опубликовала списки воинов Псковщины — погибших, не вернувшихся. Младший сержант, ефрейтор, рядовой, рядовой, лейтенант, подполковник, рядовой, ефрейтор, лейтенант, майор, подполковник, рядовой, рядовой, капитан... Десятки русских фамилий, имен, отчеств. Районы — Великолукский, Дновский, Опочецкий, Островский, Порховский, Псковский, Пустошкинский... Города — Великие Луки, Псков. То ли маршруты поездок Пушкина, то ли сводка с фронта Великой Отечественной...

В Пушкиногорье происходит что-то странное — все связывается с Пушкиным. Такого ощущения нет ни в Петербурге-Ленинграде, ни даже в Царском Селе. Поэтому, может быть, такое тягостное чувство и от отложенного проекта устава, и от этого объявления райпо. А эти списки погибших...

Днем от здания районного комитета партии, от Дворца Советов, процессия с венками цветов направляется к Святогорскому монастырю, к могиле поэта. Прошлый раз я был здесь в начале лета, в день его рождения, сегодня — день смерти. Так же звонят колокола. Тот же небольшой военный оркестр играет «Славься». Возложение цветов и митинг у могилы проходят по той же отработанной схеме. Звучат славословия поэту, выступают «запланированные» люди. Лишь речь С. С. Гейченко — ныне главного хранителя музея-заповедника, — который всегда непредсказуем, всегда неожиданен, звучит неким диссонансом, приоткрывает еще что-то, какой-то уголок необозримой тайны Пушкина. Пытается выступить одна «незапланированная», взволнованная женщина, говорит что-то об Азербайджане и Армении, но ее уже никто не слушает, митинг объявляется закрытым. Вот оно, еще одно, очередное «ознаменование». Нужно оно? Нужно. Такое? А может быть, другое? Не знаю. Но что-то тревожит.

Учредительное собрание общества в Доме культуры тоже в целом проходит довольно вяло. Среди его участников (а их более восьмидесяти) совсем нет молодежи. Ни в коей мере не хочу умалить заслуг и забот о Пушкинском музее-заповеднике, которые имели и проявляли многие участники этого собрания — ученые, художники, писатели, партийные работники, представители общественности Пушкиногорья и другие, но все же во всем чувствуется какая-то усталость, огонь не загорается.

С интересным докладом об обществе друзей Пушкинского музея-заповедника, его истории выступает С. С. Гейченко. Это общество, рассказывает он, было основано в 1926 году по инициативе президента Академии наук СССР А. П. Карпинского. Он же был избран председателем общества. Его заместителями были В. В. Вересаев и ученый-пушкиновед Б. Л. Модзалевский.

Общество быстро развило свою деятельность. Оно сыграло большую роль в пропаганде великого наследия Пушкина, в деле охраны памятных мест заповедника. В деятельности его принял участие народный комиссар просвещения А. В. Луначарский, посетивший заповедник в 1926 году. Отделения общества были открыты в Сибири, на Кавказе и на Украине. Члены общества разъезжали по стране с лекциями и докладами о Пушкине и заповеднике, вели эту работу не только в Москве, Ленинграде, Пскове, но и в городах Поволжья, Северного Кавказа, Ярославле, Одессе и т. д. При помощи членов общества был разработан статут заповедника, построена в Пушкинских Горах первая экскурсионная база, в Михайловском развернута постоянная выставка «Пушкин в Михайловском в годы ссылки».

Общество прекратило свою деятельность в 30-х годах, когда положение заповедника окрепло, а Академия наук взяла на себя полную заботу о нем.

Сегодня Пушкинские общества есть во многих странах — в Америке, Англии, на Мадагаскаре... Недавно такое общество открылось в Японии.

Интересным и конкретным было также выступление А. М. Савыгина — редактора газеты «Пушкинский край». В уставе, сказал он, определено, что общество будет заниматься издательской деятельностью. И, как я понимаю, это надо делать именно в Пушкинских Горах, рядом с музеем-заповедником. Поэтому одной из первоочередных задач должно стать создание в Пушкинских Горах современно оборудованной типографии. Но для этого нужны немалые средства. Настало время, в связи с переходом на региональный хозрасчет, всё, что связано с Пушкинскими Горами и районом — Михайловским, Петровским, Тригорским, Святогорским монастырем и всеми заповедными местами, разрешить использовать издательствам и кинематографическим организациям, кооперативам и другим объединениям, отечественным и зарубежным фирмам, независимо от того, какая продукция и для каких целей ими будет выпускаться, только по договорам с исполкомом Пушкиногорского райсовета или Обществом друзей музея-заповедника с внесением определенной этими органами разовой платы или процента от реализации выпущенной продукции. Вырученные средства использовать на развитие Пушкиногорья, предусмотрев в первую очередь развитие полиграфической базы.

Справедливость предложения А. М. Савыгина, думается, ни у кого не вызовет сомнений.

Звучат еще выступления, в том числе и представителей той компании, с которой я ехал в автобусе из Пскова. На этот раз они очередь не нарушают. Но выступления их малосодержательны и скучны.

Затем с некоторыми изменениями и дополнениями принимается устав общества, избирается правление. Председателем общества единогласно избирается С. С. Гейченко. Общество, как записано в уставе, будет организовывать пушкинские клубы, выставки, проводить пушкинские праздники поэзии, чтения, доклады, литературные вечера, экскурсии, концертные мероприятия, заниматься издательской деятельностью и т. д. При обществе организуется секция для детей и юношества.

После учредительного собрания — вечер памяти Пушкина. Выступают ученые-филологи, поэты из Москвы и Ленинграда, студенты-выпускники Ленинградской консерватории, фольклорный коллектив. Интересные сообщения, стихи, русская музыкальная классика, русские песни. Зал заполнен на треть. Неужели пушкиногорцы так уж пресытились культурными программами? Где молодежь? Где влюбленные пары, которые так хорошо, так содержательно могли бы провести этот вечер? Неужели так же будут посещаться большие залы в новом Пушкинском научно-культурном центре, строительство которого должно быть закончено в этом году?

Но что это? Еще робко, но уже звучит, настраивается в соседнем помещении другая музыка. Вечер окончен — люди выходят из зала и смешиваются с нарумяненными, раскрашенными девочками, джинсовыми юношами. Дискотека. Как, в день памяти Пушкина? Да, ведь сегодня суббота...

Ошибся Гоголь. Русский человек «в его развитии» не стал подобен Пушкину. А, наверное, мог бы стать. Хотя, правда, двухсот лет с тех пор еще не прошло, да и Гоголь был, видимо, все же не совсем в этом уверен, так как написал «может быть». Но даже его фантазия не смогла бы вообразить ту реальность, то не имевшее еще места в истории физическое и духовное убийство, которому подвергался русский человек в течение стольких десятилетий...

Итак, общество возродилось. Какова будет его судьба, сумеет ли оно продолжить традиции своего предшественника — покажет время. А времени нет. Пушкин ждет.

И все же за две бессонные ночи в гостинице написалось стихотворение.

Пушкинские Горы

Темна безлунная дорога.
Приют поэта позади.
К монастырю, к могиле долго
еще придется мне идти.
Здесь сосны небо наполняют
какой-то древней тишиной.
Я вижу — здесь и жизнь иная,
я знаю — здесь и мир иной.
И пусть, давая волю чувствам,
я понял что-то и узнал,
но я высокому искусству
всю кровь по капле не отдал.
И не взлететь хотя бы тенью,
как справедливо Бог решил,
в тот мир, что переполнен теми,
кого я в этом так любил...

ЮРИЙ ЧЕХОНАДСКИЙ

СЧАСТЛИВЫЙ ДАР



Среди множества достоинств, которыми обладает Пушкинский заповедник, есть одно, может быть, самое главное — он населен талантливыми подвижниками. Жаль, что широко известен лишь Семен Степанович Гейченко — общепризнанный патриарх Пушкиногорья. Но за годы его директорства, при его умелом врачевании и наблюдении выросли люди не менее достойные, а в подвижничестве — столь же, как он, неуступчивы и постоянны.

Любовь и Борис Козмины приехали в Петровское открывать и начинать новый музей — дом Ганнибалов. Было это пятнадцать лет назад. За эти годы их дети-близнецы Саша и Лева не только успели закончить школу, но и вместе, не расставаясь, отправились служить в ракетные войска... Но родительский дом, как и дом Ганнибалов, снится им в чутких снах, завораживая своей необыкновенной теплотой и удивительно нежной музыкой, которая всю пору детства и отрочества будила их по утрам и усыпляла тихими зимними вечерами.

Они росли среди живописных картин и резных деревянных образов, созданных отцом. Палитра и резец — это давнишняя и неотъемлемая часть жизни Бориса Михайловича. Он закончил Ленинградскую академию художеств... И быть бы ему искусствоведом или живописцем, если бы не встреча с Пушкинским заповедником... Однако Семен Степанович взял его не сразу, и не в первый приезд. Испытывал с оглядом, пугал неустроенным деревенским бытом, интеллектуальным одиночеством, душевным сиротством... Но не запугал. Влюбленный во все пушкинское, Борис Михайлович и из Красноярского края слал телеграммы, вопрошая, когда случится оказия и наконец-то появится место.

Она случилась. Прихватив семейство, он прибыл сразу же. Первые годы заповедник отнимал все духовные силы, врастание шло медленно, как всякие истинно духовные постижения. А когда Ганнибалов дом был обжит, началась вторая ступень постижения родословной Пушкина. Он засел за книги, за архивы, все чаще стал бродить с мольбертом по петровским и пушкиногорским окрестностям. И появилась новая мелодия — она зазвучала в слове и живописных образах на полотнах в домашней мастерской.

Он уже без внутреннего страха, а вполне уверенно засел за книгу о Ганнибалах, начав с Арапа Петра Великого — знаменитого Абрама Петровича, основавшего славное гнездо великого поэта. Книгу он видит объемистой, повествование идет от первых дней эфиопского мальчика. Написана она обстоятельно, с превосходным знанием не только событий исторических, но и всего жизненного уклада начала XVIII века. Знаменитые исторические персонажи предстают в полноте неоднозначных характеристик и точных психологических оценок. Рукопись еще дорабатывается, оснащается личными бытовыми деталями, но книга уже живет. Ее читают друзья, интересуются издатели, пушкиноведы, историки. Поскольку сей труд о Ганнибалах — пока единственный в своем роде в нашей стране.

Для журнальной публикации мы выбрали главу, в которой описывается Полтавская битва. В ней очень хорош Петр I. И сделано это через восприятие подростка-арапчонка, участвовавшего в знаменитой битве со шведами вместе с приемным отцом (см. стр. 63).

Есть особая прелесть и в живописных полотнах Бориса Михайловича, хотя по первому впечатлению они вполне скромны. Небогатый пейзаж, сдержанность красок, тихие уголки парка, дома, деревни... В его картинах все узнаваемо, все на памяти у приметливого глаза, и даже старая ива, разбитая молнией, живет в поле зрения возле сельской дороги. И во всем этом есть сугубо личное самочувствие художника, его душевная тонкость, деликатность, его тихая, робкая застенчивость.

Но из картин его, с которыми вы познакомитесь на нашей цветной вкладке и первой обложке, мне больше нравится «Пушкин в гостях у двоюродного дяди Вениамина». Борису Михайловичу здесь весьма удалась и сама атмосфера этого поэтического застолья на верхней веранде старого ганнибаловского дома летним погожим днем.

Дядя обожал поэта, сам занимался сочинительством, только музыкальным... И хранил его портрет. Историю его читайте на стр. 32, ее рассказывает супруга Бориса Михайловича, сотрудница музея, тоже исследователь, увлеченный Пушкиными и Ганнибалами, как и Борис Михайлович.

Да, такая духовная широта и профессиональный универсализм дают очень многое. Они позволяют музейному работнику, перешагнув привычные рамки популяризатора, вдохнуть в неотступную скуку экспонатов душевное тепло, восхитительную мудрость жития и огранить интеллектом плоский исторический рельеф ушедшего бытия. Вот у таких подвижников-страстотерпцев, как Любовь и Борис Козмины, мы как бы заново учимся духовному прозрению, столь необходимому в дни стремительно разрушающихся бездуховных стереотипов. Они сумели-таки пронести сквозь все невзгоды мертвого застоя неиссякаемый интерес к духовным началам жизни. Это ли не счастливый дар подвижничества.

АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ

ЕЛЕНА ПЛАХОВА

Незаходящее СОЛНЦЕ

Как хорошо, что у России есть Пушкин!.. Мысль эта, быть может, немного наивная, принадлежит не мне. Однажды я услышала эти слова от художника Николая Васильевича Кузьмина. Но всякий раз они приходят в голову, когда в минуту трудную вспоминается что-то из пушкинской лирики, в минуту легкую — ироничные строки «Евгения Онегина», а в унылый серый денек — все-таки! — «Очей очарованье...»!

Глядя на жизнь глазом «вооруженным», «сквозь магический кристалл» творчества нашего великого поэта, становится как-то легко, радостней жить. Это состояние души отметил другой российский гений, Лермонтов — «Одну молитву чудную твержу я наизусть...»

Не умея молиться, но зная хорошо, на память, несколько стихотворений Пушкина, словно разгоняешь тучи, накопившиеся в душе. А вам знакомо это?

Как хорошо, что у России есть Пушкин, вечный наш спутник, а у Пушкина — Кузьмин. Представьте себе, имя нашего современника также входит в своеобразную атмосферу «пушкинского круга», как имена Вяземского и Пущина, Кипренского и Тропинина, ибо он, Кузьмин, лучше многих исследователей творчества поэта поймал, схватил — запечатлел! — живой блеск дня, убегающие мгновения такой быстротекущей жизни. Жизни поэта, которую мы, кажется, знаем не то что по годам, а по дням и по часам — настолько велика и порой мучительно скрупулезна наша пушкинистика. В ней, в этой огромной научной библиотеке, двери которой, на первый взгляд, открыты для любого, веселое имя Кузьмина стоит в ряду лучших имен. Вот я пишу «Кузьмин» даже без инициалов, и многие, вероятно, меня одобрят, ибо искусство Кузьмина, которого мы вправе назвать «вечным спутником» великого Пушкина и есть слава и гордость нашей книжной графики, ее вечный же прекрасный праздник. Уверена: многим из нас невозможно представить «Евгения Онегина» без героев художника, героев Пушкина — без милых черт, данных им изящным кузьминским пером.

Иллюстратор — «проливающий свет». Какой нежный свет «проливает» Николай Васильевич Кузьмин на лирику Пушкина, идет вслед за ее строкой, пытаясь передать полет и красоту мысли, ее пославшей.

Вот он, «Евгений Онегин», словно озаренный светом шедевр иллюстраторского гения Кузьмина, величественный и невыразимо изящный том, изданный «Academia» в 1933 году, одетый в суперобложку теплого цвета, на ней — рисунок черной китайской тушью, пером — Онегин и Пушкин. Они идут, рука в руке.

...Знакомясь с Николаем Васильевичем Кузьминым довольно уже давно, лет 10 назад, я поразилась его руке — невесомой, с длинными хрупкими пальцами. Как, должно быть, невесомо, легко вела эта рука перо, как легко вился из-под пера легчайший, как бы «в одно касание», рисунок черной тушью. Пушкинский рисунок. Проникаясь легкостью рисунков поэта, поддаваясь «очарованию небрежности», тонко подмеченному Кузьминым, ибо это его определение пушкинского дара рисовальщика, художник создал свой, изысканый и простой, прием иллюстрации, свой шедевр — кузьминскую Пушкиниану.

Но далее — пойдем вслед за мыслью самого Николая Васильевича. Наши мастера, старые наши художники, умели ценить и понимать слово, умели хорошо писать. Какие добрые, умные воспоминания о былом, об искусстве, о назначении художника, о жизни — для себя, для потомков, для нас с вами, написал Кузьмин. «Круг царя Соломона», «Страницы былого», «Художник и книга» — жизнь, полная до краев творчеством, проходит перед читателями книг народного художника России. Жизнь, прожитая достойно и светло. Жизнь, освещенная гением Пушкина, вероятно, и не могла стать иной.

Пушкин — неиссякаемый источник вдохновения, радости художника — настоящий герой записок Николая Васильевича, хотя, казалось бы, они о другом. Но вот строки, посвященные поэту: «Всю жизнь он сияет над нами, как незаходящее солнце. Он входит в память каждого из нас с детства...»

Биографические вехи Кузьмина, наверное, известны всем, кто любит искусство книжной иллюстрации. Вот некоторые из них. В 16 лет провинциальный мальчик вдруг напечатал свой рисунок в «Весах» Валерия Брюсова. Поэт приветствовал «русского Бердслея» (в такой транскрипции было тогда в ходу имя замечательного английского графика Обри Бердсли), ободряющим дружеским участием дышало его письмо в Сердобск юному художнику...

Затем была война, гражданская — ее Кузьмин прошел в рядах Красной Армии, учеба в Петрограде — общение с мастером знаменитым, «мирискусником», известнейшим и сейчас — Иваном Яковлевичем Билибиным, заставившим «русского Бердслея» искать и находить свой путь в искусстве... А после была — «Пушкинская академия» — вечера в доме знаменитого пушкиниста Мстислава Александровича Цявловского.

— Там я постиг искусство медленного чтения Пушкина... До революции, — удивленно говорил Николай Васильевич, — пушкинистикой занимались единицы. После нее — их уже было целое сообщество...

«От чтения «вдоль и поперек» в произведении обнаруживаются черты, бывшие дотоле скрытыми, вы получаете доступ в творческую мастерскую писателя, становясь, можно сказать, «участником в деле», — пишет Кузьмин-мемуарист, — и, верный себе, продолжает с легкой иронией: «Этот необходимый для иллюстратора способ медленного чтения мог бы быть, надо думать, недурным методом и в литературной учебе...»

«Пушкинская академия» приобрела благодарного ученика. С того самого момента, когда в 1929 году Кузьмин выставил несколько рисунков на пушкинские темы — «Пушкин в Москве», «Кишиневские дамы», а затем, позже, создал иллюстративный цикл «Евгений Онегин», он стал художником-пушкинистом, проникновенным исследователем творчества поэта. И даже сам стал писать стихи. «Академия» выпустила великолепного мастера, виртуозно владеющего словом. Словом, ставшим прибежищем, отдохновением художника, которому иногда становилось тесно в рамках знакомой среды. А тесно — особенно в тридцатые — становилось все чаще и чаще. «Рисовать так, как Кузьмин, значит лить воду на мельницу империализма!..» Кузьмин, признанный лидер изобразительной Пушкинианы, группы «Тринадцать», объединившей художников, искавших на рубеже двадцатых — тридцатых годов собственный путь в искусстве, выстоял, выдюжил. Навсегда, до конца сохранил свободный, импровизационный рисунок, летящий, притягательный, виртуозный. Стал членом-корреспондентом Академии Художеств СССР, народным художником России. Его графика, посвященная Пушкину, не меркнет рядом с исканиями наших лучших современных мастеров. Кузьмин в своих стремлениях познать мир поэта и, познавая, еще щедрее, шире распахнуть его для нас, ушел так далеко, что, пожалуй, будет современником еще многих, многих поколений читателей и художников, оставаясь при этом все-таки, прежде всего, современником самого Пушкина.

Рисунки Н. В. Кузьмина
на стр. 2, 26, 29, 31, 51, 56, 58, 63.

Уже после смерти Кузьмина, когда отмечалась стопятидесятая годовщина смерти Пушкина, два этих имени вновь оказались рядом. Вновь все увидели, насколько близки они друг другу. Состоялись выставки — в нашей стране, за рубежом. Всеобщее внимание, как, впрочем, всегда, привлекли рисунки Кузьмина. Одна из этих выставок, прошедшая в Британской библиотеке, названа была «Во славу Пушкина» (правда, замечательно?). Составленная из запасов библиотеки, ее славянских коллекций, она поистине уникальна. И там всеобщим вниманием пользовался портрет Пушкина работы Кузьмина, в котором художник, по словам английского рецензента, «сумел запечатлеть неистощимую энергию поэта».

В этом номере, посвященном Пушкину, щедро представлены рисунки Николая Васильевича Кузьмина. Отблеск «незаходящего солнца» нашей литературы лежит и на имени художника. Да и оно сияет своим светом, обращенным к нам — и в будущее.

Как хорошо, что у России есть Пушкин. Как хорошо, что у Пушкина есть Кузьмин.

ПОРТРЕТ НА ПАМЯТЬ

Вениамин Петроич Ганнибал — двоюродный дядя А. С. Пушкина, хорошо образованный, много занимался агрономией, музыкант-сочинитель, большой поклонник поэзии своего племянника, один из близких друзей родителей поэта, жил в Петровском с 1825 по 1839 год.

В его доме так часто звучали произведения Пушкина, что даже дворовые люди знали целые поэмы наизусть. Когда родители поэта приезжали из Петербурга в Михайловское, они довольно часто навещали Вениамина Петровича. Его имя постоянно упоминается в их письмах, адресованных сестре поэта — Ольге Сергеевне Пушкиной-Павлищевой в Польшу, куда она уехала к мужу в 1829 году.

В одном из писем Сергей Львович сообщает дочери: «...Ганнибалы приютили у себя в качестве судомойки 14-ти или 15-тилетнюю Глашку, дочь — изаини за выражение — свинопаса Гаврюшки из Опочки. Кругла она, как шарик, носит толстую красную рогожу с плоским носом и калмыцкими глазами, и не совсем чистоплотна. Представь себе, Ольга: это сверхъестественное создание выучила с начала до конца «Бахчисарайский фонтан», а вчера мы все хохотали до упаду: Вениамин Петрович вызвал ее из кухни нас потешить декламацией из «Евгения Онегина». Глаша встала в третью позицию и закричала во все горло:

«Толпою нимф окружена
Стоит Истомина; она
Одной ногой касаясь пола, (Глаша встает на цыпочки)
Другою медленно кружит, (Глаша поворачивается)
И вдруг прыжок и вдруг летит,
Летит, как пух из уст Эола...»

(Глаша тут прыгает, кружится, делает на воздухе какое-то антраша и падает невзначай на пол, расквасив себе нос, громко ревет и опрометью в кухню. Ей стыдно, все хохочут...)»

Из другого письма: «А еще скажу, что все очарованы стихами Александра; все учат их наизусть, даже восьмилетний Темиров. Еще того лучше: рыжий цирюльник, горький пьяница Прохор — его ты видела, — его же берет всегда на охоту Вениамин Петрович подымать подстреленную дичь, — вообрази себе и тот, вынимая из ягдташа и показывая охотникам тетеревей, рябчиков, диких уток, куропаток и дроздов — запел публике из «Братьев-разбойников»:

«Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний...»

Эти шаржированные письма Сергея Львовича говорят нам о многом. Как высоко почиталась поэзия Пушкина, когда в Петровском жил Вениамин Петрович. Как музыкант-сочинитель он положил на музыку песню Земфиры, которую стали петь в окрестных имениях. И Сергей Львович спешит сообщить об этом дочери: «Кстати: вообрази, Ольга, стены гостеприимного Тригорского огласились песней Земфиры из «Цыган» Сашки: «Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня»! Песню поют и у Осиповой и у Креницыных, а музыку сочинил сам Вениамин Петрович. Выходит очень хорошо». (Отрывки из писем процитированы по книге: Л. Н. Павлищев. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890.)

Поэтому-то не случайно именно в кабинете, посвященном В. П. Ганнибалу, представлен портрет А. С. Пушкина неизвестного художника, поступивший в музей в 1977 году.

Портрет Пушкина подарила заповеднику в 1953 году Сусанна Александровна Рейнке. Друг семьи П. Е. Щеголев высказывал предположение, что портрет писан при жизни поэта кем-то из круга Кипренского или под Кипренского в 1830-е годы.

Тщательное рассмотрение этого небольшого размером (230×180 мм) портрета, исполненного на плотном, потемневшем в своей материальной структуре картоне толщиной в 5 мм, убеждает нас в том, что изображение действительно напоминает знаменитый портрет работы О. Кипренского.

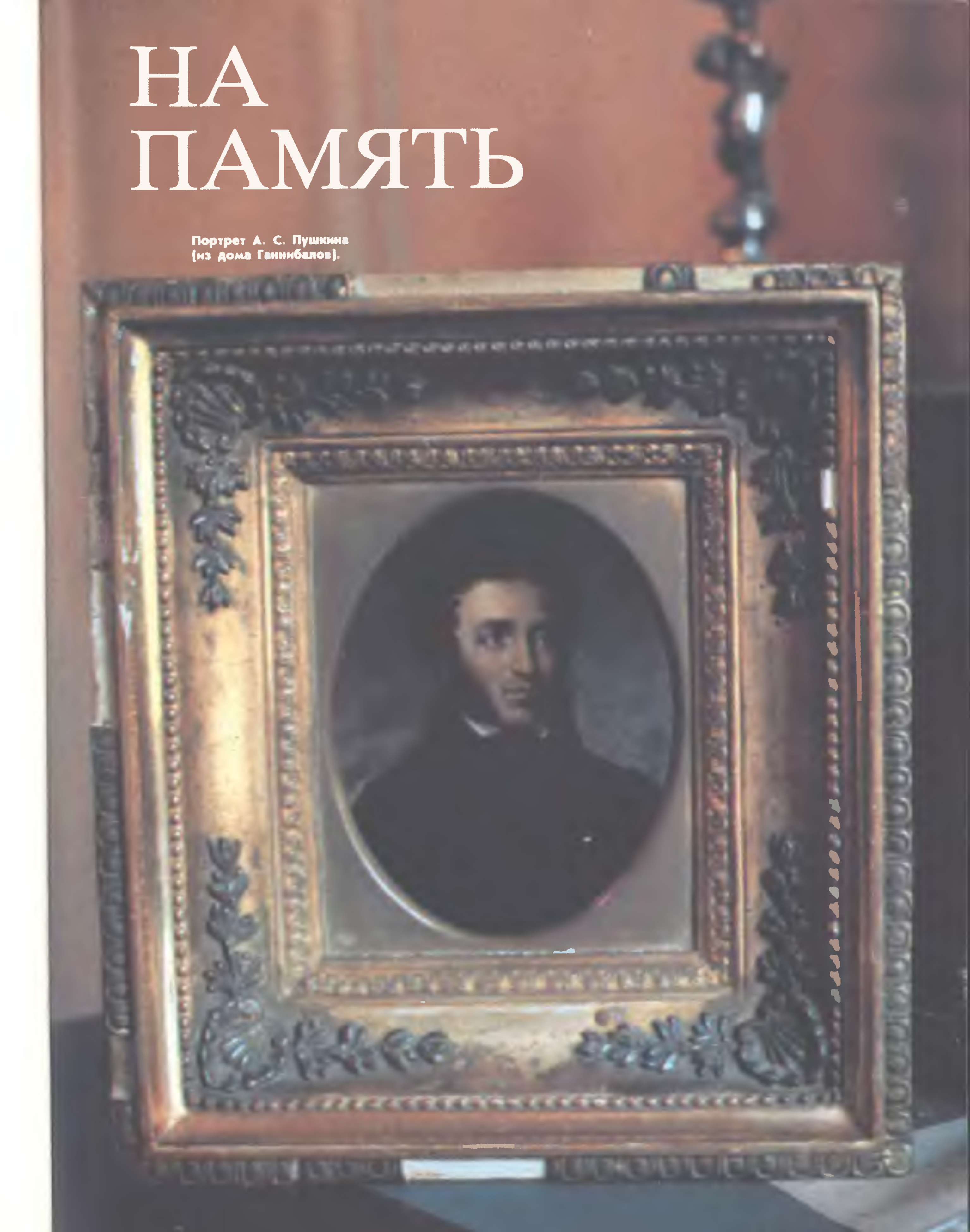
Однако же, это лишь отдаленное реминисцентное отражение широко распространившегося представления о Пушкине, как об идеале Поэта и Поэзии. После такой счастливой находки портретиста-романтика, следуя за ним, многие варьировали этот основательно сложившийся образ. Знаменитый гравер А. И. Уткин перевел в графику прославленный портрет, опустив некоторые внешние атрибуты (скрещенные на груди руки и статую Музы с правой стороны в глубине, сосредоточив все внимание на портретных чертах, которые, как нам известно, вызвали полное удовлетворение Сергея Львовича, писавшего после гибели поэта, что лучшим из портретов его сына есть тот, который написан Кипренским и гравирован Уткиным).

В поступившем в ганнибаловский музей портрете имеются явные черты сходства именно с интерпретацией образа, данной Уткиным. Это прежде всего характер постановки глаз. Едва заметное смещение левого глаза к переносице, очертание разреза губ, в которых ничего уже не осталось от африканского характера. Здесь это просто красиво выписанный бантик. И вообще образный строй выражает больше внешнюю красоту, нежели глубокую, внутренне синтетическую, выраженную волшебной кистью Кипренского, сохраненную и переведенную в новое эмоциональное качество Уткиным. В этом портрете романтическим атрибутом вместо статуи Музы выступает суровый абрис Кавказских гор при вечернем свете. Колорит портрета строится на темно-оливковых тонах, доминирующих на всей живописной плоскости, из которой выступает смуглое лицо поэта, оживленное робкими акцентами бликов на лбу, в глазах и белого воротника.

По всем признакам можно отнести портрет к прижизненным изображениям поэта. Уровень же мастерства отличает не профессионала, а добросовестного любителя, благоговейно относившегося к великому поэту. Несмотря на это, портрет составляет важную историческую и иконографическую ценность. Установить авторство теперь вряд ли представляется возможным.

Л. КОЗМИНА,
научный сотрудник
музея-заповедника
А. С. Пушкина

ПЕТРОВСКОЕ —
ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ



Портрет А. С. Пушкина (из дома Ганнибалов).



Герб Ганнибалов.

Б. Козмин.
Пушкин в гостях
у двоюродного
дяди
Вениамина
Ганнибала.
1987 г.

Б. Козмин. Этюд в Петровском (по дороге).

Деревня Велье (древнее городище).
Фото Ю. Садовникова и этюд Б. Козмина.



Виктор Попков. Пушкин и Керн.

За окопицей Михайловского. Фото В. Монина.

С. С. Гейченко. Фото Ю. Садовникова.



Мастер Райгардского алтаря.
Несение креста. Около 1420 г.
Деталь.



ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

Некоторые партизаны мессианских идей уже признали, что Мессия принесет новый закон, который будет общим для всей земли. Ессеи, почти не бывшие иудеями, также были равнодушны к храму и моисеевым обрядам. Но это были лишь отдельные или еще не признанные вольнодумства. Иисус первый решился сказать, что, начиная с него, или лучше — с Иоанна, закон не существовал более[1]. Если иногда он и пользовался более скромными выражениями, то это для того, чтобы не шокировать слишком жестоко принятые предрассудки. Когда его доводили до крайности, он снимал всякую маску и объявлял, что закон не имеет более никакой силы. Здесь он пользовался энергическими сравнениями: «Не чинят, — говорил он, — старое новым; не вливают молодое вино в старые мехи». А вот на практике его учительское и творческое деяние. Храм исключал из своей ограды не-иудеев презрительными объявлениями. Иисус же не хочет этого. Этот узкий, жестокий закон, чуждый милосердия, годен только для детей Авраама. Племенная гордость является для него важным врагом, с которым нужно бороться; другими словами, Иисус более не иудей. Он революционер в самой высокой степени: он призывает всех людей к религии, основанной на их единственном звании детей божиих. Он провозглашает права человека, а не права иудеев; освобождение человека, а не освобождение иудея. Ах! как мы далеки от Иуды Голонита и от Матфея Марголота, проповедовавших революцию во имя закона! Религия человечества установлена не на крови, а на сердце основана. Моисей превзойден; храм более не имеет права на существование и осужден безвозвратно.

ГЛАВА XIII

Отношение Иисуса к язычникам и самарянам

Согласно этим принципам, Иисус презирал все то, что не было религией сердца. Пустые обряды ханжей[2], внешний ригоризм, который вверяется притворству, чтобы получить спасение, имели в нем смертельного врага. Он не заботился о посте[3]. Он предпочитал жертве прощение несправедливости[4]. Любовь к Богу, милосердие, взаимное прощение — вот весь его Закон[5]. Он не признавал никакого священства. Профессиональный жрец всегда побуждает к публичному жертвоприношению, которого он является обязательным слугой; он отстраняет от частной молитвы, являющейся средством обойтись без него. Напрасно стали бы искать в Евангелии религиозного обряда, который бы рекомендовал Иисус. Крещение имело в его глазах лишь второстепенное значение[6]; что касается молитвы, то Иисус ставил лишь одно условие: чтобы она исходила от сердца. Как это всегда случается, некоторые полагали, что слабым людям можно заместить истинную любовь добрым желанием, и воображали, что приобретут царство небесное, говоря Иисусу: «Учитель, учитель»; он же отстранял их и возвещал, что его религия — это делание добра[7]. Он часто цитировал место из Исайи: «Этот народ чтит Меня устами, но сердце его далеко отстоит от Меня». Суббота была главным пунктом, на котором воздвигалось здание фарисейских строгостей и тонкостей. Этот старинный и прекрасный институт сделался поводом для жалких казуистических споров и источником суеверий. Думали, что субботу соблюдала природа; все перемежающиеся источники слыли «саббатическими». Это был также пункт, на котором Иисус охотнее всего бросал вызов своим противникам[8]. Он открыто нарушал субботу и отвечал на делаемые ему упреки лишь тонкими усмешками. Тем бо-

---

[1] Лука, XVI, 16. Считаем необходимым обратить внимание на это место, где Иисус выставляется в новом, единственном правильном свете революционера в религии, между тем как католическая и православная ортодоксии вещают, что Иисус пришел «исполнить» и «подтвердить» древний закон. Это, впрочем, не мешает благочестивым служителям Бога травить поклонников древнего закона — евреев. *Перев.*

[2] Матф., XV, 9. *Перев.*

[3] Матф., IX, 14; XI, 19. *Перев.*

[4] Матф., V, 23 и сл.; IX, 13; XII, 7. *Перев.*

[5] Матф., XXII, 37 и сл.; Лука, X, 25 и сл. *Перев.*

[6] Матф., XXVIII, 19; Марк, XVI. *Перев.*

[7] Матф., VII, 21; Лука, VI, 46. *Перев.*

[8] Матф., XII, 1-14; Марк, II, 23-28; Лука, VI, 1-5, XIII, 14 и сл. *Перев.*

* *Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.)*

Продолжение. Начало в №№ 8—10, 12/1989 г., №№1—5/1990 г. Произведение публикуется полностью.

лее он презирал массу новейших обрядов, прибавленных преданием к закону и, благодаря именно этому, бывших наиболее дорогими для ханжей. Относительно омовений и слишком тонких различии между чистыми и нечистыми предметами он был безжалостен. «Можете ли вы также, — говорил он им, — омыть свою душу? Не то, что ест человек, оскверняет его, а то, что исходит из его сердца». Фарисеи, как распространители этого лицемерства, были мишенью для всех его ударов. Он обвинял их в том, что они перещеголяли Закон и изобрели всевозможные предлоги, чтобы создать людям повод для греха. «Слепые вожди слепых, — говорил он, — остерегайтесь упасть в яму». — «Порождение ехидны, — добавлял он втайне, — они говорят только о добре, но в душе они злы; они не оправдывают пословицы: «только от полноты сердца говорят уста»

Он не знал достаточно язычииков, чтобы думать, будто иа обращении их можно построить что-либо прочное. В Галилее находилось большое количество язычников, но она, как кажется, не имела публичного и организованного культа «ложных» богов. Иисус мог видеть этот культ в стране Тира и Сидона, в филипповои Цезарее и в Декаполе, где он развертывался во всей своей пленительности. Он мало обращал на него внимания. У него никогда нельзя встретить того утомительного педантизма и тех высокопарных речей против идолопоклонства, которые так знакомы его единоверцам, иачиная с Александра, и наполняют собою, напр., книгу Мудрости. Что поражает Иисуса в язычниках, это — не их идолопоклонство, в их раболепство[1]. Молодой иудейский демократ, брат в этом Иуды Голонита, признававший владыку только в Боге, сильно оскорблялся окружавшими особу государей почестями и даваемыми этим последним титулами, которые часто были лживы. Но, зв исключением этого, в большинстве случаев, когда он встречается с язычниками, он выказывает к ним большую снисходительность, иногда он показывает вид, что возлагает на них большие ндежды, чем на иудеев. Царство божие будет дано им. «Когда господин недоволен теми, кому он отдал в наем свой виноградник, то что он делает? Он отдает его другим, которые приносят ему хорошие плоды». Иисус тем более должен был держаться этой мысли, что обращение язычников, по иудейским понятиям, было одним из свмых верных признаков пришествия Мессии. В своем царстве божием он сажает на пиршестве, рядом с Авраамом, Исавком и Иаковом, людей, пришедших от 4-х ветров земли, между тем, как законные наследники царства — прогнаны. Правда, часто думают в двнных Иисусом приказаниях своим ученикам найти противоположную тенденцию: по-видимому, он советовал им благовествовать только одним правоверным иудеям; он говорит об язычниках согласно иудейским предрассудкам. Но надо помнить, что ученики, чей узкий ум не мог соглвситься с этим высоким безразличием относительно качеств сынов Авраамв, вполне могли применять наставления своего учителя сообразно своим собственным идеям. Кроме того, весьма возможно, что Иисус, смотря по тому, надеялся ли он привлечь к себе язычников или нет, разногласил в этом пункте, то очень лестно отзываясь о них, то крайне сурово — точно так же, как отзывался об иудеях Магомет. В самом деле, предание приписывает Иисусу два правила прозелитизма, совершенно друг другу противоположных, и которые Иисус мог выполнить лишь попеременно: «Кто не против вас, тот зв вас»[2]. — «Кто не со мною, тот против меня»[3]. Стрвстная борьба почти необходимо влечет за собою эти противоречия. Верно только одно, что он насчитывал среди своих учеников несколько человек, которых иудеи называли «эллинами». Это слово имело в Палестине очень различные значения. Оно обозначало то язычников, то иудеев, говоривших по-гречески и живших средн язычников, то людей языческого происхождения, обратившихся в иудейство. Вероятно, Иисус встретил симпатию в последней категории эллинов. Присоединение к иудейству имело много степеней; но прозелиты всегда оставались в подчиненном положении по отношению к природному иудею. Те, о ком идет здесь речь, назывались «прозелитами врат» или «людьми, боящимися Бога», и подчинялись правилам Ноя, а не Моисея. Эта самая подчиненность, без сомнения, была причиной их сближения с Иисусом и благосклонности к ним последнего.

Твк же он обходился и с самврянами. Самария, заключенная, квк островок, между 2-мя большими иудейскими провинциями (Иудея и Галилея), образовывала в Палестине как бы клин, где хранился старый культ Гаризима, брата и соперника иерусалимского культа. С этой бедной сектой, не имевшей ни гения, ни ученой организации иудейства в собственном смысле, иерусалимляне обходились крайне сурово. Ее ставили на одну линию с язычниками и кроме того ненавидели. Иисус, как бы из оппозиции, был очень расположен к ней. Он часто отдает предпочтение самарянам над правоверными иудеями. Если, в иных случаях, он, по-видимому, запрещает своим ученикам проповедывать им, сохрвняя свое евангелие для чистых израильтян, то это здесь, несомненно, заповедь на всякий случай, которой апостолы придали слишком абсолютный смысл. Иногда самаряне, на самом деле, дурно принимали его, предполагая, что он пропитан предрассудками своих единоверцев, — также, как теперь мусульманин смотрит на свободомыслящего европейца, как на врага, всегда считая его фанатиком-христианином. Иисус умел стать выше этих недоразумений... В Сихеме у него было несколько учеников, и он провел твм, по крайней мере, два дня. В одном случае, он встречает признательность и истинное благочестие только у самарянина. Одной из прекраснейших его притч является притча о раненом человеке на дороге из Иерихонв. Проходит священник, видит его и продолжает свой путь. Проходит левит и не останавливается. Самврянин же чувствует сострадвние к нему; он приближвется, льет масло нв его раны и обвязывает их. Иисус заключил отсюда, что истинное брвтство между людьми проистекает из милосердия, а не из общности религиозных верований. «Ближний», которым в иудействе особенно был единоверец, для него — человек, питающий сострадание к себе подобному, не различая религии. Человеческое братство, в самом широком смысле этого слова, било ключом из всех его поучений.

Эти мысли, осаждавшие Иисуса при его выходе из Иерусалима, нашли свое живое выражение в рассказе, который сохранился об его возвращении. Дорога из Иерусалима в Галилею проходит на расстоянии получаса пути от Сихема (теперь Наплюз) перед входом в долину, над которой возвышаютсв горы Эбал и Гаризим. Иудейские пилигримы избегали вообще эту дорогу; они предпочитали в своих путешествиях делвть длинный обход Переи, чем подвергаться оскорблениям со стороны самарян или спрашивать у них что-либо. С последними было запрещено есть и пить вместе; некоторые казуисты считали аксиомой, что «кусок самарянского хлеба есть мясо свиньи». Когда ходили по этой дороге, то приходилось наперед запасвться провизией; кроме того редко избегали ссор и дурного приема. Иисус не разделял ни этой щепетильности, ни этих опасений. Достигнув по дороге того места, где налево открывается сихемская долина, он почувствовал утомление и остановился вблизи колодца. Самаряне, так же, как и теперь, имели тогда обыкновение даввть всем местам своей долины имена, взятые из патриархальных воспоминаний; они смотрели на этот колодезь, как на данный Иосифу Иаковом; это, вероятно, был тот самый, который и теперь еще называется Бир-Якуб. Ученики вошли в долину и отправились в город покупать провизию; Иисус сел на краю колодца, имея напротив себя Гаризим.

Было около полудни. Одна женщина из Сихема пришлв почерпнуть воды. Иисус попросил у ней напиться; это возбудило у этой женщины сильное удивление, так как иудеи обыкновенно воздерживались от всяких сно-

---

[1] Матф., XX, 25; Марк, X, 42; Лука, XXII, 25. *Перев.*
[2] Марк, IX, 40. *Перев.*
[3] Матф., XII, 30. *Перев.*

шений с самарянами. Привлеченная разговором и Иисусом, женщина признала в нем пророка и, ожидая упреков по адресу своей веры, предупредилв его. «Господин, — сказала она, — отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что должно поклоняться в Иерусалиме». — «Женщина, поверь мне, — ответил ей Иисус, — наступает время, когда и не на этой горе и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но когда все истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине».

В тот день, когда он произнес эти слова, он поистине был сыном божиим. Он в первый раз сказал слово, на котором он построил здание вечной религии. Он положил основание чистой религии, не ограниченной ни временем, ни отечеством, культу, который станет религией всех возвышенных людей до конца времен. В этот день религия Иисуса была не только хорошей религией человечества, это была совершенная религия. И если другие планеты имеют одаренных разумом и нравственностью жителей, их религия не может отличвться от религии, провозглашенной Иисусом близ колодца Иакова. Человек не мог держаться ее; ведь идеала достигают только на мгновение. Изречение Иисуса было молнией среди темной ночи; понадобилось 1800 лет для того, чтобы человечество (что говорю я — неизмеримо малая часть человечества) привыкло к нему. Но молния делается полным днем, и человечество, пройдя все круги ошибок, возвратится к этому изречению, как к бессмертному выражению своей веры и своих надежд.

ГЛАВА XIV

Начало легенды об Иисусе[1]. Его личное представление о своей собственной роли

Иисус вернулся в Галилею, потеряв целиком свою иудейскую веру и полный революционного жара. Его идеи выражаются теперь с полною ясностью. Невинные афоризмы его первого пророческого периода, частью заимствованные у ранее бывших раввинов, его прекраснейшие моральные проповеди, кончаются решительной политикой. Закон будет уничтожен; и его уничтожает именно он, Иисус. Мессия пришел: это — он. Скоро наступит царство Божие; и оно наступит блвгодаря ему. Он хорошо знает, что падет жертвою своей смелости; но царство Божие не может быть завоевано без насилия; оно установится путем кризиса и междоусобиц[2].

Сын человеческий после своей смерти придет со славой в сопровождении ангельских легионов, и те, кто оттолкнул его теперь, будут уничтожены.

Смелость твкой концепции не должна удивлять нас. Иисус уже давно смотрел на себя и Бога, как на сына и отца. То, что у других было бы невыносимой гордостью, у него не может рассматриввться как посягательство.

Титул «Сын Давида» он принял самым первым, вероятно не будучи соучвстником тех невинных обманов, путем которых его стремились закрепить за ним. Род Давида, как кажется, прекратился уже давно; ни Асмонеи священнического происхождения, ни Ирод, ни римляне не допускали ни на мгновение, чтобы рядом с ними существовал какой-нибудь представитель прав древней династии. Однако, с конца Асмонеев грезы о неизвестном потомке, который отомстит зв народ его врвгам, бродила во всех головах. Было всеобщим верованием, что Мессия будет сыном Давидв[3], и что он родится, квк и последний, в Вифлееме[4]. Первое чувство Иисусв не было вполне таковым.

Занимавшее иудейскую массу воспоминание о Давиде не имело ничего общего с его небесным царством. Он считал себя сыном Бога, а не Давида. Его царство и задуманное им освобождение были совершенно другого характера. Но (народное) мнение сделало здесь над ним как бы насилие. Непосредственным следствием из положения: «Иисус — Мессия» было другое: «Иисус — сын Давида». Он позволил дать себе этот титул, так как без последнего он не мог надеяться на какой бы то ни было успех. Квк кажется, он, наконец, принял его с удовольствием; ведь он творил, благодаря своей милости, чудеса, которых просили у него, обращаясь к нему, как сыну Давида. Здесь, как и в некоторых других обстоятельствах своей жизни, Иисус склонился к носившим печать его времени идеям, хотя последние и не были вполне его собственными. Он присоединил к своему догмату «цврства божия» все, что воспламеняло сердца и воображение. Так, мы видели, что он принял крещение от Иоанна, хотя оно и не должно было иметь большой важности.

Представлялось одно важное затруднение: именно, известное всем его рождение в Назарете. Не известно, боролся ли Иисус против этого возрвжения. Быть может оно и не возниквло в Галилее, где идея, что сын Давида должен быть родом из Вифлеема, былв менее распространена. Сверх того, для идеалиста-галилеянина титул «Сын Давида» был доказан вполне, если носитель его возвышал славу его расы и сновв возвращал прекрасные дни Израиля.

Покровительствовал ли он своим молчанием фиктивным генеалогиям, которые выдумывали для нахождения его царского достоинства его партизаны?[5]. Знал ли он что-либо о легендах, изобретенных для того, чтобы заставить его родиться в Вифлееме, и особенно о хитрости, путем которой его вифлеемское происхождение связали с совершенной по приказанию императорского легата Квириния переписью? — неизвестно. Неточность и противоречивость генеалогии заставляют думвть, что они были плодом происходившего в различных местах народного творчества, и что ни одна из них не былв санкционирована Иисусом[6]. Он никогда не называет сам себя сыном Давида. Гораздо менее просвещенные, чем он, ученики, преувеличивали иногда то, что Иисус говорил относительно свмого себя; чвще всего он не знвл об этих преувеличениях. Добавим, что в продолжение 3-х первых веков значительные фракции христивнства[7] упорно отрицали царское происхождение Иисуса и достоверность его генеалогий.

Таким образом, легендв об Иисусе была плодом великого, вполне самопроизвольного заговора и вырабатывалась вокруг него еще при его жизни. Ни одного великого исторического события не произошло без того, чтобы не дать место циклу басен, а Иисус не мог, если бы даже и котел, остановить это народное творчество. Быть может,

---

[1] Этим выражением Ренан обозначает все те чвсти биографии Иисуса, которые носят элементы чудесного и сверхъестественного.
[2] Мвтф., XI, 12. *Перев.*
[3] Матф., XXI, 42; Марк, XII, 35; Лука, I, 32. *Перев.*
[4] Мвтф., II, 5-6. *Перев.*
[5] Матф., IX, 27; XII, 23; XV, 22; XX, 30-31. *Перев.*
[6] Юлий Африкванский полагает, что генеалогия соствлялась родственниквми Иисуса, скрывшимися в Батанею. *Перев.*
[7] «Эбиониты», «евреи», «назареи» и Татиан (также Марцион). *Перев.*

проницательный взор сумел бы найти уже с этих пор зародыш легенд, приписывавших Иисусу сверхъестественное рождение[1], в силу ли той, весьма распространенной в древности идеи, что необыкновенный человек не может произойти от ординарных сношений двух полов; или для того, чтобы оправдать одну, плохо понятую главу из Исайи[2], в которой читали, что Мессия родится от Девы; или, наконец, согласно идее, что воздвигнутое в божественной личности «дыхание божие» есть начало плодовитости. Наверно, относительно его детства ходило несколько рассказов, задуманных с целью показать в его биографии исполнение чтимых мест из пророков относительно мессии.

В других случаях, для Иисуса измышляли, начиная с колыбели, сношения с известными людьми: Иоанном Крестителем, Иродом Великим и халдейскими мудрецами, сделавшими, по рассказам, к тому времени путешествие в Иерусалим; с двумя старцами — Симеоном и Анною, оставившими по себе воспоминания высокой святости. Всеми этими комбинациями, построенными на реальных, но искаженных фактах, руководила довольно сомнительная хронология. Но все эти басни проникал особенный дух прелести и доброты — чувство глубоко народное — и делал их дополнением к проповеди. Подобные рассказы получили большое развитие особенно после смерти Иисуса; однако, можно думать, что они ходили уже при его жизни, не встречая ничего, кроме благочестивой веры и наивного удивления.

Что Иисус никогда не заботился о том, чтобы прослыть воплощением самого Бога, — относительно этого не может быть никакого сомнения. Такая идея была глубоко чужда иудейскому духу; а первых трех евангелиях нет никакого ее следа; она обозначается только в некоторых частях евангелия от Иоанна, но последние нельзя считать верным отражением мысли Иисуса. Иногда даже Иисус, по-видимому, принимает предосторожности, чтобы отдалить такое учение[3]. Обвинение, что Иисус делает себя богом или равным Богу, даже в евангелии от Иоанна представлено, как клевета иудеев[4]. В этом последнем евангелии Иисус объявляет себя меньшим, чем его Отец[5]. В других местах он признается, что Отец не открыл ему всего[6]. Он считает себя выше обыкновенного человека, но все-таки отделенным от Бога бесконечным расстоянием. Он — сын божий; но все люди — сыны божии или могут сделаться ими в различных степенях[7]. Все должны каждый день называть бога своим отцом; все воскресшие будут сынами божиими. В ветхом завете божественное происхождение приписывалось людям, которые отнюдь не намеревались равнять себя с Богом. Слово «Сын» на языке Нового Завета имеет самые широкие значения. Идея, по которой Иисус признает себя человеком, не есть та низкая идея, которую ввел холодный деизм. В его поэтическом понимании природы вселенную проникает единый дух: дух человека есть дух божий; Бог обитает в человеке, живет чрез человека, точно так же, как человек обитает в Боге и живет чрез Бога. Трансцедентальный идеализм Иисуса никогда не позволял ему составить вполне ясного понятия о своей личности. Он — это его Отец; его Отец — это он. Он живет в своих учениках; он везде с ними; его ученики суть одно, как он и его Отец — суть одно. Идея для него — все; плоть, создающая различия между людьми — ничто.

Таким образом, титул «Сын божий» или просто «Сын» сделался для Иисуса аналогичным «Сын человеческий», с тою единственною разницею, что он называл себя сам «Сыном человеческим», но не делал, по-видимому, того же употребления из (титула) «Сын божий». Титул «Сын человеческий» выражал его достоинство, как судьи; титул «Сын божий» его причастность к высшим планам и его могущество. Это могущество не имеет границ. Его Отец дал ему всю власть. Он имеет право нарушать даже субботу. Никто не знает Отца иначе, как чрез него: Отец передал ему право судить, ему повинуется природа; но она повинуется также всякому, кто верит и просит, вера может все.

Нужно вспомнить, что ни Иисусу, ни его слушателям не приходило на ум никакого представления о законах для обозначения границы невозможного. Свидетели его чудес благодарят Бога за то, «что он дал такую власть людям». Он отпускает грехи; он выше Давида, Авраама, Соломона и пророков. Нам неизвестно, под какой формой и в какой мере происходили эти утверждения. Иисуса нельзя судить по законам наших мелочных принципов. Удивление учеников заставляло его выходить из границ и увлекало его. Очевидно, что титул равви, которым он довольствовался сначала, не был уже более достаточен ему. Даже титул пророка или пустынника божия не отвечал более его мыслям. Ведь он приписывал себе положение сверхчеловеческого существа и желал, чтобы на него смотрели, как на существо, стоящее в более возвышенных отношениях с Богом, чем другие люди.

Но нужно заметить, что эти слова — «сверхчеловеческий» и «сверхъестественный», заимствованные у нашей жалкой теологии, в высоком религиозном сознании Иисуса не имели смысла. Для него природа и развитие человечества не были разграниченными царствами вне Бога и жалкими реальностями, подчиненными весьма тягостным по своей суровости законам. Для Иисуса не было сверхъестественного, потому что для него не было естественного. Опьяненный бесконечной любовью, он забывал тяжелую цепь, сковывающую плененный дух. Он одним прыжком переступал непроходимую для большинства пропасть, которую чертит между человеком и Богом посредственность человеческих дарований. Во всяком случае, в таком мире отнюдь не могла существовать догматическая суровость.

Вся совокупность только что изложенных нами идей образовала в уме учеников настолько мало устойчивую систему, что у них сын божий — это своего рода раздвоение божества — действует, совершенно, как человек. Он подвергается искушениям; он не знает многого; он переменяет мнение[8]; он бывает изнурен, обескуражен; он просит своего Отца избавить себя от испытаний; он покорен Отцу, как сын. Он, который должен судить мир, не знает дня суда. Он принимает предосторожность для своей безопасности. Немного спустя, после своего рождения, он принужден скрываться от желавших убить его могущественных лиц. Все это свойственно лишь посланнику божьему, человеку, которого любит и покровительствует Бог. Не следует требовать здесь логики или последовательности. Необходимость приобрести доверие и энтузиазм своих учеников, смешивала у Иисуса противоречивые понятия. Для людей, поглощенных пришествием Мессии, для остервенелых читателей книг Даниила и Еноха — он был сын человеческий; для правоверных вообще иудеев, для читателей Исаии и Михея — он был сын Давида; для своих сочленов он был сын божий или просто «Сын». Другие — причем ученики не порицали их за это — принимали его за воскресшего Иоанна Крестителя, за Илию, за Иеремию — сообразно народным верованиям, по которым древние пророки должны были воскреснуть, чтобы приготовлять времена Мессии.

В эту эпоху чудеса слыли неизбежным свидетельством божественного и знамением пророческого призвания. Ими были полны легенды об Илии и Елисее. Было признано, что Мессия совершит много чудес. Нужно вспомнить,

---

[1] Матф., I, 18 и след: Лука, I, 28 и след. *Перев.*
[2] Исаия, VII, 14. *Перев.*
[3] Матф., XIX, 17. *Перев.*
[4] Иоанн, V, 18 и сл.; X, 33 и сл. *Перев.*
[5] Иоанн, XIV, 28. *Перев.*
[6] Марк, XIII, 35. *Перев.*
[7] Матф., V, 9, 45; Лука, III, 38; VI, 35; XX, 36. *Перев.*
[8] Марк, VII, 27, 29. *Перев.*

что вся древность, за исключением великих научных школ Греции и их римских агентов, признавала чудо, и что Иисус не только верил в него, но даже не имел ни малейшего представления о закономерном естественном порядке. В данном случае его знания нисколько не превосходили знании его современников. Сверх того, одним из наиболее укоренившихся в нем мнений было, что человек с верою и молитвою имеет всякую власть над природой. Возможность творить чудеса считалась даром от Бога людям и нисколько не казалась удивительной.

Несомненно, что народная молва, до и после смерти Иисуса, преувеличит колоссальным образом число дел такого рода. Почти все чудеса, совершаемые Иисусом, были чудесами исцеления. В ту эпоху иудейская медицина представляла то же, чем она является и теперь на востоке, т. е. была совсем не научна и непременно основывалась на индивидуальном внушении. Созданная уже пять веков тому назад Грецией научная медицина была неизвестна палестинским иудеям в эпоху Иисуса. При таком состоянии знаний присутствие высокоодаренного человека, нежно обращающегося с больным и подающего ему некоторыми заметными признаками уверенность в его выздоровлении, часто служит решительным лекарством. Кто мог бы сказать, что во многих случаях, когда дело не идет о вполне характерных ранах, прикосновение выдающейся личности не стоит аптекарских снадобий? Удовольствие видеть эту личность — исцеляет. Она дает, что может: улыбку, надежду, и это не бывает иногда напрасным.

Иисус, как и его соотечественники, не имел представления о рациональной медицинской науке. Вместе со всеми он верил, что религиозные обряды должны были вести за собою исцеление. И такое верование было совершенно последовательно. Раз на болезнь смотрели как на наказание свыше грешнику или как на дело демона, а отнюдь не как результат физических причин, — самым лучшим врачом был святой человек, который должен был иметь власть в сверхъестественном мире. Исцеление рассматривалось как моральный акт, и Иисус, чувствовавший свою нравственную силу, должен был думать, что он предназначен специально для исцеления. Убежденный, что прикосновение его платья и наложение его рук делали больным добро, он был бы жесток, если бы отказал страдающим в том облегчении, дать которое было в его власти. Исцеление больных рассматривалось как одно из знамений царства божия и постоянно связывалось с эмансипацией бедных. То и другое были знамениями великой революции, долженствовавшей закончиться изглажением всех немощей мира.

Наиболее частым видом исцелений, которые совершал Иисус, был экзорсизм, или изгнание бесов. Не только в Иудее, но и во всем мире было всеобщим мнением, что бесы овладевают телом некоторых лиц и заставляют действовать последних вопреки их желанию. Тем же образом объяснялись эпилепсия, умственные и нервные болезни, где страдающий по-видимому не принадлежит себе; болезни, вызванные неизвестными причинами, как, напр., глухота, немота. В Иудее находилось тогда — без сомнения благодаря громадной экзальтации умов — много безумных. Эти сумасшедшие, которым позволяли блуждать (это бывает и теперь в тех же странах), жили в обычном убежище бродяг — в пустых гробовых пещерах. Иисус имел много влияния на этих несчастных. По поводу его попечения о последних рассказывали тысячи странных историй, в которых давало себе простор все современное легкомыслие. Но в данном случае не следует еще преувеличивать трудности исцеления. Объяснявшиеся бесовским одержанием помешательства часто были очень легки. В наши дни в Сирии рассматривают как сумасшедших или одержимых бесом тех, кто отличается лишь некоторою странностью. В таком случае для изгнания беса часто достаточно ласкового слова. Таковы, несомненно, и были употребляемые Иисусом средства.

Все эти смелые действия покрывали полная наивность и энтузиазм, отнимавший у Иисуса даже возможность сомнения. Менее чистые, чем он, люди стремились злоупотребить его именем для мятежных движений. Но чисто моральное, а не политическое направление характера Иисуса спасало его от этих явлений. Его собственное царство находилось в кругу детей, которых сгруппировывали и удерживали вокруг него такая же пылкость воображения и такое же предвкушение неба.

ГЛАВА XV

Окончательная форма идей Иисуса о царстве божием

Мы предполагаем, что эта последняя фаза деятельности Иисуса продолжалась около 18-ти месяцев, начиная от его возвращения с пасхального паломничества в 31-м году до его путешествия на праздник сенопочтения в 32 году. За этот промежуток времени мысль Иисуса, по-видимому, не обогащается никаким новым элементом; но все, что было у него, развернулось и вышло на свет с непрерывно возрастающей силой и смелостью.

Основной идеей Иисуса с первого дня было установление царства божия. Но это царство божие, как мы это уже сказали, Иисус понимал в очень различных смыслах. Временами его можно было бы принять за демократического вождя, желавшего только царства бедных и обездоленных. В других случаях, царство божие есть буквальное исполнение видений Даниила и Еноха. Часто, наконец, царство божие есть царство душ, и грядущее освобождение есть освобождение посредством духа. В последнем случае желаемая Иисусом революция была на самом деле: именно установление новой религии, более совершенной, чем религия Моисея. Все эти мысли существовали, по-видимому, в сознании Иисуса одновременно. Однако первая, — именно мысль о временной революции, — как кажется, не останавливала его долго на себе. Иисус всегда считал не стоящими значения предметами и землю, и земные богатства, и материальную власть. У него не было никакого наружного честолюбия. Иногда, благодаря естественной последовательности, его великое религиозное значение готово было перейти в социальное. К нему приходили люди просить, чтобы он сделал себя судьей и посредником в вопросах корысти. Иисус гордо отстранял эти предложения, считая их почти за оскорбление. Полный своего небесного идеала, он никогда не выходил из своей демонстративной бедности.

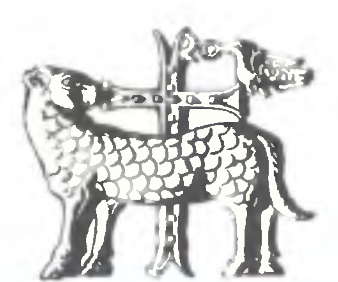
Что касается двух других концепций царства божия, то Иисус, по-видимому, всегда хранил их одновременно. Если бы его единственною мыслью была, что конец времен близок и что следует готовиться к нему, — он не превзошел бы Иоанна. Отказываться от мира, близкого к разрушению, отрешаться мало-помалу от настоящей жизни, жаждать грядущего царства, — таково бы было последнее слово его проповеди. Учение Иисуса всегда имело более широкое значение. Он вознамерился создать для человечества новый мир, а не только приготовить конец того, что есть. Илия или Иеремия, явившись снова для приготовления людей к высшим переворотам, совсем не стали бы проповедовать так, как Иисус. Это настолько верно, что эта пресловутая мораль последних дней стала вечною моралью, которая спасла человечество. Сам Иисус во многих случаях пользуется совсем не входящими в теорию материального царства божия способами выражения. Часто он объявляет, что царство божие уже наступило, что всякий человек носит его в себе и может, если достоин, наслаждаться им; что это царство каждый создает без шума, посредством истинного обращения сердца. Тогда царство божие есть лишь добро, лучший порядок вещей, чем настоящий, царство правды, основанию которого должен содействовать по мере сил верный; или же он — свобода души, нечто схожее с буддийским «освобождением», являющимся плодом отрешения. Эти для нас совершенно абстрактные

истины для Иисуса были живыми реальностями. В его мысли все конкретно и содержательно. Иисус есть человек, самым решительным образом веривший в реальность идеала.

И не говорите, что это — доброжелательное объяснение, выдуманное для того, чтобы очистить великого учителя от жестокого изобличения во лжи, наложенного на его грезы действительностью. Нет, нет. Благодаря присущим всем великим реформаторам иллюзиям, Иисус представлял себе цель гораздо ближе, чем она была на самом деле, он не принимал в расчет медленности движения человечества, он воображал осуществить в один день то, что не должно еще было исполниться спустя 18 столетий. Но истинное царство божие, царство духа, делающее каждого царем и жрецом, царство, ставшее, как горчичное зерно, деревом, которое осеняет мир и скрывает над своими ветвями гнезда птиц, — было угадано Иисусом. Он желал этого царства и основал его. Рядом с ложною идеей о будущем пришествии при трубных звуках, он задумал подлинный город божий, истинное возрождение, нагорную проповедь, апофеоз слабого, любовь к народу, любовь к бедному и возвышение всего, что смиренно, правдиво и простодушно. Эту реабилитацию он исполнил, как несравненный артист, путем дел, которые будут вечно живы. Каждый из нас обязан Иисусу тем, что есть лучшего в нем. Извиним ему надежды на пришествие с великим торжеством на небесных облаках. Быть может, это было скорее заблуждением других, чем его собственным, и если, действительно, он сам разделял всеобщую иллюзию, то что за беда — ведь его мечта сделала его твердым по отношению к смерти и поддержала в борьбе, которая без этого была бы, быть может, неравной. Таким образом, разделяя утопии своего времени и своей расы, Иисус сумел сделать из них высокие истины. Его царство божие, несомненно, было явлением, вскоре долженствовавшим открыться на небе. Но, кроме того, это было, и, пожалуй, преимущественно, царством духа, которое создали связывающие добродетельного человека с его отцом свобода и сыновнее чувство. Это была чистая религия без обрядов, без храма и священников; это был нравственный приговор определенного мира совести справедливого человека и власти народа. Вот что было создано, вот что осталось навсегда. Когда через век тщетного ожидания материалистическая надежда на близкий конец мира истощилась, то истинное царство божие стало освобождаться. Снисходительные объяснения набрасывают покров на реальное царство, которое упорно не хочет наступить. Некоторые отсталые бедняки, хранящие еще надежды первых учеников, становятся еретиками (эбиониты, тысячелетники), затерянными в глубинах христианства. Человечество перешло к другому царству божию. Часть содержавшейся в мысли Иисуса истины взяла верх над затемнявшей ее химерой.

Не будем, однако, презирать эту химеру, бывшую грубой корой священной луковицы, которой мы живем. Это фантастическое царство небесное, эта бесконечная погоня за городом божиим, которые всегда сильно занимали христианство на его долгом пути, были началом великого предчувствия будущего, воодушевлявшего всех реформаторов, упрямых учеников Апокалипсиса, с Иоакима Флора до протестантского сектанта наших дней. Это беспомощное усилие основать совершенное общество, было источником чрезвычайного напряжения, всегда делавшего истинного христианина атлетом в борьбе с настоящим. Когда в первый раз объявили человечеству, что его планета должна погибнуть, оно, как дитя, встречающее смерть с улыбкою, испытало наиболее сильный приступ радости, когда-либо ощущавшийся им. Старея́сь, мир, привязался, наконец, к жизни. Милостивый день, так долго ожидаемый чистыми галилеянами, сделался для железного средневековья днем гнева: Dies irae, dies illa! Но в самом лоне варварства идея царства божия осталась плодотворной. Против воли феодальной церкви секты, религиозные ордена, святые люди продолжали протестовать во имя евангелия против мирского беззакония. Даже в наше время, в взволнованные дни, когда Иисус не имеет более настоящих продолжателей, кроме тех, кто, по-видимому, отказывается от него, грезы об идеальном устройстве общества, так похожие на стремления первых христианских сект, в известном смысле являются лишь разветвлением той же идеи, одной из ветвей того огромного дерева, на котором пускает росток всякая мысль о будущем и которого стволом и корнем вечно будет «царство божие». Все социальные революции человечества будут связаны с этой последней идеей. Но социалистические стремления нашего времени, зараженные грубым материализмом, стремящимся к невозможному, т. е. к основанию всемирного счастья на политических и экономических реформах, останутся бесплодными до тех пор, пока не возьмут за правило истинный дух Иисуса — я хочу сказать: его абсолютный идеализм, тот принцип, что для того, чтобы владеть землею, нужно от нее отказаться. С другой стороны, слово «царство Божие» с редким счастьем выражает испытываемую нами потребность в пополнении участи, в вознаграждении за настоящую жизнь. Кто знает, не приведет ли последняя граница прогресса чрез миллионы веков к абсолютному сознанию вселенной, и в этом сознании — к пробуждению всего жившего ранее? Сон в миллион лет не длиннее, чем сон в один час. При такой гипотезе Иисус имел право возвестить конечное удовлетворение на другой день. Несомненно, что нравственное и добродетельное человечество будет вознаграждено, когда со временем чувство честного бедняка будет судить мир. И в этот день идеальный образ Иисуса будет укором для легкомысленного человека, не верившего в добродетель, и для эгоиста, который не умел достичь ее. Любимое слово Иисуса остается, следовательно, полным вечной красоты. Какое-то грандиозное прозрение удержало, по-видимому, его в возвышенной неопределенности, зараз обнимающей различные порядки истин.

Продолжение следует.



ЖИТИЯ СВЯТЫХ

МИХАИЛ ВОСТРЫШЕВ

ВЕЛИКИЙ ЗАЩИТНИК ВЕРЫ

Ровно четыре столетия назад на Руси было установлено патриаршество, что стало доказательством духовного авторитета Русской Церкви и силы Московского государства. Царь Федор Иоаннович на торжественной церемонии выбрал из трех кандидатов достойнейшего — митрополита Московского Иова и вручил ему символ патриаршей власти — посох святого митрополита Петра.

Деяния первых патриархов совпали со Смутным временем, с попыткой поляков уничтожить русскую государственность. Святитель Иов, не признавший Лжедмитрия, стал первым в череде патриархов-мучеников. Сторонниками самозванца он был схвачен в церкви во время молитвы, жестоко избит и заключен в Старицкий монастырь, где через два года умер. Продолжавший борьбу с иноземцами Патриарх Гермоген был заточен ими в темницу, где и скончался от голода и жажды.

Не однажды Русская Церковь во главе со своими Святителями, жертвуя телом, но не духом, спасала Родину от порабощения. Но только земля успокаивалась, как Церковь, чураясь политики, становилась мирным богомольцем, привносящим в народ нравственные законы, миропонимание, грамоту, красоту, память о прошлом, об обычаях и устоях. Даже уничтожение Петром I в 1700 году патриаршества не лишило Церковь ее традиционного предназначения. Двести с лишним лет длился «синодальный период», и все это время в народе не умирала мысль о возвращении Патриарха — «великого народного угодника», «святейшего отца нашего», «Божьего избранника», «печальника, заступника и водителя Русской Церкви».

Наконец открывшийся в Москве 15 августа 1917 года Поместный Собор Русской Православной Церкви после долгих дебатов наметил трех кандидатов на патриарший престол. 5 ноября 1917 года в переполненном Храме Христа Спасителя, вмещавшем двенадцать тысяч человек, старец-затворник Зосимовой пустыни Алексий поднялся на амвон, трижды осенил себя крестом и вынул из ковчежца («по указанию Божию») жребий избранника — митрополита Московского и Коломенского Тихона.

ПАТРИАРХ ТИХОН



Родился Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) 19(31) января 1865 года в городе Торопце Псковской губернии (ныне Калининская область) в семье священника. После учебы в Торопецком духовном училище и Псковской духовной семинарии окончил Петербургскую духовную академию. Высокого роста, белокурый, всегда спокойный и добродушный, во время учебы он получил от сокурсников шутливые прозвища — Архиерей и Патриарх.

После преподавательской работы в Псковской семинарии, ректорства в Холмской семинарии, а затем Казанской духовной академии, викарства в Варшавской епархии Тихон около десяти лет посвятил руководству Православной Церковью в Америке, где строил новые храмы, организовывал школы и приюты для детей, содействовал сближению христиан разных вероисповеданий. За духовно-административные таланты в 1907 году молодой архиепископ назначен к управлению древнейшей Ярославской епархией, в 1914-м — Виленской и в 1917-м — Московской. Отсюда он и был призван Поместным Собором «на патриаршество богоспасаемого града Москвы и всея России».

— Понеже Священный и Великий Собор судил мене, недостойного, быти в такове служении, — ответил Тихон, повернувшись лицом к народу, — благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю.

Начался последний, мученический земной путь, крестный подвиг Патриарха Тихона. Нужно ли говорить, что он голодал, как другие москвичи, испытывал постоянные обыски и допросы?.. Важно иное: он остался самим собой — живым собеседником с доброй и кроткой улыбкой, духовным наставником, утешающим свою паству. Его знали в лицо все москвичи, он охотно слу-

жил в приходских церквах, запросто заходил в дома прихожан, посещал больных телом и духом.

Но было у Патриарха и второе лицо — твердое, светившееся глубоким пониманием жертвенного служения, той нечеловеческой ответственности, которую на него возложили вместе с белым клобуком Патриарха Никона. Помнил он об этом и когда сочинял непримиримые со злом послания, произносил яркие проповеди, и когда равно соглашался отпевать и «белых», и «красных», помнил, когда его пытались втянуть в политическую жизнь страны, требовали объявить себя врагом части своего народа. Вот характерный пример из воспоминаний русского эмигранта Григория Трубецкого:

«Летом 1918 года, покидая Москву, в которую мне уже не суждено было вернуться, я пошел к Патриарху проститься. Он жил тогда еще на Троицком Подворье. Меня провели в старый запущенный сад. Патриарх в простом подряснике и скромной скуфейке имел вид простого монаха. Это были короткие минуты его отдыха, и он видимо наслаждался солнечным днем и играл с котом Цыганом, который сопровождал его в прогулке. Мне совестно и жаль было нарушать его покой.

Я ехал на юг, в Добровольческую Армию, рассчитывая увидеть всех, с кем связывалась надежда на освобождение России. Я просил разрешения Св. Патриарха передать от его имени, разумеется в полной тайне, благословение одному из таких лиц, но Патриарх в самой деликатной и в то же время твердой форме сказал мне, что не считает возможным это сделать, ибо, оставаясь в России, он хочет не только наружно, но и по существу избегнуть упрека в каком-либо вмешательстве церкви в политику».

Но признавать Советскую власть Патриарх Тихон не спешил. За это в бесчисленных поношениях, не прекращавшихся до недавнего времени, старец лживо обвинялся в подстрекательстве к «черносотенным погромам», в призывах к «контрреволюционным выступлениям» и даже...

«Первосвященник Тихон, — как считал И. И. Скворцов-Степанов, — вместе со всеми крупными собственниками уже предается сладостной надежде, как германские палачи призовут крестьян и рабочих к покаянию и как виселицами и расстрелами они приведут нашу страну к возрождению».

Памятуя, что за словами следуют дела, а также прознав, что отдельные члены правительства требуют уничтожения Тихона, приходская община Москвы организовала ночную охрану Патриарха (охраняли его безоружные горожане-добровольцы). А депутация членов Собора, опасаясь за жизнь Избранника, явилась к нему с советом скрыться за границу. «Бегство Патриарха, — ответил Владыка, улыбаясь, — было бы на руку врагам Церкви. Пусть делают со мною все, что угодно».

Тем, кто обвинял Патриарха в злодействах против Советской власти и требовал его немедленной казни, надо было, вместо того чтобы страшиться популярности Тихона в народе, постараться понять аполитичность его деятельности, проникнуться духом его посланий и молитв, в которых он призывал народ к прекращению братоубийственной войны, в которых осуждал террор, клевету, глумление над религией. Ведь что греха таить, Декрет об отделении церкви от государства понимали зачастую как сигнал к повсеместному уничтожению церкви и ее служителей. И разве мог смолчать Патриарх, когда на его глазах святые обители превращали в застенки, взрывали храмы, запретили в Москве — церковном центре России — колокольный звон, закрыли религиозные журналы, повсюду удаляли эмблему христианства — крест, запрещали праздновать христианские праздники, оскверняли и уничтожали святые мощи, реквизировали церковные ценности, срывая с икон серебряные ризы, со священных книг — драгоценные переплеты, грабя алтари. В насмешку над верующими в Тамбове даже воздвигли памятник предателю — Иуде Искариоту...

О Михаиле Вострышеве читайте в № 1, 1990 г.
В 1991 году в издательстве «Современник» выйдет книга «Святитель Тихон».

Немало грехов тяготеет над Русской Церковью и ее клиром — это понимал и сам Патриарх, и это тоже была одна из его забот. Но как бы тяжки ни были грехи — можно ли осквернять религиозные чувства народа?.. Осквернять десятилетиями, без всякой нужды и даже в наше перестроечное время не покаяться в содеянном?

Патриарх прилагал все силы, чтобы оставаться кротким, миролюбивым. И все чаще он молил Бога ниспослать ему терпение, ибо все чаще поступали горчайшие из горьких вестей... Киевский митрополит Владимир, еще недавно вручавший ему посох Святого митрополита Петра, изуродован, раздет и расстрелян. Петербургский митрополит Вениамин, избранный Тихоном на случай своего ареста или смерти заместителем Патриарха, расстрелян. Тобольский епископ Гермоген, в свое время сосланный царем в ссылку, теперь за попытку вызволить из ссылки того же царя живым привязан к колесу парохода (это, наверное, по замыслу устроителей должно было походить на Христово распятие) и измочален лопастями. Пермский архиепископ Андроник, прославившийся миссионерской деятельностью в Японии, закопан в землю живым. Архиепископ Черниговский Василий, поехавший в Пермь для расследования этого убийства, при выезде из Перми схвачен и расстрелян... Превращен в ледяной столб, сброшен в прорубь, распят на кресте... — читал Патриарх донесения о веровавших в него и, может быть, ждавших от него защиты служителях церкви.

Но и это было не последнее испытание. Часть духовенства объединилась в организацию «Живая церковь», решив оболгать Патриарха и с помощью подлога самим возглавить церковь. Знаменитый философ и религиозный деятель Сергий Булгаков писал в защиту Тихона от «живоцерковников» из далекого Парижа:

«Страшнее смерти предательство, покинутость и измена: предательство ученика, бегство апостолов, отречение первого из них. И прежде палачей тела пришли к нему духовные палачи... подосланные и послушные своим повелителям, пришли совершить духовную казнь, лишить его священного сана, который безмерно дороже жизни. В гневе возре Господь на них и посмеялся им, и в гневе смотрит на это злодейство свободная Русская Церковь, но там, в Гефсиманском саду, нет никого, кто мог бы отереть его пот и засвидетельствовать о лжи сей: покинут и одинок, как был покинут и одинок русский царь, повелитель миллионов. Но не отдал и не отдаст он своей власти, врученной ему Царицей Небесной, земным лиходеям, свидетельствуя тем о правоте своей: противно законам и божеским, и человеческим, писаным и неписаным, деяние разбойничьего сборища».

Разбойничье сборище, или «прогрессивное духовенство», как именовало оно себя, заручившись поддержкой ГПУ, сначала все же с оглядкой выступало против Патриарха, опасаясь его популярности в народе. Наконец в мае 1922 года, после процесса «Пятидесяти четырех», когда «для подавления реакционного духовенства» одиннадцать человек были казнены (среди них — жена сына известного генерала Брусилова), а Патриарх арестован, «живоцерковники» через газету «Известия» потребовали «суда над виновниками церковной разрухи» (над Тихоном и еще оставшимися в живых его помощниками), посетили председателя ВЦИК и объявили ему о низложении ими Патриарха.

И здесь во всей очевидности проявились грехи Русской Церкви: за год, пока Тихон был в заточении, «прогрессивное духовенство» перетянуло на свою сторону более половины приходов России. И даже успело начать склоку внутри своей организации из-за дележа власти. Но слишком велико еще оставалось обаяние Патриарха, не утратилось чувство соборности, и когда Владыка Тихон, подписав заявление в Верховный суд РСФСР о признании Советской власти, обрел свободу, в его келью в Донском монастыре потекли реки иерархов и священников, изменивших своему пастырю в тяжелую годину. Он не оттолкнул кающихся и вновь принял их в лоно Православной Церкви.

Заточение не изменило Патриарха, он не мог смириться

с тем, что, вопреки словам Декрета об отделении церкви от государства, она стала не свободной, а гонимой. Тихон пишет заявление во ВЦИК, и кстати сказать, ни слова не говорит о себе — что чекист Тучков беспрестанно изнуряет его допросами, что как «буржуй» он лишен хлебного пайка, что у него, старика, «реквизировали» лошадей, на которых он ездил на службы в московские храмы. Только о главном:

«Церковь в настоящее время переживает беспримерное внешнее потрясение. Она лишена материальных средств существования, окружена атмосферой подозрительности и вражды, десятки епископов и сотни священников и мирян без суда, часто даже без объяснения причин, брошены в тюрьмы, сосланы в отдаленнейшие области республики, влачимы с места на место; православные епископы, назначенные нами, или не допускаются в свои епархии, или изгоняются из них при первом появлении туда, или подвергаются арестам; Центральное Управление Православной Церкви дезорганизовано, так как учреждения, состоящие при Патриархе Всероссийском, не зарегистрированы и даже канцелярия и архив его опечатаны и недоступны; церкви закрываются, обращаются в клубы и кинематографы или отбираются у многочисленных православных приходов для незначительных численно обновленческих групп; духовенство обложено непосильными налогами, терпит всевозможные стеснения в жилищах, и дети его изгоняются со службы и из учебных заведений потому только, что их отцы служат Церкви...»

Минуло два месяца. Наконец постучались, прошли в кабинет келейника Владыки и несколькими выстрелами в упор убили самого близкого Патриарху Тихону человека. Похоронили Якова Анисимовича Полозова у внешней стены зимней церкви Донского монастыря (ныне могила восстановлена), а через несколько месяцев рядом с той же стеной, только внутри храма, лег сам Патриарх, ночью внезапно скончавшийся в лечебнице Бакуниных на Остоженке.

И откуда в Москве осталось столько верующих в мрачную весну 1925 года? Старухи в черном, старики с седыми бородами, монахи, священники, рабочие с московских фабрик, крестьяне из подмосковных деревень — около ста тысяч человек собрались на похороны Тихона.

«Великому Господину, Патриарху Москвы и всея России — вечная память!» — провозглашают, сменяя друг друга, священники. Двойной цепью стоят вокруг гроба архиереи и митрополиты. Многим из них скоро идти вслед за Патриархом, вслед за тридцатью уже убитыми и восемьюдесятью уже заключенными в тюрьмы и ссылки епископами. Объединенные хоры Чеснокова и Астафьева тянут: «Со Святыми упокой».

Прошли десятилетия, и в 1989 году священномученик Тихон причислен Русской Православной Церковью к лику Святых. И ныне, читая послания и проповеди Святителя Тихона, чувствуешь, что слово Патриарха нужно было не только его современникам, оно нужно и нам.

Две проповеди Патриарха Тихона, которые публикуются в этом номере, дадут вам представление о страстном слове его. История их такова.

Ныне начали писать и говорить об убийстве Николая II и его семьи. Часть публикаций состоит исключительно из набора фактов, кажется, что их авторов интересует лишь механизм казни и имена убийц, и когда эти сведения будут достаточно полны и достоверны, они «закроют тему».

Есть и другие авторы. «В последнее время, — сетует доктор исторических наук Генрих Иоффе, — мы стали свидетелями «романовского бума», по ироническому замечанию одного из английских авторов, «громкого стука царских скелетов в русском шкафу». Журнал «Родина», «Московские новости», следом «Огонек», телепрограммы «Взгляд», «Пятое колесо», многие периферийные газеты во всех деталях рассказали нам о казни Романовых с комментариями, в которых иногда довольно явно проскальзывает монархическая, а то и черносотенно-монархическая ностальгия» («Родина», 1989, № 12).

Как видим, даже доктора исторических наук, более двадцати лет исследующего тему «Крушение царизма», начинает раздражать повышенный интерес к трагедии, случившейся в подвале Ипатьевского дома Екатеринбурга (ныне Свердловск), даже ему хочется «закрыть тему».

Думаю, что все же не желание восстановить монархию или учинить черносотенный погром движет людьми, жадно читающими журнальные и газетные статьи о трагической судьбе императорской фамилии. Царь всегда на виду, на слуху у народа, наши бабушки и прабабушки каждодневно в молитвах повторяли его имя, наши дедушки и прадедушки присягали ему, уходя на войну 1905 и 1914 годов. Поэтому Николай II для нас отнюдь не «громкий стук царских скелетов в русском шкафу», а близкая, родная история.

Да, люди хотят знать, как ночью, подло, скоропешно, без суда и следствия были варварски умерщвлены Николай II с супругою, пятью детьми и царской свитою, а потом трупы их осквернили. Но на этом этапе, хочется верить, большинство наших соотечественников лишь «откроют тему», и попытаются ответить, каждый за себя, на вопрос, которым у Достоевского Иван Карамазов испытывал брата Алешу:

«...Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.

— А можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?

— Нет, не могу допустить».

Нет беды, что каждый начинает думать. Его не надо торопить, но и не надо ему мешать. Лучше помочь. Как помог Патриарх Тихон своей пастве, узнав из газет летом 1918 года о расстреле Николая II (про остальных убитых газеты трусливо налгали: живы-здоровы, отправлены в безопасное место). Тотчас Патриарх в переполненном народом Казанском соборе (ныне уничтожен) совершил панихиду по Николаю II и произнес проповедь, ставшую исторической.

В 1921 году Поволжье пострадало от сильной засухи. Начался невиданный голод, а следом за голодом явились его вечные спутники: тиф с малярией, беженцы...

С Поволжья голод перекинулся на Сибирь, Крым, Украину, Азербайджан, Киргизию... По официальным данным в начале 1922 года голодающих насчитывалось свыше 23 миллионов. И миллионы уже погибли.

Молодая Советская власть в это время была озабочена войною в Карелии, укреплением Красной Армии, пропагандой мирового коммунизма, покупкой дворцов для своих полпредов в странах Европы, борьбой с контрреволюцией и религией (см. ЦГАОР, фонд 1064) и предложила возглавить борьбу с голодом общественным организациям. Был создан беспартийный Всероссийский комитет помощи голодающим, куда вошли врачи, адвокаты, писатели, учителя. Комитет развернул воистине грандиозную работу. На выручку голодающим пришли крестьяне и сельские кооперативы благополучных губерний, профсоюзы рабочих, солдаты Красной Армии и милиционеры, иностранные державы, русские эмигрантские организации (впоследствии Комитет был признан ВЦИКом излишним и арестован).

Но прежде, чем получить помощь, надо было добиться, чтобы весть о вымирании российского народа дошла до каждого благополучного жителя мира. Одним из первых просителей за свой народ стал Патриарх Тихон. В августе 1921 года он основал Всероссийский церковный комитет помощи голодающим (вскоре признан ВЦИКом излишним и упразднен) и обратился с воззванием «К народам мира и к православному человеку».

ПАТРИАРХ ТИХОН

ПРОПОВЕДЬ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ. 1918 г.

Счастье, блаженство наше заключается в соблюдении нами Слова Божия, в воспитании в наших детях заветов Господних. Эту истину твердо помнили наши предки. Правда, и они, как все люди, отступали от учения Его, но умели искренно сознавать, что это грех, и умели в этом каяться. А вот мы, к скорби и стыду нашему, дожили до такого времени, когда явное нарушение заповедей Божиих уже не только не признается грехом, но оправдывается, как нечто законное. Так, на днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший государь Николай Александрович, по постановлению Уральского Областного Совета рабочих и солдатских депутатов, и высшее наше правительство — Исполнительный Комитет — одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего государя: беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит перед нелицеприятным судом Божиим, но мы знаем, что он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы, после отречения, найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринял для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе... И вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России, небольшой кучкой людей, не за какую-либо вину, а за то только, что его будто бы кто-то хотел похитить. Приказ этот приводят в исполнение, и это деяние — уже после расстрела — одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом, как христиане, как сыны Церкви. Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спасителя нашего: Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие е!

К НАРОДАМ МИРА И К ПРАВОСЛАВНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Величайшее бедствие поразило Россию.

Пажити и нивы целых областей ее, бывших ранее житницей страны и уделявших избытки другим народам, сожжены солнцем. Жилища обезлюдели, и селения превратились в кладбища непогребенных мертвецов. Кто еще в силах, бежит из этого царства ужаса и смерти без оглядки, повсюду покидая родные очаги и земли. Ужасы неисчислимы. Уже и сейчас страдания голодающих и больных не поддаются описанию, и многие миллионы людей обречены на смерть от голода и мора. Уже и сейчас нет счета жертвам, унесенным бедствием. Но в ближайшие грядущие годы оно станет для всей страны еще более тяжким: оставленная без помощи, недавно еще цветущая и хлебородная земля превратится в бесплодную пустыню, ибо не родит земля непосеянная, и без хлеба не живет человек.

К тебе, Православная Русь, первое слово Мое.

Во имя и ради Христа зовет тебя устами Моими Святая Церковь на подвиг братской самоотверженной любви. Спеши на помощь бедствующим с руками, исполненными даров милосердия, с сердцем, полным любви и желания спасти гибнущего брата. Пастыри стада Христова! Молитвою у престола Божия, у родных Святынь, исторгайте прощение Неба согрешившей земле. Зовите народ к покаянию: да омоется покаянными обетами и Святыми Тайнами, да обновится верующая Русь, исходя на святой подвиг и его совершая, — да возвысится он в подвиг молитвенный, жертвенный подвиг. Да звучат вдохновенно и неумолчно окрыленные верою в благодатную помощь свыше призывы ваши к Святому делу спасения погибающих. Паства родная Моя! В годину великого посещения Божия благословляю тебя: воплоти и воскреси в нынешнем подвиге твоем святые, незабвенные деяния благочестивых предков твоих, в годины тягчайших бед собиравших своею беззаветною верой и самоотверженной любовью во имя Христово духовную русскую мощь и ею оживотворявших умиравшую русскую землю и жизнь. Неси и ныне спасение ей — и отойдет смерть от жертвы своей.

К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой:

Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода. Не до слуха вашего только, но до глубины сердца вашего пусть донесет голос Мой болезненный стон обреченных на голодную смерть миллионов людей и возложит его и на вашу совесть, на совесть всего человечества. На помощь немедля! На широкую, щедрую, нераздельную помощь!

К Тебе, Господи, воссылает истерзанная земля наша вопль свой: пощади и прости, к Тебе, Всеблагий, простирает согрешивший народ Твой руки свои и мольбу: прости и помилуй.

Во имя Христово исходим на делание свое: Господи, благослови.

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

Александр Пушкин



Трагический раскол русской культуры, случившийся три четверти века назад, имел неисчислимые последствия. Ныне принято чаще говорить о негативных — они и в самом деле глобальны и еще долго будут болезненно отдаваться в недрах нашей духовной жизни. Но нельзя закрывать глаза и на иные итоги. Эмиграция первой волны, вобравшая в себя основные творческие силы России, в невиданном ранее объеме явила миру отечественную культуру. Никогда еще ее духовная экспансия не была столь осязаемой, мощной и единовременной. Верится, что пройдет время, и в нашей стране будут созданы обширные и глубокие исследования на эту тему. Эти исследования непременно коснутся и русской зарубежной Пушкинианы.

Одной из важнейших заслуг Русского Зарубежья стало превращение Пушкина в личность всемирную. Сегодня не принято задумываться над этим — всемирность Пушкина считается делом естественным испокон века. Люди забыли, что и в России-то поэт не всегда был символом национального самостояния и величия духа. Понадобилось длительное и мучительное развитие общественного сознания, восторги и разочарования во многих наипрогрессивнейших теориях, прежде чем прозвучала великая речь Достоевского. Тот провозгласил всемирность Пушкина, но — провозгласил ее нам и для нас. Для остального мира Пушкин тогда остался-таки русским национальным поэтом. Поэтом, которого много и усердно переводили, читали и изучали, но — не более*. Требовалось еще одно могучее усилие. Его и совершила русская эмиграция в приснопамятном 1937 году. Тогда пушкинские торжества прошли по всему миру. Как было потом подсчитано, поэта чествовали «во всех пяти частях света: в Европе в 24 государствах и в 170 городах, в Австралии в 4 городах, в Азии в 8 государствах и 14 городах, в Америке в 6 государствах и 28 городах, в Африке в 3 государствах и в 5 городах, а всего в 42 государствах и в 231 городе». Число пушкинских комитетов достигло 166. Львиную долю этой многотрудной и благородной работы выполнили наши соотечественники. Выполнили, зачастую преодолевая ожесточенное сопротивление местных властей, не желавших осложнений в отношениях с недовольной Москвой — так произошло, например, во Франции. Значение труда тех подвижников трудно переоценить.

В память о замечательной эпопее ниже публикуется ряд трудов, созданных видными деятелями Русского Зарубежья и увидевших свет в юбилейном году. Эти труды напечатаны в различных регионах русского рассеянья, где жили авторы: философ и правовед, бывший профессор Московского университета Иван Александрович Ильин (1883—1954); его коллега по Московскому университету, один из столпов отечественного религиозно-философского ренессанса Семен Людвигович Франк (1877—1950); поэт, критик и переводчик Георгий Викторович Адамович (1894—1972). Их пушкиноведческие работы воспроизводятся в том виде, в каком они были опубликованы на страницах русских зарубежных изданий.

И последнее предуведомление. Отечественное пушкиноведение — наука с богатейшими традициями и преданными служителями — ныне находится в глубоком кризисе. О ее плачевном состоянии уже не раз с тревогой говорили многие честные пушкинисты. Уже изучаются истоки болезни. Попутно надо думать и о путях ее преодоления. Один из важнейших — это широкое и целенаправленное возвращение некогда отринутой Пушкинианы Русского Зарубежья в лоно отечественного пушкиноведения. Тем самым будет сделан и значительный шаг к слиянию воедино двух частей нашей культуры. Но торя эту дорогу, нельзя идти на поводу у моды и конъюнктуры — увы, примеры этому уже есть. Важнейшим условием обеспечения подлинного возвращения должен стать научный учет русской зарубежной пушкинианы, а в перспективе — создание ее библиографии. Публикуемый в данном номере журнала список важнейших эмигрантских пушкиноведческих трудов 1937 года — едва ли не первый в нашей стране опыт подобной деятельности.

МИХАИЛ ФИЛИН

* Интересно, что в 1926 году П. Б. Струве, анализируя эту ситуацию, опубликовал в парижской газете «Возрождение» статью под показательным заглавием: «Почему иностранцы не знают и не ценят Пушкина?» Многие идеи статьи актуальны и поныне — в силу ряда причин Пушкин как поэт, видимо, навсегда останется чисто русским явлением, которое не может быть адекватно воспринято иностранцами. Пафос 1937 года в другом — Пушкин стал в один ряд с Шекспиром и Данте как личность и как мыслитель.

И. А. ИЛЬИН

ПРОРОЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

Движимые глубокою потребностью духа, чувствами благодарности, верности и славы, собираются ныне русские люди — люди русского сердца и русского языка, где бы они ни обретались, — в эти дни вековой смертной годовщины их великого поэта, у его духовного алтаря, чтобы высказать самим себе и перед всем человечеством, *его* словами и в *его* образах *свой национальный символ* веры. И, прежде всего, — чтобы возблагодарить Господа, даровавшего им этого поэта и мудреца, за милость, за радость, за непреходящее светлое откровение о русском духовном естестве и за великое обетование русского будущего.

Не для того сходимся мы, чтобы «вспомнить» или «помянуть» Пушкина, так, как если бы бывали времена забвения и утраты... Но для того, чтобы засвидетельствовать и себе, и ему, чей светлый дух незримо присутствует здесь своим сиянием, — что все, что он создал прекрасного, вошло в самую сущность русской души и живет в каждом из нас; что мы неотрывны от него так, как он неотрывен от России; что мы проверяем себя *его* видением и *его* суждениями; что мы по нему учимся видеть Россию, постигать ее сущность и ее судьбы; что мы бываем счастливы, когда можем подумать его мыслями и выразить свои чувства его словами; что его творения стали лучшей школой русского художества и русского духа; что вещие слова, прозвучавшие 50 лет тому назад «Пушкин — наше *все*», верны и ныне и не угаснут в круговращении времен и событий...

Сто лет прошло с тех пор, как
свинец смертельный
Поэту сердце растерзал...

(Тютчев);

сто лет Россия жила, боролась, творила и страдала *без* него, но *после* него, *им* постигнутая, им воспетая, им озаренная и окрыленная. И чем дальше мы отходим от него, тем величавее, тем таинственнее, тем чудеснее рисуется перед нами его образ, его творческое обличие, подобно великой горе, не умаляющейся, но возносящейся к небу по мере удаления от нее. И хочется сказать ему его же словами о Казбеке:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами...

В этом обнаруживается таинственная власть духа: все дальше мы отходим от него во времени, и все ближе, все существеннее, все понятнее, все чище мы видим его дух. Отпадают все временные, условные, чисто человеческие мерила: все меньше смущает нас то, что мешало некоторым современникам его видеть его *пророческое* призвание, постигать *священную* силу его вдохновения, верить, что это вдохновение исходило от *Бога*. И все те священные слова, которые произносил сам Пушкин, говоря о поэзии вообще и о своей поэзии в частности, мы уже не переживаем, как выражения условные, «аллегорические», как поэтические олицетворения или преувеличения. Пусть иные из этих слов звучат языческим происхождением: «Аполлон», «муза» или — поэтическим иносказанием: «алтарь», «жрецы», «жертва»... Мы уже знаем и верим, что на этом алтаре действительно горел «священный огонь»; что этот «небом избранный певец» действительно был рожден для вдохновенья, для звуков сладких и молитв; что к этому пророку действительно «воззвал Божий глас»; и что до его «чуткого слуха» действительно «касался божественный глагол», — не в смысле поэтических преувеличений или языческих аллегорий, а в порядке *истинного откровения*, нашего, *нашею верою веруемого и зримого Господа...*

Прошло сто лет с тех пор, как человеческие страсти в человеческих муках увели его из жизни, — и мы научились верно и твердо воспринимать его вдохновенность, как *боговдохновенность*. Мы с трепетным сердцем слышим, как Тютчев говорит ему в день смерти:

Ты был богов орган живой...

и понимаем это так: «ты был живым органом Господа, Творца всяческих»... Мы вместе с Гоголем утверждаем, что он «видел всякий высокий предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма — Богом»; что он «заботился только о том, чтобы сказать людям: «смотрите, как прекрасно Божие творение»..; что он владел, как, может быть, никто, — «теми густыми и крепкими струнами славянской природы, от которых происходит тайный ужас и содрогание по всему составу человека», ибо лиризм этих струн возносится именно к Богу; что он, как, может быть, никто, обладал способностью исторгать «изо всего» ту огненную «искру, которая присутствует во всяком творении Бога»...

Мы вместе с Языковым признаем поэзию Пушкина истинным «священно-действием». Мы вместе с князем Вяземским готовы сказать ему:

...«Жрец духовный,
Дум и творчества залог —
Пламень чистый и верховный —
Ты в душе своей сберег.
Все ясней, все безмятежней
Разливался свет в тебе»...

Вместе с Баратынским мы именуем его «наставником» и «пророком». И вместе с Достоевским мы считаем его «великим и не понятым еще предвозвестителем».

И мы не только не придаем значения пересудам некоторых современников его о нем, о его страстных проявлениях, о его кипении и порывах, но еще с любовью собираем и бережно храним пылинки того праха, который вился солнечным столбом за вихрем Пушкинского гения. Нам все здесь мило, и дорого, и символически поучительно. Ибо мы хорошо знаем, что *всякое* движение на земле поднимает «пыль»: что ничто великое на земле невозможно вне *страсти;* что свят и совершен только один Господь; и что одна из величайших радостей в жизни состоит в том, чтобы найти отпечаток гения в земном прахе и чтобы увидеть, узнать в пламени человеческой страсти — очищающий ее огонь божественного вдохновения.

Мы говорим не о церковной «святости» нашего великого поэта, а о его *пророческой силе и о божественной окрыленности его творчества.*

И пусть педанты целомудрия и воздержности, которых всегда оказывается достаточно, помнят слова Спасителя о той *«безгрешности»*, которая необходима для осуждающего камнеметания. И пусть знают они, что сам поэт, столь строго, столь нещадно судивший самого себя:

И меж детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней он...

— столь глубоко познавший *Змеи сердечной угрызенья...*

— столь подлинно описавший таинство одинокого покаяния перед лицом Божиим:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю... —

— предвидел и «суд глупца, и смех толпы холодной», и осужденья лицемеров и ханжей, когда писал в 1825 году по поводу утраты записок Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, записки и т. д., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок не так, как вы, иначе»...

Да, иначе! Иначе потому, что великий человек знает те часы парения и полета, когда душа его трепещет, как «пробудившийся орел»; когда он бежит — и

...дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

Он знает хорошо те священные часы, когда «шестикрылый серафим» отверзает ему зрение и слух, так, чтобы он внял — и

Неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье;

когда обновляется его язык к мудрости, а сердце к огненному пыланию, и дается ему, «исполненному волею Божиею»

Глаголом жечь сердца людей.

Отсюда его пророческая сила, *отсюда* божественная окрыленность его творчества... Ибо страсти его знают не только лично-грешное кипение, но *пламя божественной купины;* а душа его знает не только «хладный сон», но и трепетное *пробуждение*, и торжественное *бодрствование и трезвение* при созерцании сокровенной от других сущности вещей, которое дается только Духом Божиим духу человеческому...

Вот почему мы, русские люди, уже научились и должны научиться до конца и навсегда — подходить к Пушкину, не от деталей его эмпирической жизни и не от анекдотов о нем, но от *главного и священного* в его личности, от вечного в его творчестве, от его *купины неопалимой*, от его *пророческой очевидности*, от тех божественных искр, которые посылали ему навстречу все вещи и все события, от того глубинного пения, которым все на свете отвечало его зову и слуху — словом, от того *духовного акта*, которым русский Пушкин созерцал и творил Россию, и от тех *духовных содержаний*, которые он усмотрел в русской жизни, в русской истории и в русской душе и которыми он утвердил наше национальное бытие. Мы должны изучать и любить нашего дивного поэта, исходя из его *призвания*, от его *служения*, от его *идеи*. И тогда только мы сумеем любовно постигнуть и его жизненный путь, во всех его порывах, блужданиях и вихрях, — ибо мы убедимся, что храм, только что покинутый Божеством, остается храмом, в который Божество возвратится в следующий и во многие следующие часы, и что о жилище Божием позволительно говорить только с благоговейною любовью...

И вот, первое, что мы должны сказать и утвердить о нем, это его *русскость*, его неотделимость от России, его насыщенность Россией.

Пушкин был *живым средоточием русского духа*, его *истории*, его *путей*, его *проблем*, его *здоровых* сил и его *больных узлов*. Это надо понимать — и *исторически*, и *метафизически*.

Но, высказывая это, я не только не имею в виду подтвердить воззрение, высказанное Достоевским в его известной речи, а хотел бы по существу не принять его, отмежеваться от него.

Достоевский[1], признавая за Пушкиным способность к изумительной «всемирной отзывчивости», к «перевоплощению в чужую национальность», к «перевоплощению, почти совершенному, в дух чужих народов», усматривал самую сущность и призвание русского народа в этой «всечеловечности»... «Что такое сила духа русской народности», восклицал он, «как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» «Русская душа» есть «всеединящая», «всепримиряющая» душа. Она «наиболее способна вместить в себе идею всечеловеческого единения». «Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное». «Стать настоящим русским, может быть, и значит только (в конце концов...) стать братом всех людей, всечеловеком...» «Для настоящего русского Европа и удел всего великого Арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силою братства». Итак: «стать настоящим русским» значит «стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательно Слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».

Согласно этому и русскость Пушкина сводилась у Достоевского к этой всемирной отзывчивости, перевоплощаемости в иностранное, ко всечеловечности, всепримирению и всесоединению; да, может быть, еще к выделению «положительных» человеческих образов из среды русского народа.

Однако, на самом деле, — русскость Пушкина не определяется этим и не исчерпывается.

Всемирная отзывчивость и способность к художественному отождествлению действительно присуща Пушкину как гениальному поэту, и, притом, русскому поэту, в высокой и величайшей степени. Но эта отзывчивость гораздо шире, чем состав *«других народов»:* она связывает поэта со всей вселенной. — И с миром *ангелов*, и с миром *демонов*, — то «искушающих Провидение» «неистощимой клеветою», то кружащихся в «мутной месяца игре» «средь неведомых равнин», то впервые смутно познающих «жар невольного умиленья» при виде поникшего ангела, сияющего «у врат Эдема». Эта сила художественного отождествления связывает поэта, далее, — со всею *природою:* и с ночными звездами, и с выпавшим снегом, и с морем, и с обвалом, и с душою встревоженного коня, и с лесным зверем, и с гремящим громом, и с анчаром пустыни; словом — со всем внешним миром. И, конечно, прежде всего и больше всего — со всеми положительными, творчески созданными и накопленными сокровищами духа *своего собственного народа.*

Ибо «мир» — не есть только *человеческий* мир *других народов*. Он есть — и *сверхчеловеческий мир* божественных и адских обстояний, и *еще не человеческий* мир природных тайн, и *человеческий мир* родного народа. Все эти великие источники духовного опыта даются каждому народу исконно, непосредственно и неограниченно; а другие народы даются лишь скудно, условно, опосредствованно, извне. Познать их нелегко. Повторять их не надо, невозможно, нелепо. Заимствовать у них можно только в крайности и с великой осторожностью... И что за плачевная участь была бы у того народа, главное призвание которого состояло бы не в *самостоятельном созерцании и самобытном творчестве*, а в вечном перевоплощении в чужую национальность, в целении чужой тоски, в примирении чужих противоречий, в созидании чуждого единения!? Какая судьба постигнет русский народ, если ему Европа и «арийское племя» в самом деле будут столь же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли!?.

Тот, кто хочет быть «братом» других народов, должен *сам* сначала *стать и быть*, — творчески, самобытно, самостоятельно: созерцать Бога и дела Его, растить свой дух, крепить и воспитывать инстинкт своего национального самосохранения, по-своему трудиться, строить, властвовать, петь и молиться. Настоящий русский есть прежде всего *русский*, и лишь в меру своей содержательной, качественной, субстанциональной русскости он может оказаться и «сверхнационально» и «братски» настроенным «всечеловеком». И это относится не только к русскому народу, но и ко всем другим: *национально безликий «всечеловек» и «всенарод» не может ничего сказать другим людям и народам.* Да и никто из наших великих, — ни Ломоносов, ни Державин, ни Пушкин, ни сам Достоевский, — практически никогда не жили иностранными, инородными отображениями, тенями чужих созданий, никогда сами не ходили и нас не водили побираться под европейскими окнами, выпрашивая себе на духовную бедность крохи со стола богатых...

Не будем же наивны и скажем себе зорко и определительно: заимствование и подражание есть дело не «гениального перевоплощения», а беспочвенности и бессилия. И подобно тому, как Шекспир в «Юлии Цезаре» остается гениальным англичанином; а Гете в «Ифигении» говорит, как гениальный германец; и Дон-Жуан Байрона никогда не был испанцем, — так и у гениального Пушкина: и Скупой рыцарь, и Анджело, и Сальери, и Жуан, и все, по имени чужестранное или по обличию «напоминающее» Европу, — есть *русское*, национальное, гени-

Печатается в сокращении. Заголовок дан редакцией.

[1] См. «Дневник писателя» за 1880 год.

ально-творческое видение, узренное в просторах общечеловеческой тематики. Ибо гений творит из глубины национального духовного опыта, *творит*, а не заимствует и не подражает. За иноземными именами, костюмами и всяческими «сходствами» парит, цветет, страдает и ликует *национальный дух народа*. И если он, гениальный поэт, перевоплощается во что-нибудь, то не в дух других народов, а лишь в *художественные предметы*, быть может до него узренные и по-своему воплощенные другими народами, но *общие* всем векам и доступные всем народам.

Вот почему, утверждая русскость Пушкина, я имею в виду не гениальную обращенность его к другим народам, а *самостоятельное, самобытное, положительное* творчество его, которое было русским и национальным.

Пушкин есть чудеснейшее, целостное и победное цветение русскости. Это первое, что должно быть утверждено навсегда.

Рожденный в переходную эпоху, через 37 лет после государственного освобождения дворянства, ушедший из жизни за 24 года до социально-экономического и правового освобождения крестьянства, Пушкин возглавляет собою творческое цветение русского культурного общества, еще не протрезвившегося от дворянского бунтарства, но уже подготовляющего свои силы к отмене крепостного права и к созданию единой России.

Пушкин стоит на великом переломе, на гребне исторического перевала. Россия заканчивает собирание своих территориальных и многонациональных сил, но еще не расцвела духовно: еще не освободила себя социально и хозяйственно, еще не развернула целиком своего культурно-творческого акта, еще не раскрыла красоты и мощи своего языка, еще не увидела ни своего национального лика, ни своего безгранично-свободного духовного горизонта. Русская интеллигенция еще не родилась на свет, а уже литературно-западничает и учится у французов революционным заговорам. Русское дворянство еще не успело приступить к своей самостоятельной, культурно-государственной миссии; оно еще не имеет ни зрелой идеи, ни опыта, а от XVIII века оно уже унаследовало преступную привычку терроризировать своих государей дворцовыми переворотами. Оно еще не образовало своего *разума*, а уже начинает утрачивать свою *веру* и с радостью готово брать «уроки чистого афеизма» у доморощенных или заезжих вольтерианцев. Оно еще не опомнилось от Пугачева, а уже начинает забывать впечатления от этого кровавого погрома, этого недавнего отголоска исторической татарщины. Оно еще не срослось в великое национальное единство с простонародным крестьянским океаном; оно еще не научилось *чтить в простолюдине русский дух и русскую мудрость и воспитывать в нем русский национальный инстинкт;* оно еще крепко в своем крепостническом укладе, — а уже начинает в лице декабристов носиться с идеей безземельного освобождения крестьян, не помышляя о том, что крестьянин без земли станет беспочвенным наемником, порабощенным и вечно бунтующим пролетарием. Русское либерально-революционное дворянство того времени принимало себя за «соль земли» и потому мечтало об ограничении прав монарха, неограниченные права которого тогда как раз сосредоточивались, подготовляясь к сверхсословным и сверхклассовым реформам; дворянство не видело, что великие народо-любивые преобразования, назревавшие в России, могли быть осуществлены только полновластным главой государства и верной, культурной интеллигенцией; оно не понимало, что России необходимо мудрое, государственное строительство и подготовка к нему, а не сеяние революционного ветра, не разложение основ национального бытия; оно не разумело, что воспитание народа требует доверчивого изучения его духовных сил, а не сословных заговоров против государя...

Россия стояла на великом историческом распутье, загроможденная нерешенными задачами и ни к чему внутренне не готовая, когда ей был послан прозорливый и свершающий гений Пушкина, — пророка и мыслителя, поэта и национального воспитателя, историка и государственного мужа. Пушкину даны были духовные силы в исторически единственном сочетании. Он *был* тем, чем *хотели быть* многие из гениальных людей Запада. Ему был дан поэтический дар, восхитительной, кипучей, импровизаторской легкости; классическое чувство *меры* и неошибающийся *художественный вкус;* сила острого, быстрого, ясного, прозорливого, глубокого *ума* и справедливого *суждения*, о котором Гоголь как-то выразился: «если сам Пушкин думал так, то уже верно, это сущая истина»... Пушкин отличался изумительной прямотой, благородной простотой, чудесной искренностью, неповторимым сочетанием доброты и рыцарственной мужественности. Он глубоко чувствовал свой народ, его душу, его историю, его миф, его государственный инстинкт. И при всем том он обладал той *вдохновенной свободой души*, которая умеет искать новые пути, не считаясь с запретами и препонами, которая иногда превращала его по внешней видимости в «беззаконную комету в кругу расчисленном светил», но которая по существу *подобала его гению* и была необходима его пророческому призванию.

А призвание его состояло в том, чтобы *принять душу русского человека во всей ее глубине, во всем ее объеме* и оформить, *прекрасно оформить ее*, а вместе с нею — Россию. Таково было великое задание Пушкина: принять русскую душу во всех ее исторически и национально сложившихся трудностях, узлах и страстях; и найти, выносить, выстрадать, осуществить и показать всей России — *достойный ее творческий путь, преодолевающий эти трудности, развязывающий эти узлы, вдохновенно облагораживающий и оформляющий эти страсти.*

Древняя философия называла мир в его великом объеме — «макрокосмом», а мир, представленный в малой ячейке, — «микрокосмом». И вот русский макрокосм должен был найти себе в лице Пушкина некий целостный и гениальный микрокосм, которому надлежало включить в себя все величие, все силы и богатства русской души, ее дары и ее таланты, и в то же время — все ее соблазны и опасности, всю необузданность ее темперамента, все исторически возникшие недостатки и заблуждения; и все это — пережечь, перекалить, переплавить в огне гениального вдохновения: из душевного хаоса создать душевный космос и показать русскому человеку, к чему он призван, что́ он может, что́ в нем заложено, чего он бессознательно ищет, какие глубины дремлют в нем, какие высоты зовут его, какою духовною мудростью и художественною красотою он повинен себе и другим народам и, прежде всего, конечно — своему Всеблагому Творцу и Создателю.

Пушкину была дана *русская страсть*, чтобы он показал, сколь чиста, победна и значительна она может быть и бывает, когда она предается боговдохновенным путям. Пушкину был дан *русский ум*, чтобы он показал, в какой безошибочной предметности, к какой сверкающей очевидности он бывает способен, когда он несом сосредоточенным созерцанием, благородною волею и всевнемлющей, всеотверстой, духовно свободной душой...

Но в то же время Пушкин должен был быть и сыном своего века, и сыном своего поколения. Он должен был принять в себя все отрицательные черты, струи и тяготения своей эпохи, все опасности и соблазны русского интеллигентского миросозерцания, — не для того, чтобы утвердить и оправдать их, а для того, чтобы одолеть их и показать русской интеллигенции, *как* их можно и должно побеждать.

Впоследствии близкие друзья его, Плетнев и князь Вяземский, отмечали его высоко-религиозное настроение: «В последние годы жизни своей», пишет Вяземский, «он имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их»...

В то время Европа переживала великое потрясение французской революции, *заразившей* души других народов, но *не изжившейся* у них в кровавых бурях. Русская интеллигенция вослед за Западом бредила свободой, равенством и революцией. За убиением французского короля последовало цареубийство в России. Восстание казалось чем-то спасительным и доблестным.

Пианство мечты было обуздано *предметною трезвостью. Простота и искренность* стали основою русской литературы. Пушкин показал, что искусство чертится алмазом; что «лишнее» в искусстве нехудожественно; что *духовная экономия, мера и искренность* составляют живые основы искусства и духа вообще. «Писать надо», — сказал он однажды, — «вот этак: просто, коротко и ясно»[1]. И в этом он явился не только законодателем русской литературы, но и основоположником русской духовной свободы: ибо он установил, что *свободное мечтание должно быть сдержано предметностью, а пианство души должно проникнуться духовным трезвением...*

Такою же мерою должна быть скована русская свобода и в ее *расточаемом обилии.*

Свободен человек тогда, когда он располагает *обилием* и *властен расточить* его. Ибо свобода есть всегда *власть и сила;* а *эта* свобода есть власть над душою и над вещами, и сила в щедрой отдаче их. Обилием искони славилась Россия; чувство его налагало отпечаток на все русское; но, увы, новые поколения России лишены его... Кто не знает русского обычая дарить, русских монастырских трапез, русского гостеприимства и хлебосольства, русского нищелюбия, русской жертвенности и щедрости, — тот поистине не знает России. Отсутствие этой щедрой и беспечной свободы ведет к судорожной скупости и черствости («Скупой рыцарь»). Опасность этой свободы — в беспечности, бесхозяйности, расточительности, мотовстве, в способности играть и проигрываться...

Как истинный сын России, Пушкин начал свое поэтическое поприще с того, что расточал свой дар, сокровища своей души и своего языка — без грани и меры. Это был, поистине, поэтический вулкан, только что начавший свое извержение; или гейзер, мечущий по ветру свои сверкающие брызги: они отлетали, и он забывал о них, другие подхватывали, повторяли, записывали и распространяли... И сколько раз впоследствии сам поэт с мучением вспоминал об этих шалостях своего дара, клял себя самого и уничтожал эти несчастные обрывки...

Уже в «Онегине» он борется с этой непредметной расточительностью и в пятой главе предписывает себе

...Эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

В «Полтаве»[2] его гений овладел беспечным юношей: талант уже нашел свой закон; обилие заковано в дивную меру; *свобода и власть цветут в совершенной форме.* И так обстоит во всех зрелых созданиях поэта[3]: всюду царит некая художественно-метафизическая точность, — щедрость слова и образа, отмеренная самим эстетическим предметом. Пушкин, поэт и мудрец, знал опасности Скупого рыцаря и сам был совершенно свободен от них, — и поэтически, силою своего гения, и жизненно, силою своей доброты, отзывчивости и щедрости, которая доныне еще не оценена по достоинству.

Таково завещание его русскому народу, в искусстве и в историческом развитии: *добротою и щедростью стоит Россия; властною мерою спасется она от всех своих соблазнов.*

Укажем, наконец, еще на одно проявление русской душевной свободы — на этот дар *прожигать быт смехом и побеждать страдание юмором.* Это есть способность как бы ускользнуть от бытового гнета и однообразия, уйти из клещей жизни и посмеяться над ними легким, преодолевающим и отметающим смехом.

Русский человек видел в своей истории такие беды, такие азиатские тучи и такую европейскую злобу, он поднял такие бремена и перенес такие обиды, он перетер в порошок такие камни, что научился не падать духом и держаться до конца, побеждая все страхи и мороки. Он научился молиться, петь, бороться и смеяться...

Пушкин умел, как никто, *смеяться в пении и петь смехом;* и не только в поэзии. Он и сам умел хохотать, шалить, резвиться, как дитя, и вызывать общую веселость. Это был *великий и гениальный ребенок*, с чистым, простодушно-доверчивым и прозрачным сердцем, — именно в том смысле, в каком Дельвиг писал ему в 1824 году: «Великий Пушкин, маленькое дитя. Иди, как шел, т. е. делай, что хочешь»...

В этом гениальном ребенке, в этом поэтическом предметовидце — *веселие и мудрость* мешались в некий чистый и крепкий напиток. Обида мгновенно облекалась у него в гневную эпиграмму, а за эпиграммой следовал взрыв смеха. Тоска преодолевалась юмором, а юмор сверкал глубокомыслием. И, — черта чисто русская, — этот юмор обращался и на него самого, сверкающий, очистительный и, когда надо, покаянный.

Пушкин был великим мастером не только *философической элегии*, но и *освобождающего смеха*, всегда умного, часто наказующего, в стихах — всегда меткого, иногда беспощадного, в жизни — всегда беззаветно-искреннего и детского. В мудрости своей он умел быть, как дитя. И эту *русскую детскость*, столь свойственную нашему народу, столь отличающую нас от западных народов, серьезничающих не в меру и не у места, Пушкин завещал нам, как верный и творческий путь.

Кто хочет понять Пушкина и его восхождение к вере и мудрости, должен всегда помнить, что он всю жизнь прожил в той непосредственной, прозрачной и нежночувствующей детскости, из которой молится, поет, плачет и пляшет русский народ; он должен помнить евангельские слова о близости детей к Царству Божьему.

Вот каков был Пушкин. Вот чем он был для России и чем он останется навеки для русского народа.

Единственный по глубине, ширине, силе и царственной свободе духа, он дан был нам для того, чтобы создать *солнечный центр нашей истории*, чтобы сосредоточить в себе все богатство русского духа и найти для него неумирающие слова. Он дан был нам, как залог, как обетование, как благодатное удостоверение того, что и на наш простор, и на нашу страсть может быть найдена и создана совершающая и завершенная форма. Его дух, как великий водоем, собрал в себя все подчиненные воды русской истории, все живые струи русского духа. И к целебным водам этой вдохновенно возмущенной купели будут собираться русские люди, пока будет звучать на земле русский язык, — чтобы упиться этой гармонией бытия и исцелиться от смуты, от застоя и брожения страстей. ⟨...⟩

С тех пор в России есть *спасительная традиция Пушкина:* что пребывает в ней, то ко благу России; что не вмещается в ней, то соблазн и опасность. Ибо *Пушкин учил Россию видеть Бога и этим видением утверждать и укреплять свои сокровенные, от Господа данные национально-духовные* силы. Из его уст раздался и был пропет Богу от лица России гимн радости сквозь все страдания, гимн очевидности сквозь все пугающие земные страхи, гимн победы над хаосом. Впервые от лица России и к России была сказана эта чистая и могучая «Осанна», осанна искреннего, русским Православием вскормленного миро-приятия и Бого-благословения, осанна поэта и пророка, мудреца и ребенка, о которой мечтали Гераклит, Шиллер и Достоевский. ⟨...⟩

Пушкин, наш шестикрылый серафим; отверзший наши зеницы и открывший нам и горнее, и подводное естество мира, вложивший нам в уста жало мудрые змеи и завещавший нам превратить наше трепетное и неуравновешенное сердце в огненный угль, — он дал нам залог и удостоверение нашего национального величия, он дал нам осязать *блаженство завершенной формы, ее власть, ее зиждущую силу, ее спасительность.* Он дал нам возможность, и основание, и право верить в призвание и в творческую силу нашей родины, благословлять ее на всех ее путях и прозревать ее светлое будущее, — какие бы страдания, лишения или унижения ни выпали на долю русского народа.

Ибо иметь такого поэта и пророка — значит иметь свыше *великую милость* и *великое обетование.*

БЕРЛИН. 1937 г., январь-март.

[1] П. И. Миллер. Встреча с Пушкиным. См.: Вересаев. Пушкин в жизни, III, 67.
[2] Срв. отрывок: «Кстати, начал я писать»... (1830).
[3] Исключением является «Домик в Коломне» (1830).

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

ПУШКИН

Как никто другой, он поддается толкованиям. Как зеркало — отражает черты того, кто о нем говорит.

Чего-чего только о Пушкине не было написано! В построениях Белинского и Гершензона нет почти ничего общего, — а между тем и тот и другой по-своему правы, и во всяком случае оба отлично знают то, о чем говорят. В наши юбилейные дни были произнесены речи в Москве и в Париже: ну, конечно, в Москве уклонились в одну сторону, у нас в другую; там обнаружили у Пушкина социалистические предчувствия, здесь особенно настаивали на том, что торжество «наше», бесспорно эмигрантское, — но без этого — обойтись ведь не могло... Замечательно однако, что при полном различии утверждений особых нелепостей не получилось. Пушкин «выдержал», он еще и не то способен выдержать. Он как будто стоит в отдалении — и безразличен к тому, что ему приписывают. Не исключение — и речь Достоевского, одно из величайших насилий над Пушкиным, беспрепятственно и безболезненно удавшееся. От школьных саводнико-сиповских прописей насчет грациозной гармонии духа и светлого оптимизма, до модернистических после-карамазовских «бездн», открываемых в любом мадригале и даже в «Графе Нулине» — удается вообще все.

А Пушкин по-прежнему неуловим. Сейчас, в праздничный пушкинский год, об этом, может быть, не совсем уместно говорить. Сейчас — раздолье светлым гармониям и прочему. Но факт устранить трудно — и многих, многих он смущает. Со вздохом сожаления мы повторяем, что Пушкин недоступен иностранцам, будто нам все в нем понятно. Но не было в России писателя, пред которым анализ оказался бы настолько бессилен — и с другой стороны, не было писателя, обожествление которого так странно походило бы на «мумификацию». Пристрастие библиофилов к прижизненным изданиям стихов поэта кое в чем оправдано: в томике тридцатых годов Пушкин как будто еще свободен от необходимости вещать и изрекать. Пушкин еще р и с к у е т в творческой своей игре — а не ведет ее с навязанным ему позднее сознанием жреческой безошибочности. Пушкин если и «божественен», то в греческом античном смысле, — божественен как «гневно-резвые» боги, способные в пылу своих олимпийских страстей черт знает на что!

Над томиком тридцатых годов особенно остро чувствуешь разницу в т о н е — между тем, что писал Пушкин, и тем, что написано о нем (до трудолюбивых и вечно враждующих пушкинистов включительно). Именно тон-то и не уловим, вернее — не восстановим. Белинский все-таки ближе к нему, чем Достоевский и в особенности последователи его, — хотя у Достоевского было то преимущество, что он не столько говорил о Пушкине, сколько говорил с ним. Пониманию, приближению к Пушкину препятствует его изоляция. Пушкина окружали холодком: в русской литературе он царствует, но не управляет. Всякий согласится, что лишь ценой умственного усилия можно наладить в воображении его диалог с Гоголем, с Лермонтовым, с Тютчевым, с Толстым, со всеми теми, от которых он будто отделен золотой решеткой.

Отчасти, Пушкин сам от такой беседы уклоняется. Но надо признать, что и вопреки ему получилась у нас обстановка, при которой эта воображаемая беседа стала почти невозможной.

Творчество и жизнь человека представляют собой лишь известное количество мыслей, слов, поступков, предположений, короче «единиц», в сумме которых мы ищем плана.

Иногда план отчетлив — как, например, у Толстого. Его наличие не исключает споров, но ограничивает их пределы — и, в сущности, сводит их к борьбе оценок вместо борьбы толкований. У Пушкина плана нет, — по крайней мере плана у него не видно. Нельзя сказать — (притом не только нельзя выразить логически, но и ощутить внутренне, «музыкально») — о ч е м он писал. В жизни его элемент случайности доминирует. Даже самый трагизм этой жизни случаен: думая о ней, неизбежно приходишь к выводу, что могло все случиться совсем иначе. Никакого предопределения, на первый взгляд, никакой «судьбы», в наполеоновском, очевидно — фатальном и чуть-чуть театральном смысле слова.

Но вот Гоголь сказал, что после его смерти в России стало «пусто». Гениально верно сказано (гениально — по быстроте отзвука, и гоголевскому природному дару оттенения всего того, что было в Пушкине и чего не было в нем самом), — до сих пор к словам этим нечего прибавить. Россия без Пушкина пуста, — в целом, если представить себе, что его в ней не было, и конкретнее, ограниченнее, если вспомнить, чем стали николаевские десятилетия после него. Из Петербурга мчится ямщик с пушкинским гробом — будто отлетает душа страны, государства, эпохи: все обречено, жертву нельзя искупить, больше нечего ждать. Гоголь с удивительным проникновением понял р о л ь Пушкина, — и то, что ему самому эту роль не сыграть, как бы ни были велики его силы, не сыграть вообще никому, даже Толстому. В чем дело? Неужели в этих трех-четырех книжках со всей их прелестью, со всей их глубиной, правдивостью, отражена жизнь всего народа? Рассудочные возражения напрашиваются сами собой, — но не убеждают: какие-то «струны» звенят в нас в ответ Пушкину совсем по-особому, отвечая заодно и России, смешивая его и ее, не узнавая, где он, где она... Кстати, по поводу иностранцев — и их почтительного безразличия к Пушкину. Конечно, знать язык поэта необходимо — и без этого читать его не стоит. Но с Пушкиным — одним языком не отделаешься. Француз или немец, изучив русский язык, все-таки не разделит наших чувств к «Онегину» — и втайне, с некоторыми оговорками может быть, повторит давний флоберовский упрек в «platitude». Мало и знания русской истории. Надо родиться в России, надо было пожить в ней, подышать ею, как-то навсегда, всей кровью ощутить свою с ней неразлучность, чтобы ощутить и Пушкина. Есть вещи «по ту сторону добра и зла», есть другие — по ту сторону литературы».

Пушкин случаен, и многое кажется в нем случайно — только вне общерусского фона. На нем — все в Пушкине полно значения, которое мы «разгадываем», хотя едва ли когда-нибудь разгадаем.

Он не мог томиться о «звуках иных», — потому что для него иных миров нет... Пушкин сам собой ограничен, сам в себе замкнут. Ему «все позволено» — и оттого на христианский слух в поэзии его есть что-то ужасно грешное, смягченное только его скромностью, отсутствием всякого вызова. Пушкин вовсе не враждебен христианству, — он просто не знает его, он лишен органов восприятия. Он готов любоваться православным «фольклором»: просвирни, колокола, картинные иноки, — но это совсем не то... Незачем и объяснять.

У Лермонтова:

Подожди немного,
Отдохнешь и ты!

Отчего эти две строки «пронзают сердце»? Ищешь, ищешь в памяти, перебираешь воспоминания, уходишь вглубь, отбрасываешь, отвергаешь — и вдруг разгадка удивляет своей простотой: это далекое эхо далекого голоса, того, с креста на другой крест, — как было раньше не узнать? «Днесь, со мною, в раи»... Ослабленно в тысячи раз, искажено в устремлении, но неоткуда было взяться этим обещаниям, как только оттуда, нет для них другого источника! От Гете не осталось и следа.

Подожди немного,
Отдохнешь и ты!

Арфа, «арфа серафима», золотые нити под «легчайшими перстами»... Мир надтреснут — и в трещину льется свет.

У Пушкина — свет в нем самом. Все округлено, закончено — и надеяться так же не на что, как не о чем и вспоминать. Гармония, совершенство... Да, это правда. Но чувство меры — добродетель менее всего евангельская и ключ к нему — в обозримости творческой арены, в твердой линии горизонтов, в отсутствии трещин. Не может быть ни порядка, ни строя там, — где что-то неизвестное позади, что-то неизвестное впереди, — как нельзя решить уравнения, где есть лишний икс.

Лермонтов и Гоголь — будто стремятся замолить явление Пушкина, как впрочем, почти вся наша позднейшая литература, как и Достоевский. Владимир Соловьев по этому поводу разоткровенничался, смущенный преимущественно «чувственной природой» поэта. Едва ли основательно! Чувственность можно подвести под формулу «падшего ангела» — и предположить всякие позднейшие раскаяния и очищения, если бы, — как предположил К. Леонтьев в одном из фантастически блестящих своих построений, — «Дантес промахнулся». Но Пушкин — ни в коем случае, ни в малейшей степени не «ангел»! Пушкин — это проба человека, утверждение человека, с редкими предчувствиями дальнейших, неведомых возможностей. Когда Пушкин говорит про «бессмертье, может быть, залог», он потрясен сам, как будто перед ним разверзается пропасть... Лермонтов с бессмертием, можно сказать, неразлучен, Лермонтов панибратствует с ним. А у Пушкина кружится голова — от неожиданности, от неизвестности.

Люди такого творческого склада — существовали и до, и после него. Не помню, кому принадлежит исследование «Пушкин и Ницше»: очень интересно для сопоставления, много общего во влечениях. Но Ницше лишь представляется «ницшеанцем». Единственная у Ницше действительно живая тема — тема страдания, — и он поистине исходит кровью, защищая свои трезво-плоско-сухие позиции. Ницше — сплошное противоречие, звуком и тоном каждой строчки заклинающее не верить их дословному, прямому смыслу... Пушкин гораздо органичнее и тверже. В проекции Пушкин — абсолютный антидекадент, абсолютный антивагнерист. Вопрос не в том, кто прав, — вопрос в том, что́ за одним, что́ за другим, можно ли отстоять такое «мироощущение» и можно ли жить с ним.

Пушкин творчески — почти полная удача. Беспримерная, — несмотря на «почти». Но какая страшная грусть в его существовании! Как потрепала жизнь это наше бедное божество, — как истерзала в конце концов! За что истерзала? Ну, Наталья Николаевна по легкомыслию поощряла Дантеса или даже царя, ну, Бенкендорф был глуп, а кредиторы назойливы... но не только же это, не только же это! Какое нам, в конце концов, через сто лет, дело до Натальи Николаевны и волочившихся за ней «офицерищек»! Почему все так таинственно-значительно в этой драме? Или действительно, в самом деле, в Петербурге, сто лет тому назад, возник миф, — и Пушкин потому-то и не был «субъектом» религиозного чувства, что происходил из рода «объектов»?

Пожалуй — так. Не обманывает впечатления от смерти его, — как от центрального события в судьбе России. До сих пор мы все — вокруг его гроба. Лермонтовские томления навеяны чем-то чудно-знакомым, да! Но и эта смерть что-то напоминает и возвышается, чем больше о ней думаешь, до величья всенародной жертвы, — не без мефистофельских, правда, смешков вокруг, не без «бесовских» судорог на лице героя.

Сомнения.

Не принимаем ли мы «петербургский период» за всю историю России? «Вершина русской культуры»? Всей культуры? Или этих двухсот лет, которые — как знать? — могут оказаться лишь двухсотлетним эпизодом? Осоргин в шутливой форме написал, что всем хорош был бы Пушкин, да вот только предпочитал почему-то Петербург Москве. За шуткой — острая и тревожная мысль, хотя

трудно сказать, верная ли. У Сологуба есть замечательные по силе строки о «лживом гении» — самое кощунственное, что о Пушкине в русской литературе было сказано, ибо писаревщина не в счет. Написаны эти слова Сологубом, в старости, после революции, — с оговорочкой, что «рано еще его развенчивать».

Сейчас Россия Пушкина восторженно чтит. Испытание как будто уже пройдено. Но успех на этом экзамене что-то слишком уж быстр, слишком полон, — и потому не совсем убедителен. Да и нельзя определить, чего сейчас действительно ищут «массы», — не говоря уже о том, что не «массы» будут в этом деле последними судьями! Еще.

«Пушкин все знал»: традиционное утверждение, ставшее аксиомой. Но если бытие безостановочно — значит, в него непрерывно входят новые элементы. Нет, может быть, обогащения, но есть дробление того, что представлялось раньше неразложимым. Можно ли по-пушкински упорядочить, гармонизировать н а ш внутренний мир? Явится ли когда-нибудь поэт, на это способный? Нужна ли черновая, черная работа — или нужнее оберегать пушкинский творческий строй, как нечто незаменимое?

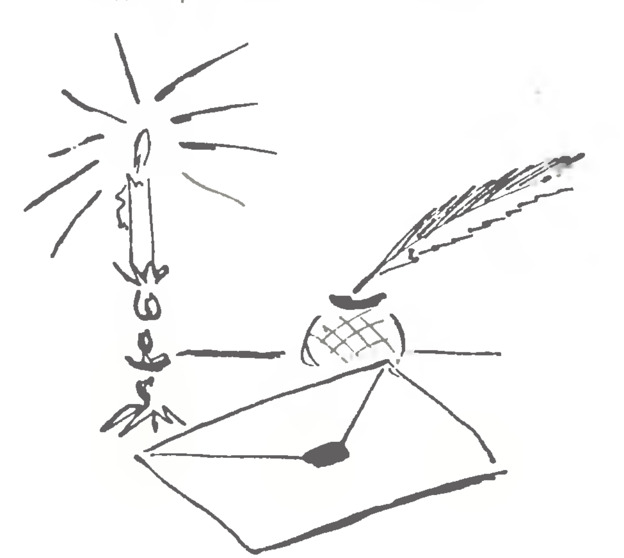
Очарование.

На сомнения — эти, и многие другие, — ответы не совсем ясны. Но сомнения не умаляют Пушкина, — наоборот, они роднят с ним, оставляют человека с ним наедине.

И вот, ища ответов, в сотый, в тысячный раз начинаешь Пушкина перелистывать.

Многое еще надо было бы написать. Тема неисчерпаема. Но перелистываешь поэмы, стихи, «Онегина» — и как всегда, в момент непосредственного столкновения, непосредственной встречи с истинным творчеством, становится ясно, насколько беднее и заносчиво — ничтожное дело — все комментарии к тому, где мысль и чувство нераздельны и где драгоценен именно сплав их.

«Онегина» надо знать наизусть, — особенно две последние, болдинские главы: иначе ускользает волшебная игра звуков, иначе образы замыкаются в своем психологическом или бытовом содержании, — и не доходит до сознания, не «звенит» глубоко лирическая тема прощания, страха, стремления спасти, уберечь, оградить, смутная тема всего нашего будущего. Но что об этом сказать? Опять повторить имя: Россия? А там имени-то и нет,— есть зато все, что за именем. Будто распахнулось окно — листки разлетелись во все стороны, чернила опрокинуты, пахнет дождем, землей, туманом, тленом, влагой, жизнью, смертью... Но и это — литература, «да и дурная», по Пушкину же. Ничего нельзя сказать, — а рассуждать принимаешься, только забывая, что ни до чего не договоришься.



С. Л. ФРАНК

МУДРЫЕ ЗАВЕТЫ

Всякому, сколько-нибудь знакомому с историей русской мысли, известно, какую центральную роль в ней играет тема об отношении России к Западу, — к тому, что с русской точки зрения обозначалось, как «Западная Европа» в смысле всего европейского континента на запад от русской границы. Проблемы не только общественно-исторической и политической жизни, но и философские и религиозные по большей части ставились и обсуждались в связи с этой темой, — что со стороны, т. е. вне отношения к идейной атмосфере русской жизни, должно казаться странным и даже противоестественным. Известно также, что спор между сторонниками и противниками следования России по пути «Западной Европы» — спор, принявший свою классическую форму в борьбе между «западниками» и «славянофилами» в 40-х годах 19-го века — в иных формах велся, по крайней мере, с конца 18-го века, продолжался в течение всего 19-го века и продолжается в 20-ом веке вплоть до нашего времени. Здесь достаточно напомнить, что в истории новейшей эмигрантской мысли «евразийство» было эфемерной вспышкой радикального и духовно узкой формы старого «славянофильства». Все творчество покойного Н. А. Бердяева в известном смысле вытекало из центральной для него веры в особое не-европейское и антиевропейское существо и призвание русского духа. В самой России Ленин, сочетав Маркса с Бакуниным, в лице большевизма создал особый вид антиевропейского марксизма: противопоставление правды «пролетарской» России злу и разложению «буржуазной» Европы.

В этой проблеме совершенно особое место занимают воззрения Пушкина. Пушкин был не только величайшим русским поэтом, но и одним из самых сильных, проницательных и оригинальных умов России, «умнейшим человеком России» (как определил его Николай I после первой встречи с ним); но, странным образом, несмотря на огромную литературу «пушкиноведения», идейные воззрения Пушкина остаются доселе мало исследованными или во всяком случае недостаточно оцененными. В частности, остались неуясненными его совершенно оригинальные взгляды на занимающую нас здесь тему[1].

Пушкин не дожил до классической эпохи спора между «славянофилами» и «западниками». Но в 30-х годах он знал родоначальников обоих направлений. Первым западником — правда, своеобразным, во многом отличным от западников следующего поколения, — был его давнишний друг — в юности его духовный наставник — Чаадаев. Пушкин хорошо знал его взгляды и дожил до опубликования (1836 г.) его знаменитого «Философического письма», на которое отвечал особым письмом к Чаадаеву (о нем подробнее ниже). Из двух основоположников славянофильства, Ивана Киреевского и Хомякова, первый при жизни Пушкина еще не оформил своих позднейших идей; но Хомяков уже с юных лет выработал свое славянофильское миросозерцание, и Пушкину приходилось идейно с ним сталкиваться. Основа спора была ему, таким образом, знакома. Но такому человеку, как Пушкин, и не нужно было знать чужие мнения, чтобы задуматься над столь основным вопросом русской духовной жизни.

По своему непосредственному устремлению, по своим оценкам Пушкин несомненно был «западником» в том смысле, что высоко ценил западную культуру, был убежден в ее необходимости для России и скорбел о культурной отсталости России по сравнению с Западом. Уже в самых ранних его письмах у него есть излюбленное противопоставление (в отношении явлений русской жизни) «азиатского» начала — «европейскому», как низшего высшему. Переселившись из Кишинева в Одессу, он пишет Александру Тургеневу: «надобно, подобно мне, провести три года в душном азиатском заточении, чтобы почувствовать цену и не вольного европейского воздуха» (1823). Шутя он называл Россию «родной Турцией» и Петербург «северным Стамбулом». Когда находится щедрый издатель для его «Евгения Онегина», он пишет: «Какова Русь, да она в самом деле в Европе — а я думал, что это ошибка географов». Восхваляя статьи князя Вяземского, он называет их «европейскими»; находя пестроту внешнего украшения книги «безобразной», он прибавляет, что она «напоминает Азию». В записке о народном образовании, поданной им Николаю I в 1826 г., он горячо отстаивает пользу европейского образования и желательность учения русских юношей за границей; в своем дневнике (14 апреля и 3 мая 1834) он резко отрицательно отзывается об указе, ограничивающем право русских ездить в Европу. Он считает главной причиной относительной отсталости русской культуры татарское иго, которое отделило Россию от судеб Европы. «Духовная жизнь порабощенного народа не развивалась. Великая эпоха Возрождения не имела на него никакого влияния, рыцарство не одушевляло его девственными восторгами, и благодетельные потрясения крестовых походов не отозвались в краях печального севера». Он решительно отвергает какое-либо культурное влияние татар на Россию: «Нашествие татар не было, подобно наводнению Мавров, плодотворным: татары не принесли нам ни алгебры, ни поэзии» («О русской литературе, с очерком французской», 1834); отвергает он и какое-либо влияние татарского языка на русский («О предисловии Лемонте к переводу басен Крылова», 1825). С другой стороны, он указывает на разделение церквей, как на причину, отделившую Россию от остальной Европы и лишившую ее участия в великих событиях европейской истории (письмо к Чаадаеву, 1836).

Но самое яркое выражение «западничества» Пушкина есть его отношение к Петру Великому. Пушкин создал, как известно, в своих художественных произведениях — в поэмах «Полтава» и «Медный всадник», в романе «Арап Петра Великого» и в ряде мелких стихотворений — незабываемый образ Петра, как «вечного работника на троне», человека, который «прорубил окно в Европу» и насадил европейское просвещение в России. Он, правда, далеко не во всем был согласен с политикой Петра Великого, считал его «воплощенной революцией — Робеспьером и Наполеоном в одном лице», ужасался жестокости его указов (которую он противопоставлял мудрости его законодательных мер) и признавал вредной «табель о рангах», видя в ней источник «демократического наводнения», которое «выметает дворянство». Но эти частные несогласия заслонены общим впечатлением величия, в глазах Пушкина, исторического преобразователя России, и убеждением в благодетельности его реформ. Пушкин остро сознавал, что вся русская культура 18-го и 19-го века и все начатки науки и искусства в России имеют своим источником ту европеизацию России, начало которой положил Петр Великий. Он чувствовал самого себя органически связанным с этим европейским элементом, насажденным в России Петром. Можно сказать, что он бессознательно ощущал то, что позднее о нем самом так метко сказал Герцен: «На призыв Петра Великого образоваться Россия через 100 лет ответила колоссальным явлением Пушкина».

Но при более тщательном рассмотрении отношения Пушкина к Петру Великому мы уже здесь найдем существенное отличие между Пушкиным и типическим воззрением западников. Можно сказать, что «западники» сходились со своими противниками «славянофилами» в одном: оба лагеря считали преобразования Петра *неорганичными*, не видели их связи с национальным духом России, а усматривали в них прививку к старой русской культуре каких-то совершенно новых, внешних начал. Они расходились только в одном: западники считали такую прививку чуждых элементов благотворной для России, потому что не ценили уклада древней России, находили невозможным развитие ценной культуры на основе национальной самобытности и видели единственное спасение России в усвоении западно-европейской культуры. «Славянофилы», напротив, отвергали путь Петра Великого, потому что дорожили древней русской культурой и насаждение чуждых ей западных начал считали гибельным ее извращением. Совершенно иное понимание мы находим у Пушкина. Пушкин — и в этом его мнение подтверждается теперь выводами русской исторической науки — ощущал *национальный* характер дела Петра Великого. Он подчеркивает, прежде всего, национально-русский патриотизм Петра: когда «самодержавною рукой он смело сеял просвещенье», он «не презирал страны родной: он знал ее предназначенье». Петр, таким образом, повел Россию по пути европейской культуры, по мнению Пушкина, именно исходя из убеждений, что национальный склад ума и духа может на этом пути осуществить себя, свое собственное внутреннее предназначение. А. О. Смирнова сохранила в своих «Воспоминаниях» следующие слова Пушкина: «Я утверждаю, что Петр был архирусским человеком, несмотря на то, что сбрил себе бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал, как немец. Я спросил его на днях, из чего он заключает, что византийские идеи московского царства более народны, чем идеи Петра»[2].

Уже отсюда видно, что Пушкин ставит вопрос о «народности» (или «самобытности») и ее отношении к усвоению других культур гораздо глубже, чем обычные западники и славянофилы. «Народность» означает для него своеобразие духовного склада народа. «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию» — таково примерное определение «народности» у Пушкина (в незаконченном наброске «О народности в литературе», в котором он жалуется на распространенность слишком узких пониманий «народности»). Народность в этом общем смысле совсем не предполагает замкнутости от чужих влияний, обособленности национальной культуры. Напротив, субстанция народного духа, как все живое, питается заимствованным извне материалом, который она перерабатывает и усваивает, не теряя от этого, а напротив, развивая этим свое национальное своеобразие. Риторический вопрос, поставленный Пушкиным Хомякову, действительно убийственен для позиции национальной исключительности и метко выражает подлинное существо дела. В самом деле, если культура московского государства, в которой славянофилы видели адекватное выражение национального духа, выросла на почве, оплодотворенной влиянием Византии, то отчего же культура Петербургской эпохи заранее объявляется чуждой и враждебной национальному своеобразию только потому, что она оплодотворена западными влияниями? Будучи последовательными, сторонники национальной самобытности России должны были бы отвергнуть не только Петра Великого, но и Владимира Святого, просветившего Россию рецепцией византийских христианских традиций; между тем, основным тезисом славянофилов было именно убеждение, что верования восточной православной, т. е. греческой церкви суть фундамента русского национального духа. «Мы восприняли от греков евангелие и традиции, а не дух ребячества и споров. Нравы Византии никогда не были нравами Киева» — говорит Пушкин в уже упомянутом письме к Чаадаеву. Поэтому и Петр, несмотря на голландское платье и бритую бороду, мог не стать «немцем», а остается подлинно русским человеком. Без взаимодействия между народами невозможно их культурное развитие, но это взаимодействие не уничтожает

---

[1] Ценная в других отношениях книга В. Зеньковского «Русские мыслители и Европа», Париж, 1926, совершенно обходит взгляды Пушкина и лишь мельком упоминает его имя.

[2] Подлинность «Воспоминаний» Смирновой оспорена, и нет сомнения, что ее дочь, издававшая их, сильно ретушировала их и многое внесла от себя. Но Мережковский (в статье «Пушкин» в книге «Вечные спутники») совершенно прав в своем указании, что приводимые в «Воспоминаниях» гениальные идеи Пушкина безусловно подлинны по внутренним основаниям.

их исконного своеобразия, как своеобразие личности не уничтожается ее общением с другими людьми. Пушкин знал это по самому себе. Никогда не переступив, как известно, западной границы России, он глубоко восприняел в себя западную культуру, воспитался сначала на Вольтере и французской литературе, потом на Байроне, Шекспире и Гете. Но он не перестал от этого не только быть, но и чувствовать себя русским человеком. В его душе утонченнейшие влияния западной культуры мирно уживались с наивным русским духом, жившим в нем и питавшимся народными сказками няни Арины Родионовны. Он любил Россию Петра, стихию Петербурга, но он любил и Москву и древнюю Русь, и никогда у него не возникал вопрос о несовместимости того и другого. Убежденный «западник», он чутьем гениального поэта и историка глубоко и верно воспринял дух русского прошлого и своей исторической драмой «Борис Годунов», своими историческими поэмами и повестями более, чем кто-либо иной, содействовал развитию русского исторического самосознания. Его обработки русских народных сказок суть образец художественного претворения непосредственных выражений народного духа в фольклоре; даже Жуковскому он должен был указывать, что в старых русских легендах, повериях и сказках не меньше материала для романтической поэзии, чем в произведениях западного фольклора. Он любил все, в чем ощущал «русский дух» (вступление к «Руслану и Людмиле»); будучи в указанном смысле «западником», он ничуть не уступал славянофилам в непосредственной любви к русскому народному укладу, ко всему, в чем выражается непонятное для «западного европейца» (но часто и его привлекающее) своеобразие русской души.

Это сочетание «западничества», восприимчивости и любви к европейской культуре, с чувством инстинктивной, кровной связи с родиной во всем ее своеобразии подкреплялось у Пушкина одним сознательным убеждением, которое — несмотря на простоту и лаконичность его выражения — содержит глубокую философскую мысль. Пользуясь позднейшим термином, можно сказать, что Пушкин был убежденным почвенником и имел некую «философию почвенности». Лучше всего он выразил ее в известном стихотворении 1830-го года:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
На них основано семейство
И ты, к отечеству любовь.
Животворящая святыня!
Земля была без них мертва,
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

Связь с «родным пепелищем» и с «отеческими гробами», с родным прошлым, по мысли Пушкина, не сужает, не ограничивает и не замыкает человека, а, будучи единственной основой его «самостояния», есть, напротив, основа подлинной свободы и творческой силы, «залог величия» личности — и, тем самым, народа. Укорененность в родной почве, ведя к расцвету духовной жизни, тем самым расширяет человеческий дух и делает его восприимчивым ко всему общечеловеческому. Этот мотив проникает и всю поэзию, и всю мысль Пушкина. Один из основных мотивов его поэзии тема «пенатов» — религиозного духа, которым обвеян родной дом; в уединении родного дома, в отрешенности от «людского стада» только и возможно познавать «сердечную глубь», любить и лелеять «несмертные, таинственные чувства». В личной жизни Пушкина воплощением «алтаря пенатов» были два места — родная деревня Михайловское, в которую он всегда возвращался для уединенного творчества, и Царское Село, в котором впервые, в годы отрочества и первой юности, раскрылась его духовная жизнь и произошла его первая встреча с музой (ср. стихотворения «Вновь я посетил» и «Воспоминание в Царском Селе»). В последнем стихотворении поэт, возвратившись после скитаний — внешних и внутренних — к родному месту, где протекла его первая юность, чувствует себя блудным сыном, который в раскаянии и слезах «увидел наконец родимую обитель». Эта «родимая обитель» — место, с которым связаны впечатления детства и юности, — сливается в сознании поэта с понятием «родины», «отечества»: «нам целый мир — чужбина, отечество нам — Царское Село».

Философскую мысль, лежащую в основе этих чувств и мыслей, можно лучше всего выразить в короткой, но многозначительной формуле: *чем глубже, тем шире*. Только в последней, уединенной глубине человеческого духа, питаемой традицией, воспоминаниями детства, впечатлениями родного дома и родной страны, человек, соприкасаясь с последней «несмертной», таинственной, божественной глубиной бытия, тем самым обретает свободу, простор для сочувственного восприятия всего общечеловеческого. (Здесь, по аналогии, — конечно, mutatis mutandis — приходит на ум отношение между «благодатью» и «свободой»: благодать не ограничивает человеческой свободы, не конкурирует с ней, а, напротив, впервые освобождает человека, дает ему широту, полноту, творческую свободу.) *Этим снимается сама дилемма*, лежащая в основе спора между «националистами» и сторонниками «общечеловечности»: *либо* преданность своему, исконному, родному, *либо* доступность чужим влияниям. Как отдельная человеческая личность, чем более она глубока и своеобразна, чем более укоренена в глубинной самобытности духовной почвы, *тем более* общечеловечна (пример — любой гений), так и народ. Восприимчивость к общечеловеческому, потребность к обогащению извне, есть в народе, как и в личности, признак не слабости, а, напротив, внутренней жизненной полноты и силы.

Именно отсюда вытекает у Пушкина сочетание «европеизма», резкого отталкивания от культурной отсталости России, с напряженным чувством любви к родине и национальной гордости. Еще в первую эпоху своей жизни, гонимый правительством, негодуя на некультурность среды, в которой ему негде было развернуть свой гений, и стремясь убежать из России, он пишет, однако: «Мы в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда... Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство» (письмо к кн. Вяземскому, 1826). В зрелую эпоху и к концу жизни это двойственное отношение к родине в просветленной и умеренной форме выражено в замечательных словах письма к Чаадаеву (1836): «Я далек от того, чтобы восхищаться всем, что я вижу вокруг себя; как писатель, я огорчен..., многое мне претит, но клянусь вам своей честью — ни за что в мире я не хотел бы переменить родину, или иметь иную историю, чем история наших предков, как ее нам дал Бог». В дневнике Муханова 1832 г. записано устное высказывание Пушкина, осуждающее «озлобленных людей, которые не любят России» и «стоят в оппозиции не к правительству, а к отечеству» (Вересаев. «Пушкин в жизни»).

Теперь мы подготовлены к рассмотрению своеобразного систематического взгляда Пушкина на отношение между Россией и Европой. С указанным выше принципиальным «европеизмом» у Пушкина сочетается твердое убеждение в своеобразии русского мира, в существенном отличии между историей России и историей Западной Европы. В программе одной из своих статей по поводу «Истории русского народа» Николая Полевого Пушкин говорит: «Поймите, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою, что история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада». «Россия была совершенно отделена от западной Европы». Пушкин доказывает, что в России не было ни феодализма, ни независимых городских общин. Эту отделенность России от остальной Европы и это своеобразие ее истории Пушкин *отчасти* воспринимает — подобно «западникам» — как *недостаток* русской истории. «Феодализма у нас не было — и тем хуже... Феодализм мог бы, наконец, развиться, как первый шаг учреждения независимости (общины были второй), но он не успел. Он рассеялся во времена татар, был подавлен Иваном III, гоним, истреблен Иваном IV». По отрывочным замечаниям этого наброска, можно прийти к заключению, что Пушкин сожалеет, что история России не создала тех навыков к личной свободе и независимости от власти, которые возникли в историческом процессе Европы. Этот взгляд совпадает с известной высокой оценкой Пушкиным аристократии, как носителя независимого общественного мнения в государстве. «Наследственность высшего дворянства есть гарантия его независимости. Противоположное есть неизбежное средство тирании или, точнее, развращающего и изнеживающего деспотизма» («О дворянстве»).

Главный источник этой, вредной для России отделенности Европы от России он видит в татарском нашествии, отчасти также в разделении церквей (ср. выше). Последняя тема заслуживает особого внимания: в ней Пушкин резче всего расходится с славянофильством. Для последнего — в особенности для его главного богословского представителя, Хомякова, восточная, православная церковь после разделения церквей осталась единственной подлинной церковью, т. е. единственным адекватным представителем подлинного христианства; католицизм своим самочинием нарушил основную заповедь христианской любви; протестантизм есть следующий шаг на пути того же самочиния; этот и другой, следовательно, суть уклонения от истины христианской церкви. Совсем иначе смотрит на вопрос Пушкин; его мысль легко угадать, хотя она выражена лишь в кратких словах его писем. Он не разделяет, прежде всего, пристрастия Чаадаева к католицизму и его огульного отвержения протестантизма. «Вы усматриваете христианское единство в католицизме, т. е. в папе, — пишет он ему (1831). — Не заключено ли оно в идее Христа, которая содержится и в протестантизме? Первая идея была монархической, она становится теперь республиканской. Я плохо выражаюсь, но вы меня поймете». Вскоре после этого он пишет Вяземскому: «Не понимаю, за что Чаадаев с братией нападает на реформацию, т. е. на факт христианского духа. Что христианство в нем потеряло в своем единстве, оно приобрело в своей общедоступности (popularité)» (3 авг. 1831 г.). Пушкин, таким образом, считает нормальным постепенное развитие форм верований в христианской церкви и видит, что развитие совершалось на западе. Каково же его отношение к православию? Пушкин, начиная с середины 20-х годов, особенно в связи с собиранием исторических материалов для драмы «Борис Годунов», отчетливо сознавал все значение православия для русского национального духа и для русской культуры. В образах летописца Пимена и патриарха в «Борисе Годунове» он обнаружил и глубокую сердечную симпатию к традиционному типу православного благочестия, и гениальную способность понять и художественно воспроизвести его. Еще в юношеских своих «Исторических замечаниях» (1822) он порицает гонения Екатерины II на духовенство, утверждая, что этим она «нанесла сильный удар просвещению народному». «Греческое исповедание, — говорит он там же, — отдельное от всех прочих, дает нам особый национальный характер». Вредному влиянию духовенства в католических странах, где оно «составляло особое общество и вечно полагало суеверные преграды просвещению», он противопоставляет благотворную роль духовенства в России. «Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением». В письмах к Чаадаеву от 1836 г. он берет под свою защиту русское духовенство от нападок Чаадаева. «Русское духовенство до Феофана было достойно уважения: оно никогда не оскверняло себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы реформации в минуту, когда человечество нуждалось больше всего в единстве». Он, впрочем, соглашается, что русское духовенство в новейшее время отстало, но видит причину этой отсталости в чисто внешней обособленности его от культурного слоя русского общества. И не только Пушкин ценил православие, как творческую силу в истории русской культуры, но в последние годы своей жизни он и чисто религиозно чувствовал свою близость к православному благочестию, ощущал себя сам православным человеком. Свидетельством этого является хотя бы его известное стихотворное переложение молитвы Ефрема Сирина («Отцы пустынники и жены непорочны»).

И тем не менее, Пушкин бесконечно далек от славянофильской точки зрения. Он остается и здесь, как и во всем, трезвым и объективным. Мысль о вреде для России ее обособленного от Запада существования он распространяет и на оценку православия. Он сожалеет, что «схизма отделила нас от остальной Европы» (письмо к Чаадаеву, 1836). В приведенном выше письме к Вяземскому о воззрениях Чаадаева, защищая протестантизм, он прибавляет: «Греческая церковь — другое дело: она отделилась от общего стремления христианского духа». Это отделение было и остается, по мысли Пушкина, источником ее относительной слабости. Смирнова сохранила нам на эту тему еще один, в высшей степени интересный разговор Пушкина с Хомяковым. На утверждение Хомякова, будто в России больше христианской любви, чем на Западе, Пушкин «ответил с некоторою досадою»: «Может быть. Я не мерил количество братской любви ни в России, ни на Западе; но знаю, что там явились основатели братских общин, которых у нас нет. А они были бы нам полезны». Несмотря на свою высокую оценку русского православия и свою личную сердечную преданность ему, Пушкин, таким образом, сознавал, что в судьбе и фактическом состоянии православной церкви в России не все благополучно, и что России в этом отношении есть чему поучиться у западного христианства. Та же Смирнова передает следующие слова Пушкина: «Если мы ограничимся своим русским колоколом, мы ничего не сделаем для человеческой мысли и создадим только приходскую литературу».

Однако, это «западническое» убеждение дополняется у Пушкина чрезвычайно интересной философско-исторической мыслью, имеющей противоположную тенденцию. Татарское нашествие и вызванное им обособление России от Запада он рассматривает в перспективе всемирной истории и с этой точки зрения видит в них *особое служение России задачам европейски-христианской культуры*. Эту общую перспективу не понимали, по его мнению, ни европейцы, ни русские западники (в лице Чаадаева). По поводу западно-европейского отношения к России он говорит: «Долго Россия была отделена от судеб Европы. Ее широкие равнины поглотили бесчисленные толпы монголов и остановили их разрушительное нашествие. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Христианское просвещение было спасено истерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа, в отношении России, всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна» («О русской литературе, с очерком французской», 1834). Ту же мысль Пушкин повторяет в письме к Чаадаеву (1836): «Нет сомнения, что схизма отделила нас от остальной Европы, и что мы не участвовали ни в одном из великих событий, которые ее волновали; но мы имели свое особое назначение». Повторив приведенные выше слова о том, как татарское нашествие было приостановлено Россией, Пушкин продолжает: «Этим была спасена христианская культура. Для этой цели мы должны были вести совершенно обособленное существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас однако чуждыми остальному христианскому миру, так что наше мученичество дало католической Европе возможность беспрепятственного энергичного развития».

Но эта мысль о всемирно-историческом смысле и, следовательно, оправдании обособленности России и культурной отсталости ее прошлого дополняется в том же письме к Чаадаеву другой мыслью, в которой Пушкин энергично восстает против идеи Чаадаева об отсутствии в России вообще основ исторической культуры. Пушкин решительно отвергает этот взгляд типичного «западничества», с особенной резкостью выражений, как известно, в «Философическом письме» Чаадаева — взгляд, по которому все прошлое России есть какое-то пустое

место — существование, лишенное элементов истории культуры. Отвергнув опорочение Чаадаевым восточного христианства — православия — на том основании, что оно было заимствовано из презренной Византии (Пушкин метко парирует эту мысль указанием, что все христианство тоже возникло из презираемого всем миром еврейства) — он продолжает: «Что касается нашего исторического ничтожества, то я положительно не могу с вами согласиться. Война Олега и Святослава и даже удельные войны — ведь это та же жизнь кипучей отваги и бесцельной и недозрелой деятельности, которая характеризует молодость всех народов. Вторжение татар есть печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ход к единству (к русскому единству, конечно), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и окончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели это не история, а только бледный полузабытый сон? А Петр Великий, который один — целая всемирная история? А Екатерина II, поместившая Россию на порог Европы? А Александр, который привел нас в Париж? И (положа руку на сердце) разве вы не находите чего-то величественного в настоящем положении России, чего-то такого, что должно поразить будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?

М. О. Гершензон в своей книге о Чаадаеве справедливо говорит, что если бы от всего Пушкина до нас дошло только это его письмо, его было бы достаточно, чтобы усмотреть гениальность Пушкина. В этом главном документе отношения Пушкина к проблеме «Россия — Запад» — как в остальных, приведенных нами здесь его замечаниях, — обнаруживается гениальная способность Пушкина к синтетическому, примиряющему противоположности, восприятию, — к пониманию им исторической реальности. Против крайнего западничества Чаадаева он защищает ценность самобытной русской исторической культуры; против славянофильства он утверждает превосходство западной культуры и ее необходимость для России. И это есть не эклектическое примирение непримиримого, не просто какая-то «средняя линия», а подлинный синтез, основанный на совершенно оригинальной точке зрения, открывающей новые, более широкие духовные и философско-исторические перспективы.

РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПОЭТА

Г. В. Адамович. ПУШКИН. — «Современные записки», Париж, № 63.

Albssandro Puškin. Сборник статей под ред. Ло Гатто. Рим, 1937 (на ит. яз.). Среди авторов — А. Амфитеатров, Вяч. Иванов и др.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (11 февраля 1837 — 11 февраля 1937). Юбилейное издание Отдела Пушкинского комитета в г. Сиднее. Под ред. А. А. Фаминского. Сидней, 1937.

БЕЛГРАДСКИЙ ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК. Под ред. Е. В. Аничкова Белград, изд. Русского Пушкинского комитета в Югославии, 1937. Среди авторов — Г. П. Струве, П. Б. Струве, Н. С. Трубецкой, С. Л. Франк, В. Ф. Ходасевич и др.

А. Л. Бем. О ПУШКИНЕ. — Ужгород, 1937.

П. М. Бицилли. Образ совершенства. — «Современные записки», № 63.

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПУШКИНСКОГО КОМИТЕТА В АМЕРИКЕ Б. Л. БРАЗОЛЕМ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА, 24 ЯНВАРЯ 1937 ГОДА, В ИНТЕРНАШИОНАЛ ХАУС, В НЬЮ-ЙОРКЕ. — Нью-Йорк, изд. Пушкинского комитета в Америке, 1937.

Вейдле В. В. ПУШКИН И ЕВРОПА. — «Современные записки», № 63.

ВЕНОК ПУШКИНУ. В защиту руссного языка. — Белград, изд. Союза ревнителей чистоты русского языка, 1937.

ГАЛИЦКАЯ РУСЬ ПУШКИНУ В 100-ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ ЕГО СМЕРТИ. Сборник ствтей под ред. В. Р. Ваврика. — Львов, изд. о-ва «Галицко-Русская матица», 1937.

Гинс Г. К. ПУШКИН И РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ. 1837—1937. — Харбин, 1937.

Гофман М. Л. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА». — В кн.: А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Юбилейное издание. — Париж, изд. С. Лифаря, 1937.

Гофман М. Л. ПУШКИН И РОССИЯ. — В кн.: Сочинения Александра Пушкина. 1837—1937. Юбилейное издание Пушкинского комитета. — Париж, 1937.

Зеньковский В. В. ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА. — «Вестник. Орган церковно-общественной жизни», Париж, № 1/2.

Иванов Вяч. О ПУШКИНЕ. — «Современные записки», № 64.

Ильин И. А. ПРОРОЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ ПУШКИНА. Торжественная речь, произнесенная в Риге 27 января — 9 февраля 1937 г. — Рига, Русское Академическое о-во, 1937.

Карташев А. В. В ЛУЧАХ ПУШКИНА. — «Меч», Варшава, № 8.

Архимандрит Константин (К. И. Зайцев). СМЕРТЬ ПУШКИНА. Вступительный очерк к книге: А. С. Пушкин. Избранные произведения. — Харбин, 1937.

Кульман Н. К. ПУШКИНСКИЕ ДНИ В ШАНХАЕ. — «Современные записки», № 65.

ЛИК ПУШКИНА. РЕЧИ, ЧИТАННЫЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ БОГОСЛОВСКОГО ИН-ТА В ПАРИЖЕ. — Эстония, изд. журнала «Путь жизни», 1938. Авторы: протоиерей Сергий Булгаков, А. В. Карташев, В. Н. Ильин.

Лифарь С. М. ТРЕТИЙ ПРАЗДНИК ПУШКИНА. — Париж, 1937.

Львов Л. И. СТО ЛЕТ СМЕРТИ ПУШКИНА. — Париж, изд. Комитета по устройству Дня Руссной Культуры во Франции, 1937.

Милюков П. Н. ЖИВОЙ ПУШКИН. Историко-биографический очерк. — Париж, 1937 (два издания).

ОБЩЕСТВО ПУШКИНА В АМЕРИКЕ. Юбилейный сборник. — Нью-Йорк, 1937.

Орешин И. ЖИЗНЬ ПУШКИНА. — «Журнал содружества», Выборг, № 2.

Пушкин. ОДНОДНЕВНАЯ ГАЗЕТА К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПУШКИНА. Под ред. Н. К. Кульмана. — Париж, изд. Комитета по устройству Дня Русской Культуры во Франции, 1937.

ПУШКИН И ЕГО ВРЕМЯ. Альбом автотипий с сопроводительным текстом. Под ред. К. И. Зайцева. — Харбин, изд. Центрального Пушкинского комитета, 1937.

ПУШКИН И ЕГО ЭПОХА. Специальный юбилейный номер журнала «Иллюстрированная Россия», Париж, 1937. Среди авторов — И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Д. С. Мережковский и др.

ПУШКИНСКИЕ ДНИ В ПОЛЬШЕ. — «Русский Голос», Львов, № 6.

ПУШКИНСКИЕ ДНИ В ШАНХАЕ. 1837—1937. Шанхай, изд. Пушкинского комитета, 1937.

«REVUE DE LITTÉRATURE COMPARÉE», Paris, 1937, № 1. Специальный номер, посвященный Пушкину. Среди авторов — М. Л. Гофман, Г. Л. Лозинский и др.

РОССИЯ И ПУШКИН. 1837—1937. Сборник ствтей под ред. Н. Никифорова. — Харбин, изд. Руссной Академической группы, 1937.

«РУБЕЖ». Специальный номер, посвященный Пушкину. — Харбин, № 471.

Сабанеев Л. Л. ПУШКИН В МУЗЫКЕ. — «Современные записки», № 63.

СТОЛЕТИЕ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА. — Буэнос-Аирес, изд. «Руссние в Аргентине», 1937.

Трошин Г. В. ПУШКИН И ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА. — Прага, изд. О-ва Русских врачей в Чехословакии, 1937.

Федотов Г. П. ПЕВЕЦ ИМПЕРИИ И СВОБОДЫ. — «Современные записки», № 63.

Франк С. Л. ПУШКИН КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ. С предисловием и дополнениями П. Б. Струве. — Белград, 1937.

Ходасевич В. Ф. О ПУШКИНЕ. — Берлин, «Петрополис», 1937.

Цветаева М. И. СТИХИ К ПУШКИНУ. Мой Пушкин. — «Современные записки», №№ 63, 64.

Цветаева М. И. ПУШКИН И ПУГАЧЕВ. — «Русские записки», Париж, № 2.

Цуриков Н. А. ЗАВЕТЫ ПУШКИНА. Мысли о национальном возрождении России. С предисловием П. Б. Струве и его воспоминаниями о Блоке и Гумилеве. — Белград, 1937.

Протоиерей Иоанн Чернавин. А. С. ПУШКИН КАК ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН. — Прага, 1937.

Шмелев И. С. ПУШКИНСКИЕ ДНИ В ПАРИЖЕ. Речь 11 февраля 1937 года. — «Иллюстрированная Россия», № 9.

CENTENAIRE DE POUCHKINE. 1837—1937. Exposition «Pouchkine et son époque». — Paris, ed. par S. Lifar, 1937. С предисловием С. Лифаря, статьями М. Гофмана и С. Лифаря, речами на открытии выставки «Пушкин и его эпоха» в зале Плейель 16 марта 1937 г. Н. Пушкина и М. Гофмана.

ЛИТЕРАТУРА

Стихи.
Рассказ.
Портрет.



БОРИС КОЗМИН

ГРОМ ПОЛТАВЫ

главы из книги

«...кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза»

ИОАНН. 2, 11.

Виват! Виват! Виват! В последние годы, несмотря на частные неурядицы, а то и случавшиеся неудачи на театре затягивающейся войны и утверждения новой государственности, все чаще и чаще и с каким-то возвышенным оттенком звучала эта фанфарная здравица. Звучала она теперь, распространяясь от импульсивного Петра все более вширь и уходя вглубь. Родился и торжественный хоровой виватный кант с духовыми с непременным задорным «Виват!» Словом, все сущее пребывало в ожидании чего-то совершенно необыкновенного. В самом воздухе, казалось, витали еще пока разрозненные слова и звуки до того случая, события, которое и выстроит их в самый торжественно-восхитительный кант!

Петра чрезвычайно радовал хотя и медленный, но явный поворот россиян к самосознанию, который он торопил всеми средствами, обращаясь за опытом то к Европе, то к тирании Востока. И в этом был для озадаченных и вынужденных трепетать одновременно с обретением этого самосознания весь Петр. Неотвязная мысль, что личная встреча его с «братом Карлом» в генеральном сражении назрела и должна вот-вот произойти, чтобы, наконец, ответить на затянувшийся вопрос «кто есть кто», кто Александр, а кто Дарий. Эта обжигающая мысль мгновенно пробегала на его подвижном нервическом лице, не оставляя следа, — след, как круги на воде, расходился на окружающих. Все думы Петра и его соперника отныне сфокусировались на Полтаве, где оставлен полковник Келин с небольшим гарнизоном. Полтава для соперничающих монархов стала настоящим яблоком раздора. Петр ни под каким видом не мог ее уступить Карлу, чтобы тем самым не умножить его шансы, утраченные после разгрома Левенгаупта. Взятие Полтавы, где был и провиант, и снаряжение, это спасительная возможность для шведского короля-полководца осуществить реванш в окончательной перспективе.

Царь для укрепления Полтавы отправил князя Меншикова, который еще в начале мая подробно извещал его о последних событиях: о воинском совете, о тактических перемещениях, о мелких стычках с арьергардными частями противника. Карл между тем предпринял решительную осаду Полтавы. Лихие события, подобно фантасмагорическому колесу, что является в бредовом горячечном сне, накатывались с чудовищной, неотвратимой быстротой. Тридцать первого мая Абрам-арап с государем в сопровождении как обычно небольшой свиты вместе с почтовой оказией отправился к главной армии.

Положение осажденных становилось отчаянным в силу ряда причин: шведы с фанатическим упорством, вдохновленные своим полководцем, вгрызались со всех сторон в оборонительный земляной вал и уже прорвались в палисад Полтавы. Келин испытывал нехватку пороха. Единственным способом связи заблокированного гарнизона стали письма в лагерь Петра, посылаемые через головы шведов в холостых снарядах. Шестнадцатого июня царь собрал совет, решивший вопрос о генеральном сражении. Подводился итог многолетней маневренной борьбы. Совет постановил начать наступление на шведские боевые порядки 29 июня, будучи в полной уверенности, что к этому сроку подоспеют конники союзного хана Аюки и украинские казаки верного гетмана Скоропадского. В эти решающие дни великого противостояния царь Петр полностью и во всем взял на себя инициативу, проявив блистательные способности военного стратега и тактика. Исключив самую мысль о возможной неудаче, он привел основные силы своей армии к деревне Яковцы, оставив в тылу у себя обрывистый берег Ворсклы. Впереди — грядущее поле брани с перелесками и небольшими холмами и овражками, точно сама природа загодя приготовила все это разнообразие для большей картинности на предмет кровавой людской потехе. И она, эта природа, подсказывала, где и как следовало ставить лагерь, возводить бастионы, поднимать валы и рыть траншеи.

Конечно, природа природой, в чудо преображения созидал тяжкий труд российского воина, увлекаемого примером и кровавыми мозолями Петра, никогда не чуравшегося тягот черновой работы. В податливой песчаной почве, словно мираж, возник разумный, исключительно логичный по своей боевой предусмотрительности лагерь войск Петра, поставивший шведов в положение воюющей стороны как бы на два фронта, ибо полтавский гарнизон хотя и был истощен жестокой осадой, отвлекал на себя шведские силы и в кульминационный момент противоборства способен был удесятерить свое сопротивление врагу.

Петр как опытный шахматист явно переигрывал своего соперника теперь уже и в тактике, оставив «брату Карлу» его кичливую самоуверенность и упрямство. Выставив таким образом свои боевые порядки, Петр предусмотрительно лишил шведского полководца главного его козыря, — оперативного



простора для осуществления вихревого маневра. В условиях столь ограниченного пространства и пересеченной местности это было немыслимо. Что промелькнуло в голове Карла, когда во время ночной рекогносцировки он увидел зловещий мираж, созданный невиданно быстро по воле его московского соперника. По всему выходило, что теперь предстояло встретиться с другим Петром, кое-чему научившемуся за девять лет после Нарвы. «Ах, какой пьянящий кровавый пир! Тогда он играючи на просторе в едином порыве смял, свалил в Нарву под бесовскую круговерть непогоды огромное варварское войско...» — тут он вспомнил о незадачливом Дарии, о москале Петре и, конечно же, об Александре Великом. Мысль об Александре придала его осанке величавую выправку. Тогда он упустил царя, получив для себя слабое утешение, что тот, бросив все и всех, малодушно убежал с заржавленным исподним. Карл при этом едко и злобно ухмыльнулся. Девять лет много переменили, сделали его старше и умудрили до признания самому себе, произнесенного раздумчиво и вслух: «Вижу, что мы научили русских военному искусству», — и в этот миг шальная пуля, посланная русскими из ночной темноты, опрокинула легкую фигуру короля навзничь. Возникшей сумятицей рекогносцировка была прервана, и шведы не узнали о скрытно вырытых редутах на поле будущего сражения. Ранение Карла в ногу умножило его нервозность и горячность. Полагая, что нечего больше ждать и что промедление на руку только русским, к тому же ждущим подкрепления туземными ордами хана Аюки, он решился на массированную атаку. Ни на миг не сомневаясь в своем счастии и видя в Петре теперь достойного себе противника, он, превозмогая боль раны, горячечным воображением представлял себе, как остервенело будут драться его испытанные воины в этом генеральном сражении, сметая на своем пути всякие миражи, до которых изощрился москаль Петр. В борении с физическими страданиями, делая огромные усилия, чтобы внешне не проявился его недуг, и в этом почитая себя равным величайшим полководцам древности, он все более и более воодушевлялся, отдавая последние приказания, вслух предвосхищая следствия их действия на ход событий: «Мы сметем лагерь русских, — говорил он тихо и отрывисто, — мы возьмем их царя и заставим его идти перед нашими всадниками, чтобы он сам приказал сложить оружие своему строптивому Келину, а там после короткой сытой передышки и до Москвы рукой подать...». Королевские носилки между тем были уже приготовлены и войска выстроены. Карл, более выговорившийся перед свитой скорее про себя и для себя, был тих и немногословен перед строем. Он вспомнил былые сражения и победы и шутя пригласил своих воинов на пир в русский лагерь. «Мы совершим необыкновенное дело и приобретем славу и честь».



Фрагмент мозаики
М. В. Ломоносова
«Полтавская баталия»
с портретом
Абрама Ганнибала.

В дни, промелькнувшие пред великой баталией, Петр ни себе и никому не давал покоя или возможности остаться со своими мыслями наедине. В лагере совершалась постоянная работа, а с наступлением темноты, чрезвычайно скрытно за его пределами на арене будущей схватки в податливой песчаной почве рылись редуты с системой удобных переходов и сообщений. Новой яркой вспышкой озарилось давно минувшее в ветхой памяти дряхлого старика-арапа. И уставшее сердце, с трудом уже стучавшее в его иссохшей запалой груди, волнительно зачастило. Нахлынуло давно не посещавшее его воодушевление; перед мысленным взором, сбивая одно другое, проплывали видения преславнейшей из пережитых им за долгую жизнь баталий. И государь его Петр Алексеевич как живой виделся ему сейчас, а ведь когда все было, целая вечность минула, почитай семьдесят с лишком годов! Казалось, никогда, ни до, ни после не видывал он его таким ярким, решительным, собранным и могучим, как божия гроза, и таким ликующим и великодушным в звездный час победы и великого полтавского пира... А какое слово сказал в миг опасного течения баталии. Вот ведь душа была..., сколько в ней силы, страстей гнездилось, какое провиденье, чистое дело марш!!! — «Воины! Вот пришел час, когда решается судьба Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в благоденстве и славе, для благосостояния вашего». Сколько огня и высокого самоотречения во имя святого дела, что хватило же его не только на то, чтобы зажечь на подвиг не только ратников, но всю огромную, хмурую, полусонную страну, с великими усилиями утверждавшуюся в своем державстве. Достало же и ему, отходящему теперь, на всю долгую жизнь этого благодетельного огня. И всплыло вечное, евангельское: «И слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины...» Он вспоминал эту битву, и перед его мысленным взором вставала та далекая, та самая тревожная и яркая утренняя заря его жизни. Помнилось, что переход от рытья редутов к сражению был стремителен. Едва засветлел восточный небосклон и стали меркнуть звезды, как все пришло в движение при виде в прозрачном предутреннем сумраке надвигающихся грозным колыханием на наш лагерь шведских колонн. На место едва начатой разбивки новых шанцов в дополнение к уже готовым подошла и изготовилась к атаке конница Меншикова. Рывшие редуты и траншеи отошли в тыл на приготовленные рубежи, на ходу переэкипировываясь. От царского шатра, как на ладони, открывалась еще не обрызганная лучами солнца сумрачная панорама начавшейся баталии. Повсеместно усиливалось движение, а резкие звуки команд и скрежет металла безжалостно разрушал гармонию пробуждавшейся природы. Царь отдавал короткие приказания, и от его шатра во все стороны, оглашая дол лошадиным топотом, отскакивали в предутреннем полумраке вестовые, генералы и адъютанты. А он, юный арапчик, по воле провидения вынужденный привыкать к тревогам военного лиха, в полной экипировке вместе с усатыми трубачами, литаврщиками и барабанщиками, испытанными и заматерелыми за годы службы близ Петра, как и все они, изготовился к вдохновительному грому музыки Преображенского полка. В ежеминутно нараставшем волнении он не спускал глаз с государя и отца своего, укрепляя еще хрупкий юный дух через его решительный и волевой вид, приноравливаясь к развитию ситуации великой баталии, все, ему казалось тогда, сдвинулось, понеслось, полетело с еще никогда не испытанной головокружительной быстротой, и как сейчас помнилось ему это метание из озноба в жар через пелену пережитых с тех минут семидесяти с лишком лет, когда, не сознавая еще вполне, он догадывался о великой сути и значении свершавшихся на его глазах событий, через государя своего казавшихся «чистое дело марш!» — карой небесной шведскому супостату.

И хотя грозный супостат этот сейчас не оборонялся, как девять месяцев назад при деревне Лесной и в Долгих Мхах, показывая нам синие зады да ощериваясь остервенело огнем, а сам напирал во всю свою мощь, страстно желая сокрушить русский лагерь и непременно захватить самого царя. Казалось, противник выпустил в дело всю силу своего военного духа, чтобы томительное предвкушение немедленно стало явью вожделения. И это все явственнее прочитывалось на лицах надвигавшихся шведов. И это было то новое впечатление, которое он испытал в первые мгновения Полтавской битвы. Грозное колыхание надвигавшейся из светлеющего предвосходного прозрачного сумрака четырехколонной вражеской пехоты, сопровождаемой шестью колоннами картинно гарцующей кавалерии в зловещих переливах булата обнаженных сабель, оказывало на него чувство тревоги и едва подавляемого смятения. Мысленно всем своим существом он тянулся к своему пращуру, как к спасительной защите сикоморы, чувствуя хотя бы так уверенность и надежду на счастливый исход начавшегося дела. После короткого замешательства, вызванного схваткой с передовыми порядками наших сил, принявшими первый удар шведов, не ожидавших препятствия на этом этапе своего устрашающего марша, смяв наши передовые укрепления, лавиной хлынули полчища синих на лагерь Петра. Развитие лобовой атаки, только что организовавшееся и взявшее темп после первой заминки, — стушевалось, споткнувшись об очередной петровский редут. В остервенелой рукопашной схватке шведские львы, презирая русский штык и ружейный огонь, перемахнули и через этот, и через следующий барьер и, казалось, никакие редуты, рвы и бастионы, напичканные устрашающими жерлами пушек, не собьют этот вдохновенно-истерический наступательный порыв. Огнедышащей лавиной, сверкая в косых лучах только что выкатившегося из-за горизонта солнца, двигались шведы на наш лагерь. Мощь этого устрашающего вала, казалось, опрокидывала привычную логику. И то, что лагерь стоял царственно на возвышении, казалось, не играло никакой роли. Подобно морскому прибою синие распространялись все вперед и вширь, угрожая захлестнуть все, что ни есть, на своем пути. При виде этой неотвратности, он вспомнил, как пот холодной струйкой пробежал у него по хребту, обильно увлажнив исподнее. «Что же молчат наши пушки, аль онемело все при виде всего этого напора?!» — думал царев арап, с нарастающей тревогой переводя свой беспокойный взгляд с наступающих на государя, каменным истуканом вперившим грозный взор на поле, где шведы кромсали наших редутников, а лихие конники Меншикова рубили их, изо всех сил стремясь выбить у них это исступленное стремление прорваться к цитадели русской обороны. Кажущуюся невозмутимость Петра сводили на нет нервное подергивание его разлетных усиков да тик выпученных в ужасном выражении глаз. Дважды приказывал царь своему любимцу Данилычу отойти за линию редутов, чтобы сохранить кавалерию, но тот был как никогда еще упоен боем и явно достигал поставленной цели, сбивая пыл шведов. Ему именно теперь не терпелось доказать всем, а государю в первую очередь, свою правоту и превосходство в соперничестве пред Шереметевым, поставленным во главе всей армии. Это ослушание, как, впрочем, и видимый успех этого ослушания, был весь в выражении лика царя. Шведы, несмотря на продвижение через горы трупов редутников и лучших своих воинов, уже на начальном этапе сражения потеряли необходимый для конечного успеха боевой порыв и уверенность непобедимых. То, что прорывалось и без всяких слов в облике Петра, было понятно окружающим, — это спрятанное за суровостью и серьезностью глубочайшее внутреннее удовлетворение за счастливую и вовремя посетившую мысль о системе земляных оборонительных сооружений, в которых, как муха в меду, барахтается и жужжит резвый его соперник. Вот и выходит: тяжелей в ученье — легче в бою! Но всей громадной тяжести происходящего арап тогда не мог себе представить, уяснить. Ему казалось, что самое главное свершалось именно здесь, перед глазами государя и его, арапа, глазами. Где ему было понять тогда все тонкости едва нарождавшейся новой военной стратегии и тактики ведения генерального сражения. Впору б было уцелеть, как тогда при Лесной! Вот и кипели его мысли о лениво, как ему казалось, рыкавших на разъяренного врага пушках, и о государе, почему-то медлившем. Но не молчали пушки, а очень даже исправно швырялись пригоршнями свистящей картечи по скоплениям наседавших шведов, и государь кипел весь внутренне, с исполинской своей высоты озирая баталию. Ему не терпелось дать полную волю своим бомбардирам, почувствовавшим и узревшим зону своей досягаемости, однако кавалерия Меншикова, ввязавшаяся в валовой бой с пехотой и конницей шведов и заметно прибавлявшая к общему успеху своим ратным вдохновением, не позволяла дать полную волю полевой артиллерии. Царь внутренне кипел...

Холодно взирая с возрастающим вниманием на течение битвы, Карл пришел к убеждению, что «смести ненавистный мираж москаля Петра» лобовой атакой ему удастся ценой слишком больших потерь. Его всерьез начинала тревожить все возрастающая мощь русской артиллерии. Чтобы прекратить дальнейшие чрезмерные потери, он приказал Реншильду осуществить обходной маневр, отступившись от штурма редутов. Вскоре всем на удивление: конным и пешим, и музыкантам, и трубачам, и бомбардирам, находившимся близ своего царя, окруженного представителями штаба, — предстала резко изменившаяся картина баталии. Словно по волшебному мановению устрашающая волна шведского прибоя, повинуясь зову трубы, прорезавшей все звуки бранного ада, отхлынула с очередной вершины своей амплитуды и, сменив фронтальное направление на боковое, с сумасшедшей стремительностью двинулась в сторону Будищенского леса, окаймлявшего арену битвы с правой стороны. У Абрама-арапа на некоторое время отлегло от сердца. Видя, что враг откатился, устремясь в сторону, непосредственно пока не угрожая ни ему, ни государю, ни всем, кто был рядом, через кого поддерживался его зыбкий отроческий дух, он уже не задавал себе безмолвных безответных вопросов, не упрекал в нерасторопности государевых бомбардиров и в оцепенении своего августейшего крестного.

Мысли, мысли, мириады мыслей, полчища серых мышей и крыс; то мерзкий шорох, то жуткий грохот, словно эти полчища серых, синих, зеленых под гул и ужасный треск, резкой болью отдававшейся в его конвульсивно вздрагивающей голове, шипели, пищали, вопили и выли на крутящихся, вздымаашихся и проваливавшихся ледяных торосах волжского ледохода. Мысли мешались, путались, нагнетая волнение и удушье. Тщедушная плоть старика-генерала, погруженная в глубоких креслах, то вздрагивала под воздействием безжалостных мыслей-воспоминаний, то затихала, умиротворяя и примиряя ее с безжалостным миром, и этой мыслью была мысль о бесконечном ледоходе и торосах, на которых он порой карабкался изо всех своих сил к небу, к солнцу, за жизнь, за глоток воздуха. Эта мысль торжествующей второй оттеснила другие, нейтрализовав на время сильные вспышки воспоминаний о знойной, кровавой Полтаве. Полузабытье и успокоение, мерное кружение, торосы и подушки, подушки и торосы..., далекие невнятные голоса, едва уловимые шорохи. Тяжелый сон после непосильного борения дум снизошел на Ганнибала.

За окнами покоев суйдинского барского особняка торжествовал благоуханный сине-сиреневый май. Все сущее, пробудившееся от долгого полунощного сна, правило свой радостный, избыточно щедрый, животворящий бал. Далекая звень жаворонка и близкое щелканье, переходящее в невыразимо чарующие контральтовые рулады соловья, мерно и властно, подобно надрывным полевым командам, резались перекличкой близких и дальних петухов, и где-то уж совсем рядом, под окном, в чащобе жасмина хрипло, вяло ростилась курица, вероятно вот-вот готовившаяся снестись. Всюду жизнь и созидательная суета, суета сует и всяческая суета. И все в этом мире совместимо и примиримо, пока по глупой человеческой спеси не пущена кровь, и муки одного существа не претерпеваются в усладу и удовольствие другому.

Очнулся Ганнибал встрепенувшись. Первой мыслью после глубокого и полного забытья была мысль о возвращении к яркому свету солнечного мая, проникавшему через все его существо, к дыханию трудному и натужному, к бренному его бытию. Остатки жизненных сил приметно истаивали, слабыми токами сопротивляясь надвигавшемуся распаду. Все види-

мое внутренним зрением и все слышимое внутренним слухом, славное, прелестное, ужасное, — подумал он было, — исчезало, минуло навсегда, обратилось в прах, оставив ему бесконечное блаженство бесчувствия у трона предвечного, ан, нет... Творцу угодно, чтобы в памяти пережил он еще свои бренные земные печали и радости; что ж... «Пока я мыслю — я существую... Кто это сказал?» — вяло и болезненно подумал старик, не найдя ответа и отгоняя, как назойливых мух, думы, изнурившие его до благословенного забытья. Но как пламя догорающей свечи, перед тем как погаснуть, издает последний судорожный всплеск, так и его воображение все более распалялось. Мириады мирных звуков, слитных, согласных, то резких и разнобойных, доносившихся в покои извне, каким-то чудесным образом перерождались в иные звуки, словно они неслись не из окна, а из далекого далека, с кровавых полей Полтавы. Вновь кружились, мешались с воплями и скрежетом тягучие и стремительные зеленые и синие людские потоки, осененные стягами, вдохновляемые трубными звуками, барабанным треском, расцвечиваемые густыми бело-розовыми клубами неистовой пушечной пальбы. Обольщенные возможностью обойти русские укрепления в проходах между редутами и Будищенским лесом, шведы во главе с фельдмаршалом Реншильдом ломились окружным путем, попутно в горячке боя кромсаясь с редутниками. По ходу движения, подобно метеору, вошедшему в плотные слои атмосферы, шведская лавина обгорала по краям, теряя целые части, ввязавшиеся в рукопашную схватку. Колонны генерала Росса спровоцировались подавшимися назад к Яковецкому лесу русскими частями. Реншильд, обнаружив наметившийся раскол в своих войсках, вынужден был для исправления опасной ситуации и выручки Росса направить кавалерию генерала Шлиппенбаха. Петр, во все время не отрывавший глаз от подзорной трубы, чрезвычайно возбужденно засек момент разъединения шведских войск. Тотчас же велел он Меншикову, уже отошедшему, передать свою кавалерию, сдерживавшую атаки шведов при самом начале баталии под командованием Боура, а самому взять пять свежих конных полков и столько же батальонов пехоты и атаковать со стороны Яковецкого леса. Царский фаворит, получив приказ, как бы засвидетельствовавший еще раз перед всем штабом его вес и незаменимость в глазах верховного властелина, со свойственной ему удалью и рвением ринулся на шведов. В скоротечной и свирепой сече он уничтожил конницу Шлиппенбаха и обратил в бегство пехоту Росса. С момента смещения центра баталии в сторону Яковецкого леса в обескровленные петровские редуты усиленно вливались новые силы. Становилось ясно, что с самого начала план генерального сражения осуществлялся по разумению русского командования. Скоро к ногам Петра были возложены первые вражеские знамена и штандарты. Карл не хотел верить собственным глазам, надменно взирая на происходящее, но счастье ему изменило уже теперь, сейчас и навсегда... Его соперник, коего почитал он не иначе как варварским предводителем, царем москалей, пожалуй даже новым Дарием, цепко держал в поле зрения всю баталию, мгновенно отвечая на все тактические и стратегические меры противника. И конечно уж опрометчивым было решение шведского короля вновь переметнуть массированную атаку на те редуты, которые поглотили смерч первой шведской атаки и показали, что наступающие способны быть неудержимыми, а обороняющиеся непреодолимыми. Теперь, когда маховик массового истребления зеленых синими и синих зелеными набрал полные обороты своего вращения, а оцепенение первых мгновений кровавой бойни у всех затуманилось вырвавшимся озверением, душевное равновесие русских было явно предпочтительнее. Как не перестраивали они свои колонны по ходу продвижения между петровскими редутами, неся большой урон от огня окопников, еще большие потери сулила иссякающая у них уверенность в успехе нового маневра. Ненависть Карла затмила его разум, — тьма ненависти ослепила ему глаза. Грозным знамением заката его полководческой славы стала налетевшая на поле брани пыльная буря, приближения которой средь ослепительного утра никто не заметил, но в пяти шагах не видно было ни зги. Проплывавшие через редутные коридоры шведские колонны и нещадно обдираемые по бокам огнем фузелеров и окопных ружейников восприняли непроницаемую пыльную завесу как благоволение фортуны. Пыльный смерч сместился, унося ввысь, в тучи песка, русские и шведские треуголки с убитых и сорванные с живых, стяги и штандарты. «Неумолима божия стихия, и как мал перед ее могуществом человек, — подумал старик, — вот и стяг-святыня взмыл в небеса». Буря промчалась, как тяжкое наваждение, солнце воссияло вновь, и изумленным шведам, только что прошедшим огонь русской обороны, в двадцати саженях предстал совсем не мираж, а грозные бастионы, напичканные пушечными жерлами. И уже в следующее мгновение взметнулся сокрушительный артиллерийский смерч. Пушкари палили ядрами и картечью прямой наводкой в смешавшиеся и обезумевшие толпы синих. В густой синей массе мятущихся шведов появились ужасные кровавые провалы. Скоро обозначился их панический отход, перешедший в бегство к Будищенскому лесу.

Абрам-арап, повеселев, тешил уже себя надеждой, что теперь-то все кончено, что вот-вот затрубят победу, но не так думали другие, а главное сам государь, велевший вывести основной резерв армии для генерального построения перед своим лагерем, на тот случай, если Карл предпримет новый штурм. На правый фланг выведено было восемнадцать драгунских полков Боура. Левый фланг заняла конница Меншикова, только что вернувшаяся после сражения в Яковецком лесу. В центре выстраивалась в две линии пехота под командованием Репнина. Полковая артиллерия Якова Брюса перешла на расчетную позицию, чтобы снова в случае ожидаемого вражеского приступа, поймав поле досягаемости, обрушить град ядер, потрясти врага, согнуть его, а остальное довершат конные и пешие ратники, взяв в клещи рассеянные и смешавшиеся колонны противника. Скоро такое предположение дальнейшего течения баталии стало ясно войскам и ему тоже — самому молодому свидетелю и участнику этого чудовищного кровавого вертепа. Но в то самое время, когда, казалось, самое угрожаемое уже было позади, ему пришлось испытать самые страшные мгновения Полтавской битвы. Войска строились, перемещались, пополнялись на поле, изрытом артиллерией, истоптанном тысячами конских копыт, усеянном и заваленном трупами людей и животных, обильно политом жухнущей на солнце кровью; на поле, где корчились еще умирающие. На этом поле только что пораженной и уничтоженной шведской атаки проскакивали одинокие ошалелые вражеские всадники из рассеянной кавалерии. Иные скрывались, других успевали снять с седел наши мушкетеры. Увлеченные прицельной стрельбой по дальним целям, наши каким-то необъяснимым образом проглядели пробравшегося шведского офицера, рванувшегося во весь опор с обнаженным клинком в толпу наших генералов с явным намерением заколоть царя. Произошло все в одно мгновение. Государь величаво гарцевал перед трусившей за ним командой генералов, готовясь произнести команду или обращение к войскам. В это самое время за спиной у него раздался, заставивший всех встрепенуться и похолодеть, резкий хлопок пистоли. Это фельдмаршал Шереметев, возрастом самый почтенный, плотью дородный, медлительный тугодум, изловчившись, почти в упор всадил пулю шведу в горло. В следующее мгновение обмякшее его тело, вылетев из седла, грузно шмякнулось о могучий круп государева жеребца, обагрив его фонтаном крови. Вся фигура царя нервно вздрогнула от неожиданного толчка, будто по хребту его юркнула змея. Он резко обернулся, широко разрезав воздух своим палашом и звякнув шпорами, страшно взглянул выпученными глазами, над которыми неестественно высоко взлетели брови, все понял, оценил, не произнеся ни звука. У арапа, бывшего всего в семи саженях и видевшего это, стало сухо во рту.

Речь перед выстроившимися войсками была произнесена. Государь призвал властно, пламенно и вместе доверительно, чтобы до каждого дошло, постоять «за государство, Петру врученное, за род свой, за народ Всероссийский...». В девять часов утра, после четырехчасовой маневренной бойни, перестроенные части противоборствующих армий грозовыми тучами двинулись в лобовую атаку. То, что произошло в часы раннего утра и до сего момента 27 июня 1709 года, вселило в души русских воинов дух необоримой уверенности и самосознания. Слово Петра укрепило в каждом то, что где-то подспудно уже давало о себе знать в каждом сердце. И как же не постоять «...за род свой, за народ Всероссийский...» Не только искусство бомбардиров, но сила и выручка недавних мужиков, из которых бывали и бегло-шатающиеся, неприкаянные, битые и терзаемые тиранством собственных господ, — теперь же обретшие смысл своего существования. Облаченные в солдатские мундиры того же цвета, что и на самом государе, они живо приноровились при встречах лицом к лицу к вышколенным, закаленным, надменным, вымуштрованным, снискавшим себе славу непобедимых шведам. Бомбардиры же, коим Петр отдавал всегда предпочтение, являясь застрельщиком и в литье пушек, и в упорных учениях, показали уже умение сводить на нет всю доблесть противника. Вот и теперь генерал Брюс оперативно передислоцировал свое грозное хозяйство на позиции, ожидая зоны досягаемости. Поступь приближающегося врага была решительно озлобленной, как дерзкий последний вызов судьбе. От самоуверенности предрассветного нашествия не осталось и следа. Карл прозревал, лихорадочно перебирая в уме своем просчеты, уразумев твердо, что перед ним совсем не Дарий; кто-то иной... Это иной — Петр... Петр — скала, камень! — Нашла коса на камень. Все, все на алтарь грозного Ареса! Все, все. Последний риск и даже риск великой жертвы короля во имя поднятия духа воинства. Среди священных своих хоругвей, вознесенный над головами пехоты, в ритм маршу покачивался, сидя в качалке, маленький полководец. Он делал невидимые усилия, чтобы подавить телесные и духовные страдания, стараясь вдохновить своих воинов. При сближении началась ружейная дуэль. С обеих

сторон, как снопы, повалились первые жертвы. Густые белые пушки порохового дыма ружейной пальбы, сникая на утреннем дуновении, тянулись сплошным шлейфом в лица наступающих. Их собственная пальба им самим же застилала глаза, но они шли, утверждая шаг, невозмутимо оставляя падших. Вдруг справа, сотрясая все окрест, грохнули наши пушки, отсекая дальнейший путь продвижения противника градом картечи и ядер. Огненно чугунный выпад русского Фауста, как прозван был генерал Брюс, положил гурты кровавых тел, но шведский строй тут же сомкнулся, убыстряя ход навстречу рукопашной схватке. Передовые линии, сойдясь зрачок в зрачок, смешались в диких воплях и скрежете металла. Сзади на тех и на других напирали свежие, еще не пустившие в ход оружия. Когда валовой бой протянулся по всей линии столкновения, заметным стало давление, напор и продвижение шведов. Это был тот случай, когда наступающие все больше открывались для безответного уничтожающего огня русской артиллерии. Истерика и безрассудство двигало шведами. Они несли невосполнимый урон, но упорствовали, уповая на прошлые удачи и неукротимый дух. После очередного залпа, как в волнах, скрылась королевская качалка, задергались и сникли на мгновения шведские хоругви. Истошный крик «Король убит!» сильнее тысячи пушек потряс шведскую армию. Паника готова была охватить всех. Но король уцелел. Прямым попаданием ядра вдребезги разнесло качалку, слегка контузив его самого. Быть может в последний раз в жизни блеснул он великим мужеством и самообладанием, собрав силы подтянуться и сесть в седло. На глазах у всего штаба произошло преображение в шведской армии, еще мгновение тому назад готовой не устоять перед вспышкой гибельной паники, теперь же, видя своего полководца не в качалке, а в боевом седле с энергично поднятой шпагой, его боевые соратники удесятерили и дух свой, и волю. Удар нанесен был там, куда указывала королевская шпага. Отхлынув всей массой вправо и сократив таким образом фронт поражения от наших пушек, они вломились всей своей мощью на том участке сражения, где в серых мундирах новобранцев бился первый батальон Новгородского пехотного полка. Удар пришелся такой силы, что создалась угроза прорыва и расчленения наших сил. Петр, нервно дергаясь на горячем своем жеребце, то и дело взметывал подзорную трубу в ту сторону, где особенно остро пахнуло опасностью. В фокусе окуляра у него все прыгало. Несколько раз мелькнула и пропала на вздыбленном коне фигурка «брата Карла», увлекавшего на штурм наших порядков своих пехотинцев. Петр воспринял ситуацию как личный вызов короля. Кровь в нем вскипела. Откинув трубу, он с бешеной резкостью выхватил из ножен саблю и лично повел в атаку второй батальон новгородцев. Он же — арап, царев крестник, стараясь не глядеть в упор на это неслыханное и неохватное кровавое действо, как заведенный, отправлял свою барабанную службу. Мгновенное исчезновение государя его встревожило и почти повергло в смятение. Он беспокойно отыскивал глазами свою ускакавшую защиту, поминутно смешиваясь и давая сбои в общей стройности барабанного боя. Седоусый сосед, понимая через себя и его волнение, ободривал мальца, вворачивая и нелегкие увещевания в свою обрывочную речь: «Строй! Строй! Куда зыркаешь!? Так, так... Да не верти ты своими арапскими бельмами! Погодь, сейчас воротится, поправит дело и воротится...» Царский крестник понимал, что сабля или палаш в руке его государя неукротимы, а ведь пуля-то дура, как говорят все старики, не разбирает. И он, с трудом стоя, не мог отделаться от насевшего роя тревожных дум. Между тем картина баталии преображалась на глазах. Петр, как это только что сделал Карл, личным примером увлек воинов в атаку, чтобы предотвратить прорыв. Участие в сражении самого государя эхом пронеслось по всем русским полкам, необычайно взвинтив всех и каждого осознанием, что наступил кульминационный момент генеральной битвы. Шведское продвижение захлебнулось. В это время с флангов обрушились конницы Меншикова и Боура. Армия противника уподобилась мятущемуся горному потоку, которому вдруг путь преградил обвал. Началось круговое движение синих в поисках бреши и выхода из все более ощущаемой теснины. Там, где Петр заблокировал намечавшийся прорыв, началось наступление, перешедшее на все участки фронта, фланговые удары конных полков потрясли противника. Карл потерял власть над войсками, напрасно взывая: «Шведы! Шведы!», его никто не слышал. Его участь уподобилась в этой свалке тысячам других его воинов, смешавшихся и потерявших боевой манер. Отчаяние умножило истошный крик фельдмаршала Реншильда лежащему на земле в конвульсивной позе Карлу и силившемуся подняться: «Ваше величество, наша пехота погибла! Молодцы, спасайте короля!» В это же время, словно опомнившись, несколько дюжих гвардейцев из отряда личной охраны короля выхватили их кровавой толчеи его маленькую фигуру, посадили на коня и, минуя очаги особенно ожесточенных схваток, сметая всех со своего пути и оставив на поле брани около десяти тысяч павших своих воинов, неслись наутек. К отряду королевских телохранителей по ходу примкнул отряд казаков, верных кавалеру ордена Андрея Первозванного, Ивана Мазепы. Вот ведь судьбы людские! И кто же мог еще давишним вечером помыслить о такой конфузии великого Карла, во весь опор летевшего с окровавленным лицом, прижатого к луке седла, в сторону Переволочины. И с ним сам друг его гетман седоусый, посеревший, постаревший, согбенный, словно к земле его давила царская 12-ти фунтовая шутовская медаль, присужденная за Иудин грех, взамен отменного Ордена. Вот уж поистине... Стремясь ко славе, не обмишенься угодить на лобное место...

По всему полю началось избиение еще сопротивлявшихся. Наши драгуны преследовали бегущих шведов и отлавливали тех, которые успевали достичь Будищенского леса. Большая их часть шарахнулась к своему лагерю близ Полтавы, но там их встретил вышедший из города полковник Келин со своим гарнизоном. Началась массовая сдача разгромленного противника.

Петр, уже на другой лошади, чрезвычайно возбужденный, с простреленной шляпой, встреченный громовым русским «Ура... а..а..», проскакал перед полками, еще не успевшими выстроиться для победного смотра. Местами на поле брани еще раздавалась ружейная трескотня. Ею наши принуждали к сдаче схваченных в тиски окружения. Их оказалось 2874 солдата и офицера во главе с маститым фельдмаршалом Реншильдом. Взят в плен был и первый министр короля Пиппер, и вся канцелярия, и королевская казна в два миллиона саксонских золотых ефимков. Отнято было 264 знамени и штандарта, а также знаки с личными вензелями Карла Двенадцатого. Победа! Триумф! Такого ратного блеска Россия еще не знала. При всей исключительной серьезности и нашей озабоченности, предшествовавшей генеральной баталии, потери победителей были несравнимы с неприятельскими. Не считая себя нравственно обязанным в этот миг высшего своего торжества выказывать перед всеми сочувствие раненым и изувеченным, коих было более трех тысяч, а павших немногим более тысячи, он, как никогда прежде, был воспламенен гордостью за этих героев, постоявших до конца «за государство, Петру врученное, за род свой, за народ Всероссийский». Он был суров, торжественен и в то же время радостен, как и весь финал этого созидательного для его державы кровопролития.

Пальба умолкла, уступив господство на всем пространстве поля брани далеким и близким армейским командам. Взятые в плен и обезоруженные шведы хоронили своих, наши уже растили курган Вечной памяти над братской могилой своих братьев. У всех без исключения были дела и заботы, обращенные к жизни. Оседала высоко поднятая бранным смерчем пыль, рассеивались и уносились легким июньским ветерком запахи порохового дыма и гари. Земля навсегда укрыла последних скитальцев юдоли тягот и печалей. Сколько ушло за всем этим времени, никто не ведал, но, бросив взгляд на подконвойный преображенцами шведский генералитет, сбившийся толпой в отдалении, царь с громко устрашающим возгласом обратился неизвестно к кому: «Ба...а! а где же брат мой Карл!?» Тут же сообразив, что Карл выскользнул и наверное уже далеко, Петр хищно сверкая глазами и злобно улыбаясь, велел немедля Боуру с его конницей и Голицыну с гвардией догнать! Разыскать! И непременно доставить к готовящемуся пиру столь желанную персону. Заметно сникшие конники и гвардейцы, терявшие радость победного пира, тут же воспрянули духом, услышав из государевых уст о несравненных посулах и щедротах за выполненный приказ.

«На полпути земного бытия, утратив след, вступил я в лес дремучий...» — пришла вдруг старцу эта мысль из Данте, отринув те, другие, тиранившие его неотступно, как назойливые мухи. Он глубоко и прерывисто вздохнул, сделав вслед за этим долгий выдох, словно совершил тяжкий, непосильный труд, выбравшись из вязкой трясины далеких неотвязных воспоминаний. Мысли его переметнулись было на другое, но как-то незаметно, через Голландию и Францию, испанский плен, к парижскому блеску и его вертепам; через Аруэта, недавно почившего, к его «Истории России при Петре Великом» вновь на поле Полтавы. Его мысли сопрягались с мыслями Аруэта и снова все вернулось на круги своя. Снова возник в его воображении государь-победитель, «охваченный радостью, скрыть которую он не давал себе труда...». Он виделся ему на поле битвы, и как приводили к нему толпы пленных, а он их беспрестанно вопрошал: «Где же брат мой Карл?» — и тут же пенил свой щедрый бокал, целуя в уста своих героев и именитых пленников, провозглашая здравицы и виваты в честь своих учителей в военном искусстве. Фельдмаршал Реншильд, совершенно озадаченный, не удержался от вопроса, кого же царь почтил таким славным титулом. «Вас, господа шведские генералы», — был ответ государя. «В таком случае, ваше величество, — сказал фельдмаршал, — вы очень неблагодарны, раз так дурно обошлись со своими учителями». Мужественно грациозная мысль знаменитого, но поверженного военачальника вознаграждена была прибавлением всеобщего веселья и ликования во славу великой победы.

П. Н. БЕРКОВ

СУДЬБА ЖОРЖА-ШАРЛЯ ДАНТЕСА И ЕГО СЕМЕЙСТВА

Одно из самых ранних моих воспоминаний относится к тому времени, когда мне было четыре-пять лет.

Помню, я сидел на окне и рассматривал книгу, которая успела уже стать моей любимой, — однотомное павленковское издание произведений Пушкина с иллюстрациями. Многие стихотворные отрывки из сказок и «Евгения Онегина» («Зима! Крестьянин, торжествуя...») я знал уже наизусть и особенно любил рассматривать иллюстрации к сказкам. В тот день мое внимание привлекла репродукция картины А. А. Наумова «Дуэль Пушкина». По моей просьбе мать (в доступной, конечно, моему детскому пониманию форме) разъяснила мне смысл картины; рассказ ее заставил меня горько плакать, и с этого дня я страстно возненавидел Дантеса.

Когда я подрос и стал много читать, меня особенно интересовала биография Дантеса. Мне хотелось узнать, что стало с убийцей Пушкина после его высылки из России, как сложилась его дальнейшая судьба, виделся ли он потом с кем-либо из людей, связанных с дуэлью, и т. д. Ни в энциклопедиях, ни в популярной пушкиноведческой литературе ответа на эти вопросы я не находил.

Лишь около 1917 года в мои руки попала книга П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (Пг., 1916), которая дала ответ на некоторые интересовавшие меня вопросы. В ней была помещена статья внука Дантеса, Луи Метмана: «Жорж-Шарль Дантес. Биографический очерк»...

Как и следовало ожидать, это была благонамеренная и почти панегирическая биография, ловко сглаживающая все острые углы жизненного пути Дантеса-Геккерна. Из нее, не зная других источников, можно было бы составить о Дантесе представление как об одном из замечательных политических и финансовых деятелей Франции второй половины XIX века, которыми должна гордиться их родина. Позднее я узнал отзыв К. Маркса о Дантесе: «известнейший выкормыш Империи».

Так, вероятно, и остались бы некоторые моменты биографии Дантеса для меня неясными, если бы случайно не попалась в мои руки незадолго до Великой Отечественной войны подборка газетных вырезок. Ее составитель на протяжении 30 с лишним лет собирал газетные статьи и заметки, посвященные убийце Пушкина[1].

Это была небольшого размера, довольно толстая самодельная тетрадь из плотной белой бумаги, в красной обложке из еще более плотной бумаги; в ней были тщательно наклеены в один столбец вырезки из разных газет с 1880 по 1912 год с точным указанием, в какой газете и когда была напечатана та или иная статья или заметка.

На первой странице было четким, красивым почерком конца XIX века написано: «Убийца Пушкина. Судьба Ж. Дантеса и его семьи». В нескольких, очень немногих местах тетради тем же почерком были сделаны приписки. По ним и по всему подобранному материалу можно было предположить, что составитель тетради имел намерение обработать накопленные сведения в форме статьи. То обстоятельство, что последняя вырезка сделана была из газеты «Раннее утро» от 15 марта 1912 года и что книга П. Е. Щеголева с подробной статьей Луи Метмана о Дантесе вышла через несколько лет, дает некоторое основание предполагать, что составитель сборника вырезок, познакомившись с книгой Щеголева, отказался от своего многолетнего замысла. Впрочем, может быть, эти факты и не связаны.

Прочитав эти газетные вырезки, я пришел к выводу, что, несмотря на то, что исследователи в советское время уделили довольно много внимания Дантесу, собранные неизвестным лицом материалы и сделанные им приписки представляют все же интерес, так как содержат некоторые факты, неизвестные в литературе об убийце Пушкина.

Естественно, у меня возникла мысль привести в порядок эти материалы и написать на их основе статью, но другие работы постоянно отвлекали меня, и замысел мой остался до сих пор неосуществленным.

Сейчас мне кажется более целесообразным перепечатать все эти газетные вырезки в том виде, в каком они находятся в знакомой мне тетради, — может быть, кое-где сократив их, — вместе с приписками ее составителя и отдельными моими замечаниями. Приписки неизвестного составителя я специально оговариваю.

Первая статья была помещена в июне 1880 года в московской газете «Русский курьер» вскоре после знаменитых пушкинских торжеств в связи с открытием в Москве памятника поэту.

Это была корреспонденция постоянного парижского сотрудника данной газеты, человека, достаточно осведомленного, как можно судить по другим его статьям, но здесь допустившего ряд неточностей.

«В то время, как в России празднуется открытие памятника отцу нашей новейшей литературы, читателям «Русского курьера», быть может, будет небезынтересно знать кое-какие подробности о том, кто лишил нас великого поэта.

Дантес-Геккерн жив до сих пор и живет постоянно в Париже на Елисейских полях. И не только он жив, но даже его отец, бывший министр при Луи-Филиппе, благополучно здравствует, хотя ему теперь не меньше, вероятно, девяноста шести лет[2]. По возвращении из России Дантес-Геккерн оставался в неизвестности до 2 декабря 1851 года, когда он поступил на службу к Наполеону III[3]. Признательный авантюрист наградил его за это чином сенатора с 60 000 франков жалованья в год[4]. Он — тот самый Геккерн, о котором так нехорошо говорит Виктор Гюго в своих «Châtiments»[5]. Дантес-Геккерн был женат, как известно, на Екатерине Николаевне Гончаровой, сестре Натальи, жены А. С. Пушкина. От этого брака родились три дочери и один сын. Одна из этих дочерей вышла замуж за Вандаля, директора почт при империи, и главным образом директора так называемого «черного кабинета», чем он и приобрел себе печальную известность во всей Франции. Другая дочь замужем за бонапартовским же генералом Метманом, а третья — душевно больная уже в течение десяти лет».

В этой статье слова, начиная от «а третья» и до конца, обведены красными чернилами, и рядом с ними сделана приписка составителя подборки: «Ее звали Леония-Шарлота. Она была влюблена в Пушкина. См. о ней подробнее в корреспонденции И. Яковлева». (Действительно, в одной из дальнейших статей в красной тетради, в корреспонденции «Нового времени» за 1899 год, оказались поразительно интересные сведения о третьей дочери Дантеса, которые читатель найдет в соответствующем месте.)

Вторая вырезка была взята из статьи М. Загуляева «Убийца Пушкина» («Новое время», 1887, 14 января, № 3907...). Статья эта была помещена в связи с предстоявшим 50-летием со дня гибели поэта.

Рядом с фамилией М. А. Загуляева есть приписка составителя: «Беспардонный лгун и хвастун!» М. А. Загуляев (1834—1900) — буржуазный журналист, известный в свое время в качестве поставщика сенсаций, чаще всего выдуманных им самим. Статья его «Убийца Пушкина» — один из образцов необузданной фантазии или же патологической лжи, которые вообще были присущи этому представителю тогдашней русской прессы.

«Убийцу Пушкина ошибочно считают французом по происхождению. Побочный сын голландского посланника, барона ван-Геккерна и неизвестной матери, Дантес был принят в русскую военную службу в качестве голландца, по протекции, как уверяли, покойной голландской королевы Анны Павловны. Выросши в кружках, близких к Пушкину, я слышал не раз от людей, сведущих в тогдашней великосветской хронике Петербурга, что имя «Дантеса» было именем кормилицы ребенка, каталонки по происхождению, выдававшей себя за его мать. Действительною же матерью многие считают голландскую королеву Гортензию, родительницу Наполеона III, так что Дантес приходился бы по этому толкованию единоутробным братом известному герцогу де Морни[6].

Право французского гражданства Дантес, уже усыновленный бароном ван-Геккерном, получил только при Второй империи и вскоре после этого был сделан сенатором.

Позднее он был членом Национального собрания 1870 года, и мне лично довелось быть свидетелем, как на него с отвращением указывали многие французы, называя этого бонапартиста «убийцею Пушкина».

В 1873 году, весною, такая выходка заставила барона Геккерна поспешно ускользнуть из вагона версальской железной дороги, в котором поместился я в компании с двумя членами Национального собрания».

Приведенная статейка Загуляева — сплошная фантазия и представляет интерес только в качестве примера того, что печаталось семьдесят пять лет назад в пушкинские дни в газете, не считавшейся «бульварной».

Следующая, третья по счету вырезка также носит название «Убийца Пушкина» и является статьей некоего П. Р. С., которая была напечатана в «Московских ведомостях» от 28 октября 1895 года (№ 297...). Незадолго до этого, 2 ноября по новому и 21 октября по старому стилю, в г. Сульце (Франция) умер Ж. Дантес; в парижских газетах через несколько дней появились объявления о его смерти и некрологи. На основании одного из таких некрологов и была написана статья «Убийца Пушкина». Она не содержит ничего интересного, и поэтому я не нахожу нужным ее перепечатывать здесь.

Внимание русского общества к Дантесу в особенной мере проявилось в столетнюю годовщину со дня рождения Пушкина, в 1899 году.

В № 8364 от 12 (24) июня 1899 года «Нового времени» была помещена «Беседа с бароном Геккерн-Дантесом-сыном» постоянного парижского корреспондента газеты «Новое время» И. Яковлева (И. Я. Павловского).

Сначала автор «Беседы» отмечает в своей статье слабый отклик многотысячной русской парижской колонии на пушкинский юбилей. Говорит он и о том, что музей А. Ф. Онегина (Отто)[7], давно уже открытый, посещают плохо. Но, по словам корреспондента, еще слабее откликнулись на юбилей великого русского поэта французы.

«Все, что писалось здесь в последнее время о Пушкине (за исключением статей Вогюэ[8] в «Revue des études russes»[9] и Леже[10] в «Revue encyclopédique»[11]), относится к области пустяков и глупейших анекдотов...» Далее Яковлев рассказывает о своей беседе с сыном Дантеса.

Привожу наиболее интересный отрывок из записи этой беседы.

«— Встречался ли когда-нибудь отец ваш с Натальей Николаевной после дуэли? — спросил я.

— Один раз здесь, в Париже. Мне было 12 лет[12], и я шел с отцом по rue de la Paix[13]. Вдруг я заметил, что он сильно побледнел, отшатнулся назад, и глаза его остановились. Навстречу к нам шла стройная блондинка, с начесами á la vierge. Заметив нас, она тоже на мгновение остановилась, сделала шаг в нашу сторону, но потом обогнула нас и прошла мимо, не взглянув. Отец мой все стоял, как вкопанный. Не отдавая себе отчета, с кем он говорит, он обратился ко мне:

— Знаешь, кто это? Это — Наташа.

— Кто такая Наташа? — спросил я.

Но он уже опомнился и пошел вперед.

— Твоя тетка, Пушкина, сестра твоей матери.

Это имя ударило меня в сердце. С раннего детства я помнил старый зеленый мундир с красным воротником, который я видел однажды, правый рукав его был продран и на нем виднелись следы запекшейся крови. Мне сказали, что в этом мундире отец мой дрался на дуэли с дядей Пушкиным и был ранен... Пушкин! Как это имя связано с нашим. Знаете ли, что у меня была сестра, — она давно покойница, умерла душевнобольной[14]. Эта девушка была до мозга костей русская. Здесь, в Париже, живя во французской семье, во французской обстановке, почти не зная русских, она изучила русский язык, говорила и писала по-русски получше многих русских. Она обожала Россию, и больше всего на свете — Пушкина!..»

И не знаю, основательно или нет, передо мной мелькнул на мгновение скорбный образ этой девушки, с сильно подымающейся грудью, нагнувшейся над книгой, где она читает:

Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

Она поднимает голову от книги и встречается глазами с человеком, о котором говорится в этих вдохновенных стихах. Это — ее отец. И мне кажется, что я понимаю дикие вспышки ее гнева вперемежку с глубокой меланхолией — вспышки, которые часто, по словам ее брата, заставляли отца унимать ее словами: «Ne fais donc pas le cosaque!..»[15]. Эта девушка обладала еще особенностью русской женщины: она любила науку, любила учиться. В то время дочь сенатора Второй империи, имевшая доступ ко двору, где бушевало такое шумное веселье, знаете, что она делала? Она проходила, — конечно, дома — курс Ecole Polytechnique[16], весь курс, — и по словам своих профессоров, была первой...

— Ваш отец никогда не бывал после своей печальной истории в России?

— Нет, но он дважды видел после того императора Николая I в Берлине. В первый раз он был послан Наполеоном, тогда еще президентом республики, чтобы позондировать мнение императора насчет предстоявшего государственного переворота. Ответ был положительный. Во второй раз он был послан Наполеоном, уже императором, чтобы просить для него руки великой княгини. На этот раз ответ был более чем резким.

— Знавали ли вы Геккерна-старика?

— Очень знавал; он умер 93 лет и часто бывал у нас. Мы его терпеть не могли. А он меня до того ненавидел, что даже лишил наследства».

Приведу приписку составителя тетради, сделанную на полях против слов: «Знаете ли, что у меня была сестра».

«У Леонии-Шарлоты комната была обращена в молельню. Перед аналоем висел большой портрет Пушкина, на стенах были другие его портреты. Дочь Дантеса молилась перед портретом своего дяди, в которого была влюблена. С отцом она не говорила после одной семейной сцены, когда назвала его убийцей Пушкина. Сумасшествие ее было на почве загробной любви к дяде. Стихи Пушкина она знала наизусть. А. Ф. Отто видел ее до болезни; он считал ее девушкой необыкновенной.»

На этом можно было бы закончить «историю одной подборки газетных вырезок». Но среди них имеется еще одна, хотя и не особенно содержательная, но все же по-своему интересная, и главное, она вносит поправку или сомнение в только что цитированное примечание составителя тетради.

В 1912 году в газете «Раннее утро» в номере от 15 марта было помещено «письмо из Парижа» некоего Л. Б., озаглавленное «Пушкинский праздник».

Корреспондент рассказывает, как отметила русская колония в Париже 75-летие со дня смерти Пушкина, говорит о том, что интересно было выступление А. В. Луначарского, и прибавляет, что центром пушкинского праздника оказалось импровизированное выступление присутствовавшего в зале престарелого А. Ф. Онегина.

«Познакомился А. Ф. Онегин с Дантесом в 1887 г. Дряхлым стариком тот жил тогда в Париже совершенно уединенно, вдали от жизни и людей. До этого многие русские добивались встречи с ним, но он упорно отказывался от этого, и самому Онегину тоже стоило немало труда, прежде чем он добился от Дантеса согласия принять его...

— Но как же это вы решились?.. — спросил его Онегин. — Неужели вы не знали?

Но этот вопрос не смутил Дантеса.

— А я-то? — спросил он в свою очередь. — Он мог меня убить. Ведь я был потом сенатором.

Да, он был потом сенатором... Его страна могла лишиться его сенаторских услуг!»

Если рассказ А. Ф. Онегина был передан корреспондентом «Раннего утра» точно и знакомство его с Дантесом состоялось только в 1887 году, то, значит автор примечания, ссылавшийся на его отзыв о Леонии-Шарлоте Дантес, по-видимому, что-то напутал.

Впрочем, А. Ф. Онегин мог быть знаком с дочерью Дантеса, не будучи еще знаком с самим Дантесом, или мог только видеть ее издали, не будучи лично знаком с ней, а отзыв его мог сложиться на основании чужих суждений.

Во всяком случае, значение подборки вырезок о Дантесе и его семье от этого не умаляется.

К тому материалу, который был собран неизвестным коллекционером, следовало бы прибавить еще одну вырезку. Она, правда, не говорит о судьбе Жоржа Дантеса и его семьи, но без нее портрет убийцы Пушкина был бы неполон.

В ряде советских газет 24—25 апреля 1963 года была напечатана распространявшаяся ТАСС информационная заметка.

Привожу ее текст по газете «Известия» (1963, 25 апреля):

Эксперты обвиняют Дантеса

Ленинградские судебно-медицинские эксперты через 126 лет после дуэли, погубившей Пушкина, обвиняют его противника Дантеса в преднамеренном нарушении существовавшего тогда дуэльного кодекса.

Эксперты установили, что пистолет Дантеса был более крупного, чем у Пушкина, калибра и обладал повышенной убойной силой. Больше того, современные криминалистические методы помогли установить, что под кавалергардским мундиром Дантеса находилось тайно надетое защитное приспособление. К барьеру против поэта вышел не дуэлянт, а заведомый убийца.

В процессе судебно-медицинской экспертизы было объективно проанализировано 1500 первоисточников, в том числе записки свидетелей и очевидцев поединка.

Данные баллистической экспертизы полностью отвергают несостоятельные версии о рикошете, который якобы сделала пуля Пушкина от пуговицы на одежде Дантеса».

Газетная заметка произвела на советских читателей сильное впечатление. Почти одновременно с ней в журнале «Нева» (1963, № 2...) была помещена статья В. Сафронова «Поединок или убийство?», той же теме была посвящена статья В. Гольдинера «Факты и гипотезы о дуэли А. С. Пушкина» в журнале «Советская юстиция» (1963, № 3...). Впрочем, еще раньше читатели «Нового мира» познакомились со статьей Э. Герштейн «Вокруг гибели Пушкина. (По новым материалам)» (1962, № 2...).

Из этих статей и заметок, а также из бесед с знакомыми крупными литературоведами — пушкинистами я вынес впечатление, что, при всем уважении к ленинградским судебно-медицинским экспертам, советское пушкиноведение не приняло безоговорочно всех выводов, изложенных в информационной заметке ТАСС. Особенно спорным остается вопрос о том, что «под кавалергардским мундиром Дантеса находилось тайно надетое защитное приспособление», как сформулировал корреспондент ТАСС, — иными словами, кольчуга, рубашка из металлических колечек.

Однако, хотя вопрос и не решен окончательно, не сомневаюсь, что составитель подборки газетных вырезок «Убийца Пушкина. Судьба Ж. Дантеса и его семьи» включил бы и эти материалы в свое собрание... если бы дожил до наших дней.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] У меня было предположение, что составителем этой подборки газетных вырезок был пушкинист проф. Б. В. Никольский, но оказалось, что его почерк не был похож на почерк неизвестного лица.

[2] Это не совсем верно: отец Ж. Дантеса — барон Жозеф-Конрад Дантес (1773—1852); приемный его отец — барон Луи де Геккерн (1792—1884). Следовательно, в 1880 г. ему не было полных 90 лет. Министром он не был.

[3] На государственную службу Ж. Дантес вступил еще в 1845 г. С 1850 г. он примкнул к партии Луи Наполеона, ставшего впоследствии Наполеоном III.

[4] Это указание не точно: по сведениям В. Гюго Дантес в качестве сенатора получал 30 тысяч франков.

[5] В сборнике нет стихотворении, посвященных Дантесу-Геккерну. В стихотворении «Сойдя с трибуны. Писано 17 июля 1851 г.» говорится:

Все эти господа, кому лежать в гробах,
Толпа тупая, грязь, что превратится в прах.

В примечаниях к этому стихотворению приведены выдержки из стенограммы заседания Национального собрания, на котором пересматривалась конституция и на котором В. Гюго выступил с четырехчасовой речью. Среди правых депутатов, нападавших на Гюго, был и Дантес-Геккерн.

[6] Герцог де Морни (1811—1865) — побочный сын королевы Гортензии, брат Наполеона III. В 1856—1857 гг. был французским послом в Петербурге. Поэтому его и упоминает Загуляев как лицо, известное русским читателям.

[7] А. Ф. Онегин (Отто) (1840—1925) — коллекционер-пушкинист; жил в Париже и завещал свой музей Пушкинскому дому, куда и поступило после его смерти все собрание.

[8] Вогюэ Мельхиор, виконт (1848—1910) — французский политический деятель, хороший знаток русской литературы.

[9] «Обозрение изучений России» — французский журнал.

[10] Леже Луи (1843—1923) — французский славист.

[11] «Энциклопедическое обозрение» — французский журнал.

[12] «Если здесь нет опечатки или ошибки, то тогда эта встреча должна была произойти в 1855—1856 годах, что невозможно: в то время Россия находилась в войне с Францией, и Н. Н. Ланская не могла быть в Париже». Примечание составителя тетради.

[13] Улица Мира.

[14] Сестру Луи-Жоржа Дантеса звали Леония-Шарлота, она родилась 3 апреля 1840 г., умерла в доме умалишенных 30 июня 1888 года.

[15] «Не строй из себя казака!»

[16] Политехнический институт.

Павел Наумович БЕРКОВ (1896—1969) — литературовед, библиограф, историк книги, член-корреспондент АН СССР. Внес большой вклад в разработку теории, методики и истории библиографии, библиофильства и истории книги. Его перу принадлежат монографии «Введение в технику литературоведческого исследования» и «Библиографическая эвристика», популярные работы «Русские книголюбы» и «История советского библиофильства». Предлагаем вниманию читателей отрывок из книги П. Н. Беркова «О людях и книгах», вышедшей очень небольшим тиражом четверть века назад в издательстве «Книга» и ныне ставшей редкостью.

ИГОРЬ СТРЕЖНЕВ
ПАНЦИРНАЯ РУБАШКА

В 1961 году известный пушкинист Б. С. Мейлах писал в Архангельский архив: «По промелькнувшим в печати сведениям в 30-х годах некий архангельский литератор (фамилия его осталась неизвестной) сообщил писателю В. В. Вересаеву, что он видел в какой-то «книге», где велись записи приезжающих в Архангельск, что незадолго до дуэли Пушкина с Дантесом в этот город приезжал человек, посланный Геккерном (приемным отцом Дантеса), и поселился на улице Оружейников. В связи с этим высказывалось предположение, что этот человек был послан для того, чтобы заказать для Дантеса панцирную рубашку перед дуэлью. Необходимо выяснить, не имеется ли в Архангельском областном архиве... подобной записи».

Однако сведений о таинственном посланнике обнаружить не удалось.

Эта история с кольчугой, в которую якобы был одет Дантес во время дуэли с Пушкиным, хорошо известна не только пушкинистам, но и широкому читателю. Б. С. Мейлах в своей книге «Талисман» и в других публикациях давно и убедительно доказал несостоятельность версии.

Я же вернулся к ней лишь потому, что недавно случайно наткнулся на книжку Е. П. Ищенко и М. Г. Любарского о криминалистике — «В поисках истины», где «кольчужная» история подана как достоверная. Удивление побудило взяться за перо.

Откуда же пошла эта легенда? Истоки ее — в нашем городе. А началось все с того, что инженер М. Комаров еще в 1933 году поместил в журнале «Сибирские огни» статью «Почему пуля Пушкина не убила Дантеса». Автор утверждал, что Дантес остался жив «только благодаря тому, что вышел на дуэль в панцире, надетом под мундир». Далее, в 1959 году, писатель И. Рахилло в статье «История одной догадки» (журнал «Москва») рассказал, как в начале 30-х годов близ столицы, в деревне Малеевка, трудилась дружная коммуна писателей. Однажды к ним приехал маститый В. В. Вересаев, который тогда работал над книгой о великом поэте. Разговор зашел об истории дуэли, о двух вызовах поэтом Дантеса к барьеру.

И. Рахилло делает в повествовании своем такое отступление: «У нас гостил тогда некий литератор из Архангельска. Человек нелюдимый и молчаливый. Он ни с кем не разговаривал, но Вересаева слушал с вниманием. И вот тогда молчаливый наш отшельник задал Вересаеву странный вопрос: почему в период между первым и вторым вызовом на дуэль в Архангельске очутился человек, посланный туда от Геккерна?

Дело в том, что архангельский литератор случайно наткнулся на запись — не то в домовой книге, не то в книге для приезжающих — на имя некоего человека, приехавшего от Геккерна и поселившегося на улице, где жили оружейники. И добавил, что сам, своими глазами прочел в книге эту фамилию — Геккерн — и отлично ее запомнил».

Тут И. Рахилло рассказывает о большом волнении, охватившем Вересаева, и о том, как он продолжил рассказ о дуэльной истории: «Но вот сегодня меня осенила неожиданная догадка: не посылал ли Геккерн в Архангельск человека со специальным заданием — заказать для Дантеса кольчугу или панцирь?»

Далее следуют воспоминания о других встречах Рахилло с Вересаевым. Бросается в глаза такая деталь: Вересаев «спросил, не помню ли я случайно фамилию того молчаливого рассказчика, что жил в Малеевке, не встречал ли его, не знаю ли его адреса». Рахилло ответил собеседнику отрицательно.

Удивительно, что И. Ф. Рахилло, заинтересовавшись догадкой Вересаева и при каждой встрече с ним обсуждая ее, не мог узнать фамилию архангельского литератора. Ведь для этого было множество возможностей. И второе, что смущало в воспоминаниях Рахилло: архангелогородец не мог адресовать к улице, где жили оружейники, ибо таковой не имелось. Оружейное дело не было распространено на Севере, и никогда здесь кольчуг не «вязали». Так что заявление, высказанное в Малеевке, весьма напоминает странную мистификацию.

Далее события развивались так. Через четыре года после рассказа И. Рахилло в журнале «Нева» (1963 г.) выходит небольшая статья врача, специалиста по судебной экспертизе В. Сафронова «Поединок или убийство», в которой также утверждается, что Дантес вышел к барьеру, имея на груди защитное приспособление. Несостоятельность этих выводов вскоре показала научная конференция специалистов по судебной медицине. Свое слово сказали доктор юридических наук Я. Давидович, знаток быта и одежды пушкинской эпохи, В. Глинка и другие. Вот строки из их заключения: «Быть может, эти легковесные конструкции и способны впечатлить неопытного читателя, к тому же исполненного понятной, неизбывной ненависти к убийце великого поэта, но серьезной критики они не выдерживают».

И завершили всю дискуссию очень четкие публикации Б. Мейлаха в «Неделе» в 1966 году. В результате тщательных анализов ученый дал решительную отповедь неглубокому, мало научному, излишне эмоциональному и поспешному решению фундаментальных вопросов русской культуры.

Таким образом, тема о кольчуге была исчерпана и в печати больше не появлялась. Но оставался невыясненным один вопрос: кто же тот архангельский литератор, который ввел в заблуждение И. Рахилло и, судя по его рассказу, В. Вересаева?

Помню, после сенсационных публикаций в 60-х годах мои предположения сходились на двух северных писателях. Это Б. В. Шергин и И. Я. Бражнин, признанные певцы Беломорья, глубоко знавшие его историю и культуру. Но публикации Мейлаха и Левкович привели меня к мысли о недостоверности такого уточнения.

Б. В. Шергин уехал из Архангельска в Москву в 1922 году. Правда, он почти ежегодно возвращался в родной город, подолгу здесь работал. Бориса Викторовича глубоко волновали личность и творчество А. С. Пушкина, его перу принадлежат два прекрасных очерка: «Пинежский Пушкин» и «Пушкин архангельский». Он несомненно читал публикации о кольчуге и, будучи интересным рассказчиком, обязательно поведал бы друзьям, а быть может, и читателям о своей причастности к этой истории. Я беседовал с нашим архангельским писателем, ныне живущим в Москве, Ю. Галкиным, которого с Шергиным связывала давняя дружба. Так вот, Юрий Федорович нигде в публикациях и в известных ему дневниковых записях Шергина не встречал ни строчки об этой дуэльной истории.

С Бражниным я был знаком эпистолярно. Илья Яковлевич уехал из Архангельска в Ленинград на учебу в 1924-м. Мог ли он быть в Малеевке в начале 30-х? Не исключено. Более того, он мог назваться там архангельским литератором, ибо всегда себя считал таковым. Кроме того, по свидетельству Е. С. Коковина был он человеком не очень-то разговорчивым...

Первые подступы к пушкинской теме встречаем у писателя в книге «Сумка волшебника» — сборнике прозаических, но наполненных глубочайшей поэзией автобиографических зарисовок, увидевших свет в 1968 году. Писатель работал тогда над своей последней книгой, целиком посвященной Пушкину, — «Ликующая муза».

Листаю его книгу, читаю вдохновенные строки о Пушкине и понимаю, что случай в Малеевке произошел не с ним, ибо он обязательно бы рассказал о встрече с В. Вересаевым, как живописует в этой же книге свои встречи с А. Ахматовой, Ю. Тыняновым, Н. Тихоновым, их беседы о Пушкине.

Разгадка личности «литератора из Архангельска» оказалась для меня удивительно простой... Снова эту историю прочел у Б. С. Мейлаха в «Талисмане» уже со спокойным удовлетворением.

Но вот в 1983 году судьба привела меня в Архангельскую областную писательскую организацию, где я стал работать. И в первые же дни узнал имя, которое искал, — Владимир Иванович Жилкин, поэт, делегат Первого съезда советских писателей, один из первых на Севере членов писательского Союза. Это он был в Малеевке. Это его характер точно соответствует описанию И. Рахилло. Но, несмотря на внешнюю угрюмость и замкнутость, он был человеком интереснейшим, дружил с Е. Коковиным, В. Мусиковым, Пэлей Пунухом. И рассказывал им о случае в Малеевке.

Оказывается, произошло это не совсем так, как передал в 1959 году (более чем через четверть века) И. Рахилло. Тогда в Малеевке в разговоре о дуэли и легком ранении Дантеса прозвучало предположение о каком-то подмундирной защите. На это Владимир Иванович Жилкин со свойственной ему жесткой иронией пробурчал: «Ну да! И сделанв была эта кольчуга в Архангельске». А больше — ни слова!

Такой он был человек — подбросил свою мистификацию, первое, что пришло ему на ум в форме протеста. И легенда пошла кружить.

АЛЕКСАНДР ДЮМА

ПОСЛЕДНИЙ ПЛАТЕЖ

Гости Москвы

В один из весенних дней 1838 года среди могучих каменных твердынь московского Кремля прогуливалась не очень обычная для этих мест чета иностранцев. Оба они, и мужчина, и женщина, были довольно молоды, он — лет сорока, она — далеко неполных тридцать. Одетые по-западному, но без малейших претензий на вычурность, они являли картину нежной и прочной дружбы, ласково опираясь друг на друга и со взаимной чуткостью останавливаясь возле каждой достопримечательности.

Оба то и дело вскидывали головы, любуясь слепящим золотом глав, мощной грацией куполообразных шатров, закомар и абсид, мозаикой фресок.

Долго стояли они так, по-детски запрокинув головы перед удивительной белоствольной свечой Ивана Великого с вечно пылающим пламенем ее золотого венца.

Их изумленный взор приковал также и величайший колокол мира — «царь-колокол»; и огромное зияющее жерло «царь-пушки» — Руа-деканон — незримо поглотило их обоих.

А когда их взгляд упал на окутанное легчайшей дымкой апреля такое же золотоглавое Замоскворечье, лежавшее как бы в некой чаще по сравнению с мощным холмом Кремля, у обоих вырвалось восклицание восторга.

— Невероятно, непостижимо! — сказал высокий, с гордо посаженной головой человек с несколькими серебряными нитями на висках. — Просто непостижимо! Когда Наполеон беседовал со мной на Эльбе, он выразился о Москве так: «Это самый странный город, какой я когда-либо видел в своей жизни». А я, вернее мы, Гайде, не находим слов, чтобы выразить наше восхищение. Я готов сказать прямо противоположное: «Это самый чудесный город, какой дала мне увидеть Судьба!»

— Совершенно согласна с тобой, Эдмон! — горячо поддержала его спутница. — Вполне, вполне согласна с тобой, даже Париж, прославленный поэтами, не так сказочен, не так волнует душу и сердце.

Черты лица и смуглость женщины выдавали ее южное или восточное происхождение, но безупречность ее французской речи говорила сама за себя.

Похвала Москве от подобных людей не могла быть банальной фальшью.

— Надо думать, что устами Наполеона говорил политик-полководец, потерпевший от этого города свое первое и страшнейшее поражение... — самому себе разъясняя только что сказанное, продолжал тот, кого молодая женщина с дружеской интимностью называла «Эдмон». — Когда я услышал от него, никогда ничего не страшившегося, такое определение Москвы, мне сразу же захотелось самому увидеть этот таинственный город Востока. Мое любопытство было раздражено этой оценкой. И помнишь, Гайде, я не раз называл этот город в числе тех мест, где мне хотелось побывать после того, как будет завершено главнейшее дело моей жизни...

Все, и в облике, и в манерах этого человека, и даже его голос, мужественно-мягкий, глуховатый — свидетельствовало о его незаурядности.

Эдмон оторвал свой взгляд от волшебной панорамы Замоскворечья — от золотых, голубых, розовых, оранжевых глав его церквей, его колоколен, тонущих в свежей, золотистой зелени бесчисленных садов.

Медленно, жалея расставаться с увиденным, с тем, что еще приковывало их взоры, двинулась чета гостей в сторону знаменитых Спасских ворот, при входе в которые всем полагалось обнажить голову.

Даже и не зная об этом, Гайде потянуло снять свою маленькую албанского стиля шапочку, хорошо гармонировавшую с ее строгим, дорожным платьем, при входе в эти древние, много повидавшие ворота. А Эдмон, уже слышавший о нерушимом обычае москвичей, без всякого самопринуждения снял свой парижский цилиндр, проходя под сумрачным многовековым сводом. Историю он чтил, как и Судьбу.

И тут — за этими воротами — их ждал новый, совсем иной мирок! Суровый, при всей сказочной пышности и красоте своей московский Кремль остался позади — перед ними развернулось иное зрелище, не менее сказочное — весенне-пасхальная ярмарка, так называемый «Вербный базар». Правда, над Москвой еще не висел тот неумолчный, похожий на неуходящее многозвучное облако — восторженно описываемый путешественниками пасхальный перезвон колоколов, ради которого, собственно, и поспешила в древнюю столицу наша чета. До русской пасхи оставалось еще несколько дней, но огромная площадь, примыкавшая к Кремлю снаружи, была вся заполнена оживлением, множеством разноцветных и разнокалиберных балаганов с разнообразнейшими товарами. Москвичи, готовясь к главному празднику года — Пасхе, закупали здесь и праздничные сладости, и вина, и волжско-каспийские деликатесы, и обновки из одежды, обуви, галантереи, посуды, музыки — от свистушек глиняных до балалаек и гармоник.

Опять надолго приковавшись взглядом к этому необыкновенному зрелищу, Эдмон Дантес задумчиво сказал:

— Наполеон напрасно мечтал одолеть этот своеобразный народ, у которого так органически сочеталось почти испанское фантастическое благочестие с почти итальянской неукротимой жизнерадостностью.

Гайде с легким укором заметила:

— Стоит ли о нем вспоминать, виновнике твоих несчастий? Свидание с ним погубило тебя тогда, мой дорогой Эдмон!

— Я вспомнил потому, что свидание с Москвой погубило его! — ответил граф.

— Оно не погубило бы его, если бы он, подобно нам, явился сюда не завоевателем, а мирным, добрым гостем. И он, как мы сейчас, был бы очарован необычайной красотой этого города, этих восхитительных картин и ландшафтов. А я где-то читала, что даже про это изумительное сооружение, — она указала на собор Василия Блаженного, — даже про это национальное чудо он не нашел иных слов, как такие: «Из всех сокровищ Москвы я вывез бы «Эглиз де Сэн-Базиль», если бы только мог это сделать! Вот сердце России, вот ее символ! Лишив ее этого чуда, я вырвал бы ее загадочное сердце...»

— Значит, он все же воздавал должное чудесам этого города... — примирительно улыбнулся Эдмон.

— И все же хотел «избавить» от них Русь и Москву, — улыбнулась Гайде. — А разве есть что-нибудь подобное во всем мире?

Медленно пройдя по обширной площади, обрамленной высокой могучей стеной древней кладки со своеобразным рисунком зубцов, гости приблизились к еще одной достопримечательности Москвы.

Это была небольшая капелла — часовня, от которой в ее широко раскрытые двери веяло еще большим жаром, нежели с жаркого апрельского неба, заполненного солнцем. Этот жар исходил от бесчисленного количества непрерывно горящих восковых свечей самой различной толщины и длины: и тонких, почти как колосок пшеницы, и массивных — наподобие неких беломраморных колонн в миниатюре.

Огромные серебряные канделябры вмещали то по одной такой гигантской свече, то по нескольку десятков малых, закрепленных в разной величины гнездышках — ячейках. И в свою очередь — целые десятки таких канделябров на высоких и низких опорах теснились на сравнительно малом пространстве капеллы, словно устремлялись своим пылающим, огнедышащим восковым войском к центральной внутренней ее стене.

Тут находилась едва ли не главная святыня Москвы — Мадонна Иверская или Грузинская, ибо по-старорусски Грузия именовалась Иверией. Увезенная когда-то из Грузии на Афон, спасенная от турецко-персидских нашествий, эта высокочтимая икона была подарена потом Москве, Руси, взявшей Иверию — Грузию под свое покровительство против иранцев и турок.

Эдмон перед осмотром древней русской столицы основательно вооружился во французском консульстве всякими сведениями и сейчас мог в свою очередь щегольнуть ими перед Гайде.

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ ПОЩЕЧИНА

Московские рестораны назывались трактирами. Ближайшим к Кремлю трактиром был знаменитый «Егор», в нескольких шагах от Иверских ворот.

К этому трактиру примыкал не менее известный «Охотный ряд» — средоточие гастрономической московской торговли, где можно было приобрести все — от саженного осетра до целого лебедя, тоже почти с саженным размахом крыльев, и от десятипудового дикого кабана до тридцатипудовой лосиной туши. И медвежатина, и индюшатина, и рябчики, и тетерева, и молочные поросята, и спинки дикой степной козы-сайгака, и любая икра — от зеленой, зернистой до угольно-черной паюсной!

Все эти огромные ресурсы для ублажения самых требовательных, избалованных или прожорливо-бездонных желудков были в любое время в распо-



А. Дюма в восточном костюме. Гравюра.



ПРИМЕЧАНИЕ

А. Дюма (отец) известен читателям как автор знаменитых романов «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Виконт де Бражелон» (1848—50), «Королева Марго» (1845), «Граф Монте-Кристо» (1845—46) и других. Кроме того, им написаны воспоминания, а также путевые очерки о России, проникнутые симпатией к великой стране. Но роман «Последний платеж» отечественному читателю еще не известен. И мы хотим обратить внимание издателей на эту книгу.

«Последний платеж» Александра Дюма (отца) был закончен в 1851 году. Писатель приходился родственником Дантесу, убийце А. С. Пушкина, и под впечатлением увиденного в России, написал роман — дань памяти великому поэту России от француза, сожалеющего, что его сородич Жорж Шарль Дантес остается несмываемым пятном позора в истории Франции.

Герой романа Эдмон Дантес — граф Монте-Кристо, носящий то же имя, что и убийца Пушкина, производит бескровную расправу над Жоржем Шарлем Дантесом с благородной целью отомстить за Пушкина и смыть пятно с собственного имени.

Мы надеемся, что публикуемые нами главы из романа «Последний платеж», который нам любезно предоставил С. С. Гейченко, вызовут интерес у читателей. За неимением иного используем перевод В. Лебедева, который был сделан «для служебного пользования».

ОТ РЕДАКЦИИ

ряжении прославленного «Егора» — первейшего по размаху трактира Москвы, куда не гнушались заглядывать даже и коронованные особы.

Как и все в Москве, был своеобразен и этот пресловутый храм Чревоугодия. Официанты в нем назывались «шестерка» или «беловый» — по необычному одеянию сплошь белого цвета: длинная до колен рубаха с плетеной подпояской, белые широкие штаны, на бегу раздувавшиеся, как паруса, белая громадная салфетка под мышкой. Не хватало лишь разве белого парика для совершенно законченной, безупречной стильной полноты картины, но волосы у шестерок были, как правило, светлорусые, и ощущение общей белизны не нарушалось.

Для развлечения гостей трактир «Егор» был наполнен десятками птичьих клеток — с соловьями, канарейками, дроздами и даже попугаями. Все это пестрело, свистело на разные голоса, но все же было не в силах заглушить жизнерадостный галдеж, пьяную или хвастливую болтовню многочисленных посетителей.

Трактир даже высокого класса считался законным местом всяческого шума, пения не только птичьего, но и человеческого, пускай некоторые голоса порой больше походили на козлиные или бычьи. Для особо почетных гостей хозяин, он же и главный «метрдотель» заводил редкую еще по тем временам «музыкальную машину», немецкое подобие самоиграющей шармански с пружинным заводом.

Вот в это-то многопосещаемое заведение и повел Эдмон Дантес свою проголодавшуюся спутницу-подругу.

— Уж изучать Москву — так изучать! — шутливо произнес он, вводя Гайде в звенящий птичьими и человеческими голосами обширный трактир, занимавший целых два этажа, соединенных широкой гостеприимной лестницей. В нижнем этаже было чуть попроще, подешевле, в верхнем же, украшенном не только птичьими клетками, но и картинами в тяжелых золоченых рамках, и пальмами разных видов и даже несколькими аквариумами огромных размеров, в них плавали стерляди для ухи по заказам — резервировались места и столы для высокосортной публики. Там было потише.

Изысканное обличье Дантеса и его спутницы заставило солидного, бородатого швейцара в ливрее указать путь прямо наверх.

— Пожалуйте, — сказал он уважительно и добавил, удивив гостей: — Сильвупле...

Эдмон уплатил за это приятное удивление серебряный рубль, в свою очередь изрядно удивив швейцара, не очень привычного даже здесь к таким щедрым «чаевым» — за одно лишь слово, за один лишь жест.

Поднимаясь с Гайде наверх по лестнице и бережно поддерживая ее под руку, Дантес повторил:

— Как можно даже подумать о какой-то мести такому приветливому, доброжелательному народу! Хотя бы даже и за бедного Наполеона! Россия с ее народом сыграла роль руки и меча Судьбы в отношении нашего великого соотечественника... Предадим забвению все подобные счеты! Судьбу не судят и Судьбе на мстят!

Войдя в большой, светлый и высокий зал второго этажа, предназначенный для избранных, наша чета остановилась, выбирая место. Гостей уже было довольно много — трактир не пустовал.

Дантесу хотелось занять отдельный столик на двоих, но почти все такие столики были уже заняты. Оставалось повернуться, чтобы поискать место в другом зале, и тут вдруг от одного из глубинных столов донесся громкий, полный радостного изумления оклик:

— Дантес, дружище!

Из-за четырехместного столика быстро, бурно поднялся человек одних лет с Эдмоном и устремился к чете новоприбывших.

— Дантес, ты ли это? Сколько лет мы не виделись?!

Несколько лиц повернулись в их сторону. Но Эдмон не сразу узнал подбежавшего к нему человека. Ростом чуть поменьше, но плотный, широкоплечий, в одежде французского шкипера дальнего плавания, этот человек был товарищ детства, земляк и друг Дантеса — Жюль Карпантье, с которым Эдмон не виделся почти четверть века.

— Жюль, дружище! — вскричал он обрадованно, и оба крепко обнялись.

Дантес представил ему Гайде, и они направились все вместе к столику, возле которого сидел до их прихода земляк из Марселя.

Начался шумный, сбивчивый, сумбурный разговор, в котором половина вопросов, как правило, остается без ответов, натыкаясь на встречные.

Разговор перекинулся на Россию. Карпантье уже не впервые попал в Москву, он транспортировал важные, особенной ценности грузы, и провозя их по морю в Россию, не ограничивался этим. Отвечая головой за их доставку, за их сохранность, он подчас должен был их сопровождать даже до Петербурга. Каждое такое дополнительное путешествие давало ему дополнительный доход почтенных размеров, и он похвалялся, что скопил дома, в Бордо, уже довольно крупненький капиталец. Женившись, он уже давно переселился в Бордо.

— Еще два-три таких рейса, — весело закончил он, — и я смогу стать арматором, или по крайней мере, владельцем хорошего корабля... брига или баркентины.

— Парусники уже начинают, кажется, уступать место пароходам? — полувопросительно сказал Дантес. — Не лучше ли и тебе обзавестись не каким-то бригом, а приличного тренажа пароходом, мой Жюль?

Карпантье всплеснул руками.

— Ты смеешься, мой милый Дантес! — вскричал он. — Да разве это мне по карману? Хорошенькое дело — пароход! За всю жизнь не скопишь денег на такую новинку!

— Думаю, что я был бы способен помочь тебе в этой безделице... — сказал Дантес. — Для старого приятеля и земляка не жаль расходов!

Карпантье недоверчиво вгляделся в лицо Эдмона.

— Ты, конечно, шутишь... — пробормотал он, улыбаясь.

— Да, нет, — отозвался Дантес. — Хватило бы тебе на это сотни тысяч франков?

— Не помнил за тобой такого грешка — издеваться! — вздохнул Жюль.

— Да, я ничуть не издеваюсь, — возразил Дантес. — Говори, сколько у тебя не хватает денег для приобретения приличного морского парохода-каботажника?

— Хватило бы полсотни тысяч франков! — пробормотал Карпантье.

— Завтра ты будешь иметь эту сумму, мой Жюль, не унывай!

— Шутник, ты, однако! — озарился широкой улыбкой земляк. — Право не знал я за тобой такой способности!

Оживленно разговаривая, друзья из Франции не обращали никакого внимания на группу молодых людей, сидевших за несколько столиков от них. Эту группу составляли неплохо одетые москвичи, но явно не купеческого облика, не похожие и на чиновников. По всем признакам это были студенты. Центром этой маленькой компании был высокий, широкоплечий, напоминавший молодого медведя, барчук, чьи отрывистые, резкие фразы невнятно доносились до столика Дантеса и Карпантье.

Время от времени вся эта компания поглядывала в сторону иностранцев, вроде бы вслушиваясь в то, о чем они говорили. Но поскольку Эдмон и Жюль говорили бегло, быстро, наверняка было нелегко разобрать речь французских гостей.

Один раз явственно донеслось произнесенное медведеобразным студентом имя «Дантес» с полувопросительной интонацией. И после этого все четыре студента переглянулись, почему-то пожимая плечами и хмурясь.

Но Эдмон и его друзья не присматривались и не прислушивались к этим соседям:

Жюль продолжал недоверчиво острить.

— Ты получил солидное наследство? Или удачно, даже сверхудачно женился? — он смешно глянул при этом на Гайде. — Но покупать для приятеля пароход, притом морской — о! Нет, друг Дантес, ты явно морочишь меня! Не хватает, чтобы ты предложил мне в подарок Санкт-Петербургского «Медного всадника» или Московскую «Царь-Пушку»!

Услышав слово «пушка» соседи-студенты еще более насторожились, стали чаще поглядывать в сторону Дантеса и Карпантье.

А Эдмон в ответ на остроту приятеля засмеялся и махнул рукой:

— Но «цари» и «пушки», мой друг, не в моей власти, что же касается обещанного морского парохода — считай его своей собственностью. Я не люблю бросать слова на ветер, а моя радость по поводу нашей с тобой встречи слишком велика, чтобы я задумался над такой мелочью, как паровое каботажное судно. Возможно, я еще почесал бы за ухом, прежде чем предложить тебе монитор или трансокеанский пакетбот... но все остальное — пустяки, — и он опять пренебрежительно махнул рукой.

То ли радость по поводу неожиданной встречи за тридевять земель от родины, то ли опасения задеть какие-то нежелательные струнки, больные места — удерживали Жюля Карпантье от настойчивых расспросов.

А Эдмон и сам не давал ему это делать, сам засыпал давнего друга вопросами.

— Раз ты часто бываешь в России, ты должен знать и русский язык, Жюль!

— Немножко — да, знаю, — признался Карпантье.

— Так скажи, что означает надпись на вывеске этого ресторана «Егор»?

Жюль усмехнулся, хоть ему сейчас и было не до улыбок.

— Это примерно то же, что в Париже «Жорж». Егор по-русски, — Жорж по-французски, понимаешь... Егоров трактир — ресторан «Жорж». Вполне прилично и благопристойно.

Мысли его явно вращались вокруг предложения, сделанного ему Эдмоном.

«Шутка сказать — этот милый былой марселец, пусть хоть и товарищ детства, что-то уж очень размахнулся! Обещает в подарок пароход, морской каботажный пироскаф... Забавник, но что, если это все же всерьез?»

Лицо Жюля отражало бушевавшие в нем мысли и чувства в эти минуты.

Эдмон заметил и, поняв, добавил:

— Надо тебе сказать, Жюль, что мне изрядно повезло... Я понимаю твое недоверие, но что я сказал — вполне в моих силах и будет выполнено... Поверь, что я никогда не был пустым болтуном... А хвастуном и тем более...

Карпантье замахал руками:

— Дантес, милейший мой! Как ты мог даже подумать об этом? Разве я не знаю тебя с детства?

Напоминавший медведя студент вдруг поднялся с своего места и неторопливо пошел к столику иностранцев. Массивная неуклюжесть замедляла его движения между столиками обедающих, он даже задевал кое-кого локтями и бедрами, но, не трудясь извиняться, прокладывал себе путь.

Остановясь возле Эдмона, он как-то странно помедлил, вглядываясь в иностранного гостя, словно стараясь узнать в нем кого-то. И наконец произнес на французском диалекте:

— Вы, сударь, именуетесь Дантес?

Хорошо настроенный Эдмон ответил вежливо с улыбкой:

— Да, сударь, я — Дантес!

— Жорж?

— Э? Да... — Эдмон машинально кивнул, вспомнив название трактира.

И тут произошло нечто непостижимое, ошеломляющее, чудовищное: медведеподобный, вблизи еще более крупный, громоздкий детина этот, внезапно нанес Эдмону страшный удар — сокрушительную пощечину. Это не была умеренно-сильная, корректная пощечина, какой французский жантильом или английский джентльмен вызывают своего антагониста на поединок.

Это был удар грубый, чуть-чуть не смертельный, нанесенный хотя и ладонью, а не кулаком, но способный свернуть менее прочно посаженную голову, чем ту, какой был одарен Дантес. Все же Эдмон свалился с сидения, грохнулся от этого удара на пол, теряя сознание. Жюль, пытаясь поддержать его, тоже рухнул.

— Дантесу за Пушкина... — громко сказал парень, как бы что-то поясняя, и чуть помедлив, не дожидаясь, когда поверженный поднимется, зашагал к своей группе. Та, уже стоя, ждала его возвращения, и тотчас же все вместе направились к выходу. Видимо, перспектива разговора с полицией их не устраивала... А Жюль и Гайде припали к Эдмону.

Эдмон не сразу и не без усилий, с помощью Жюля, Гайде и одного из соседей по столикам, поднявшись и снова усевшись на свой стул, смертельно бледный, ничего не понимающий, растерянный, близкий даже к тому, чтобы зарыдать от ничем не заслуженной обиды, тупо и мрачно молчал, уронив голову на грудь, а руки на колени.

— Что же это такое... Что это такое? — почти беззвучно бормотал он, крутя и ломая себе пальцы. — Что я сделал этому человеку? Чем заслужил такую выходку — такое убийственное оскорб-

ление?

Разумеется, он все это произносил по-французски, но человек, любезно помогший ему подняться, поняв эти полубессвязные фразы, сказал:

— Если вы ничего не имеете против, я пожалуй, мог бы попытаться, месье, пролить некоторый свет на эту для вас загадку...

Его французский язык был безупречен, изысканно точен и без акцента. Собеседник явно принадлежал к высшему кругу москвичей.

Эдмон с усилием, полусмущенно, полудосадливо кивнул:

— Прощу вас, милостивый государь.

Стыд перед Гайде, перед Жюлем, перед самим собой давил и сотрясал его, с трудом он боролся против напрашивавшегося взрыва.

Любезный сосед прикоснулся к его плечу:

— Успокойтесь, месье... Сейчас я постараюсь объяснить вам причину свалившейся на вас горестной и оскорбительной неожиданности... Дело, мне кажется, в том, что не столь давно наш величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин был убит французом Дантесом.

— О! — вырвалось одновременно из трех уст — Эдмона, Гайде и Жюля.

— Но ведь не мною же! — тотчас же горестно-яростно вскричал Эдмон. — Имя Дантес довольно редкое во Франции, не спорю, но при чем тут я, месье москвич? Я только сейчас припоминаю, что мельком слышал или видел в газетах сообщение об этом печальном событии.

— Месье москвич, — прибавила Гайде, — ваша доброта располагает к искренности. Помню и я, как мой дорогой муж, — она указала на Эдмона, — прочтя заметку об этом происшествии в далекой тогда для нас России, со вздохом сказал, но вместе с тем и с улыбкой, месье. Он, мой Эдмон Дантес, любит и пошутить: «Теперь в Россию можно будет ехать только инкогнито!» И вот, увы, он начисто забыл об этом... Это ли не доказательство чистой совести?

— И чистых рук! — одобрительно подтвердил москвич, кивая. — Не знаю, нужны ли вам дальнейшие пояснения, но хочется чуть-чуть оправдать в ваших глазах этого молодого соотечественника, который своей выходкой оскорбил не только ни в чем не повинного гостя, но и нашу славную Москву, и больше того — всю Россию! Ужасна, ужасна подобная выходка! Но все-же, кое-что может ее оправдать — патриотизм, господа, патриотизм! Напоминаю, человек, носящий имя Дантес, лишил жизни величайшего поэта России, красу и гордость русского народа — Пушкина! О, Александр Сергеевич Пушкин был кумиром нашей страны, и молодежи в особенности... Простое созвучие «Дантес», господа, может сейчас вызвать приступ бешенства у нашего русского человека, и тем более у горячего молодого студента, да еще, может быть, хватившего чуть-чуть... А этот богатырь, что нанес вам удар, месье Дантес, наверняка из студентов. По-моему, я его мельком где-то уже видел... Его счастье, что не оказалось поблизости полицейского. Этот поступок не сошел бы ему с рук... Можно и сейчас начать розыск, и наказание рукоприкладству будет... Строгая кара!

Продолжение следует.

В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

РУССКИЙ МАГНИТ

Сторонний взгляд иностранца на Россию, при всей его любознательности и исторической подлинности, вряд ли может раскрыть интересующемуся отечественной историей читателю нечто совсем новое и неведомое в облике родной страны. Но тот неоднозначный образ Московии, Русского государства, России, который складывался у посещавших ее на протяжении веков путешественников, послов, купцов, ученых, помогает вглядываться в драматические хитросплетения истории и лучше понимать роль в них нашей великой державы.

Именно в этом смысле, думается, большой интерес представляют собранные в двух вышедших в Лениздате книгах записки, дневники, воспоминания европейцев — очевидцев многих русских событий и современников Ивана Грозного, Минина и Пожарского, Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины II. Знакомство с этими сочинениями делает очевидным тот факт, что Россия в течение столетий была для Европы неким притягивающим таинственным магнитом. Европа присылала в Россию и «своих озлобленных сынов», темных политических интриганов, лукавых царедворцев, и вдумчивых естествоиспытателей, художников, поэтов, которые были покорены красотой русской земли. Среди шести авторов первой книги — немецкий ученый-энциклопедист Адам Олеарий, иезуит Де ла Невилль, чьи «Любопытные и новые известия о Московии» сложились из донесений руководству ордена, офицер-наемник, а позднее, во времена польско-шведской интервенции, участник поджога и разграбления Москвы, беспринципный авантюрист Маржерет, чей образ увековечен в «Борисе Годунове» Пушкиным.

Вторая книга, куда вошли сочинения пяти авторов, хронологически продолжает первую. В нее включены колоритные записки К. де Брунна — художника, этнографа, писателя, объехавшего Россию от Архангельска до Астрахани и посвятившего немало страниц Москве в пору молодости Петра I. Казни и пытки, гулянья, пиры и свадьбы, грубоватые царские потехи, — все это сливается в пеструю картину столицы, в патриархальные обычаи которой мало-помалу вторгаются петровские новшества.

Любопытно сопоставить два сочинения, посвященные Екатерине II. Если автор первого, Л.-Ф. Сегюр, вполне шаблонно видит в ней образец политического деятеля, то в записках К.-К. Рюльера (появившихся на русском языке лишь в XX веке из-за их серьезного отличия от официальной историографии) поражает абсолютно не европейский взгляд на события 1762 года. С тонким психологизмом передает автор недоумение солдат, не понимавших, «какое очарование руководило их к тому, что они лишили престола внука Петра Великого и возложили его корону на немку». И на восклицание губернатора: «Да здравствует императрица Екатерина II!» солдаты «хранили глубокое молчание», полное значения, как и безмолвие народа в том же «Борисе Годунове».

Остается добавить, что в этих двух книгах были бы чрезвычайно уместны репродукции исторических картин русских художников Ап. Васнецова, К. Маковского, А. Рябушкина, и посетовать лишний раз на бедность нашей полиграфии.

Л. МЕШКОВА

РОССИЯ XV—XVII ВВ. ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ. — Л., 1986.
РОССИЯ XVIII В. ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ. — Л., 1989. (Б-ка «Страницы истории Отечества»)

ИСТОРИЯ

Очерки. Мемуары. Документы.

опальные имена

ИВАН УХАНОВ

А ИСТИНА ДОРОЖЕ...

Иван Сергеевич УХАНОВ родился в 1940 году в крестьянской семье. В 1966 году окончил Оренбургский государственный педагогический институт. Член СП СССР с 1972 года. Автор многих книг прозы, в их числе «Небо детства» (Челябинск, 1971), «Оренбургский пуховый платок» (Челябинск, 1976), «Вьюга в городе» (М., 1984), «Берендейка» (М., 1988). Лауреат премий имени М. Джалиля и Ленинского комсомола.



Фото НИКОЛАЯ КОЧНЕВА.

В этом году в издательстве «Молодая гвардия» выйдет книга И. Уханова о П. И. Рычкове — крупном русском ученом XVIII века, известном своими трудами по археологии, этнографии и истории Поволжья и Урала. Предлагаем читателям фрагмент из этой книги, в котором повествуется о судьбе еще одного, увы, нечасто вспоминаемого деятеля российской истории — генерал-аншефа Петра Ивановича Панина.

Стремление скорректировать народную память, оставить, зарегистрировать в ней лишь те события и имена, которые требовались государственному режиму на том или ином этапе, образовало в нашей истории немало постыдных «белых пятен». Для некоторых идеологических функционеров и догматиков история наша по-настоящему и всерьез началась с залпа «Авроры». Великое историческое и культурное наследие они привыкли рассматривать выборочно, зауженно и, пользуясь полномочиями, якобы данными им народом, с кощунственной категоричностью формировали, постоянно переписывая, исторический рескрипт о заслугах: этого записать на скрижалях истории, а того стереть и забыть...

Выдающемуся русскому полководцу Петру Ивановичу Панину дважды не повезло. Как в дореволюционное время он не был оценен по достоинству, так и после — в советское. При своих ярких способностях, ратных заслугах и высоком патриотизме он ни при жизни, ни после смерти не занял того места в русской истории, которого заслуживает.

«Опальное положение перед лицом императрицы Екатерины и ее двора перешло в историю, а затем, будучи страдательным типом, Панин как историческая личность подвергся искажению..., но, подточенный и надломленный интригующим злом, не сдавал окончательно ни при каких обстоятельствах». Это мнение П. Гейсмана и А. Дубровского, авторов небольшой дореволюционной брошюры о Панине, подтверждается всей жизнью Петра Ивановича. Он был одним из тех, на ком зиждится жизненная сила России, русской армии.

Специальный фонд Паниных в Государственной Библиотеке имени Ленина хранит редкие, малоизвестные свидетельства деятельности Петра Ивановича. Родился он в уездном селении Калужской губернии в 1721 году. Отец его, Иван Васильевич, не смог дать своим сыновьям, Никите и Петру, систематического образования, но много радел, как дворянин, о нравственном воспитании их. Эти нравственные качества Петра Панина были поставлены на твердые устои еще с детства и доказаны всею его жизнью. По отзывам современников, его отличало «строгое отношение к самому себе при строгом и правдивом отношении к другим».

Службу он начал в 14 лет в Измайловском полку.

Однажды, стоя на часах во дворце императрицы Анны Иоанновны, он отдал ей честь ружьем. В тот момент лицо его, показалось царице, передернула ухмылка. Петр был посажен в казарменный карцер и едва избежал Сибири. Из караульной дворцовой роты его немедленно отправили в действующую армию — в крымский поход.

Панин участвовал в штурме Перекопа, Бахчисарая, Кенигсберга, показывая в боях редкое бесстрашие и отвагу. Его вернули в гвардию и вскоре назначили командиром пехотного полка. Почти четверть века провел он в походах и сражениях, одерживая многие победы над шведами, немцами и турками. Умение личным примером на поле боя поднять дух солдат, тактику сражения вести не по-прусски, а по-русски особенно проявилось в битвах под Цорндорфом и Кунерсдорфом, при взятии в 1760 году Берлина.

Президент Военной коллегии генерал З. Чернышев в рапорте о сражении под Берлином отметил, что Панин «мужественным образом все исполнил,... истребив более трех тысяч неприятелей, не потеряв ни одного своего»...



Петр Иванович Панин

Правительство назначает Панина губернатором Восточной Пруссии. Административные обязанности пришлись не по нутру боевому генералу. Петр Иванович желал бы служить на родине.

Взойдя в 1762 году на престол, Екатерина II велит ему принять армию Румянцева и возвращаться в Россию. В именном указе императрица отмечает ратные подвиги Панина и награждает его как «идеально храброго генерала» золотою, украшенной бриллиантами, шпагой и рекомендует его в члены депутатской комиссии, работающей над составлением нового законодательного Уложения. Одновременно Панин работает в военном ведомстве, формируя штаты русской армии.

По натуре цельный, деятельный, справедливый, он, став сенатором, встретился с вопиющим формализмом и халатностью в работе такого высочайшего правительственного органа, как Сенат. О беспорядках Панин высказывался откровенно и резко, во дворце ходил «без маски». Это «возбуждало лишь изумление и недовольство» среди его товарищей-сенаторов.

Однажды на одном из заседаний Сената Панин осмелился «поправить» выступление даже самой императрицы. Когда по повелению Екатерины II генерал-прокурор князь Вяземский прочел о некоторых переменах, внесенных ею в «Устав о соли», все сенаторы, кроме Панина, встали и начали благодарить императрицу. Видя, что Панин остался на своем месте, она спросила его, соглашается ли он с предлагаемою реформою? Панин встал и ответил, что если государыня приказывает, то он повинуется ее воле; но если изволит требовать его мнения, то он осмелится сделать некоторые свои замечания. Выслушав его, Екатерина приказала исполнение указа приостановить, а Панину приехать на другой день и внести поправки. Она якобы даже похвалила его за разумные добавления, на самом же деле эта выходка Панина осталась в памяти сенаторов и самой императрицы.

С холодной настороженностью и недоумением сенаторы встретили записку Панина по поводу крестьянского вопроса, которую он в 1763 году подал Екатерине II.

«Господские поборы и барщинные работы в России, — писал он, — не только превосходят примеры ближайших заграничных жителей, но и частенько выступают из сносности человеческой».

Проявляя «патриотическое усердие об истинном благе отечества», Панин, состоя в правительстве, осуждал действия правительства против крестьянских бунтов, раскольников и беглых людей. Самые жестокие меры для устранения и усмирения их, по мнению Панина, ничего не дадут, если не устранить основные причины народных волнений: безмерную эксплуатацию подневольного труда, произвол при рекрутских наборах, неумеренную роскошь помещиков и дворян, понуждающую «употреблять людей в работы, превосходящие силы человеческие».

В отличие от большинства своих современников он утверждал, что воспитание и образование русской армии, которая набирается в основном из крестьян, невозможна при рабском их положении. Петр Иванович высоко ценил духовную силу русского солдата, его мужество, великодушие, храбрость и «предупредительное постоянство, терпение и послушание». Спустя два дня после сражения у деревни Цорндорф, Панин в письме к брату сообщал: «Когда же армия наша через неприятельские тела и раненых перешла, то никто наш никому из них никакого огорчения не делал, ничего с трупов не снимали и пленным никакого неудовольствия не показывали, но к особливому удивлению сами видели, что многие наши легкораненые неприятельских тяжелораненых на себе из опасности выносили, и солдаты наши своим хлебом и водою, в какой сами великую нужду тогда имели, их снабжали».

Кстати сказать, в том сражении генерал Панин был контужен, потерял сознание. Солдаты вынесли его с поля боя. Через некоторое время он очнулся, вскочил на коня и бросился туда, где сражались его полки.

Когда началась война с Турцией, Панину пришлось оставить дела в Сенате, вернуться в войска и принять командование 2-й армией, состоящей из 14 пехотных, 9 кавалерийских полков и десятков артиллерийских дивизионов. При тяжелейшем штурме и взятии Бендер его армия, действовавшая на главном направлении, понесла значительные потери, что вызвало недовольство Екатерины II: «чем столько потерять и так мало получить, лучше бы вовсе их не брать, Бендер».

Однако не Панин виноват в малоуспешной операции, поскольку главнокомандующий генерал З. Чернышев лишил его самостоятельности и единоначалия в управлении войсками при штурме, внося своими распоряжениями путаницу в действия атакующих групп. Это двоевластие на одном плацдарме сражения и явилось причиной больших потерь среди наших войск. Тем не менее генералы Орлов и Румянцев получили за взятие Бендер ордена, Панина же наградой обошли. Не помышляя о себе, он составил рапорт, в котором ходатайствовал о награждении солдат и офицеров вверенной ему армии. Этот рапорт Екатерина оставила без внимания. Панин не смог вынести такой обиды и, сославшись на здоровье, подал в отставку. Императрица незамедлительно под злорадный шепоток крупных военных чинов, подписала панинский рапорт, удовлетворив его прошение: Панин ей был нужен лишь в дни грозящей Отечеству опасности.

В ноябре 1770 года Петр Иванович писал своему брату: «Сколь весьма трудно удерживать себя в великодушии, видев оное все попранным ногами, преодоленным теми людьми, которые всю свою службу ведут на одних коварствах и на вмещениях собственных своих выгод, видов и корысти».

В ту пору английский посол лорд Каткарт в служебном отчете о российских новостях писал о Панине так: «Он горяч, враги его стараются удалить его, — и это им удалось. Они достигли удаления человека, весьма полезного государству, как в гражданском, так и в военном ведомстве... Генерал Панин, уважаемый и любимый офицерами и солдатами, по взятии Бендер, принужден выйти в отставку».

Екатерина II вспомнила о нем, когда пожар Пугачевского восстания охватил несколько губернии и направился к Москве.

В это время Панин, находясь в отставке, жил неподалеку от столицы, в селе Михайловке. Придворные клерки продолжали наушничать, доносить императрице о том, что старый генерал хулит ее и все государственное правление.

Панин осуждал не государыню, а порядки, ослаблявшие государство. Возмущаясь происками царедворцев, помышлявших только о себе, а не о народе, армии, отечестве, он говорил: «Многих произвели они в чины великие, забыв совесть и присягу. Я не желаю оным людям, коль себя низкими и клятвопреступными оказали, никакого несчастья, хотя они, по справедливости, достойны быть перевешаны». За Паниным был налажен строгий надзор.

Вот почему Екатерина II обратилась к Панину против своего желания, но подчиняясь силе грозных обстоятельств. Не сама обратилась, сие ей не позволила бы царская гордость. Все было устроено так, что якобы Панин сам предложил ей свои услуги, что он якобы рвался усмирять Пугачевский бунт и обрадовался предоставленной ему возможности... Такое мнение, к сожалению, закоснело даже у некоторых историков.

На самом деле все выглядело иначе.

Панин лежал в постели, мучимый своей старой подагрой, когда к нему в Михайловку привезли секретное письмо от его младшего брата Никиты Ивановича, известного в то время дипломата. 22 июля 1774 года он писал: «...Сего утра получили мы известие о разорении города Казани, и что губернатор со всеми своими командами заперся в тамошнем кремле. Мы тут в собрании нашего Совета увидели Государыню крайне пораженную, и она объявила свое намерение оставить здешнюю столицу и самой ехать для спасения Москвы и внутренности Империи, требуя с великим жаром, чтобы каждый из нас сказал ей о том свое мнение. Безмолвие между нами было великое.. Окликанные дураки Разумовский и Голицын твердым молчанием отделались. Скаредный Чернышев трепетал между фаворитами, в полслова раза два вымолвил, что самой ей ехать вредно... Совет кончился тем, чтоб обождать Румянцева курьера с заключением мира с Турцией... Между тем сам я решился ехать против Пугачева или ответствовать за тебя, мой любезный друг, что ты при всей своей дряхлости возьмешь на себя спасать отечество, хотя бы надобно было тебя на носилках нести, если только Государыня того желает... Государыня будучи весьма растрогана сим моим поступком, божилась предо мною, что она никогда не умаляла своей к тебе доверенности, что она совершенно уверена, что никто лучше тебя отечество не спасет..., что ты не отречешься в сем бедственном случае послужить ей и Отечеству. Вот, мой любезный друг, каковым образом жребий твой решился».

Никита Панин далее просит своего старшего брата, не дожидаясь письма от императрицы, самому написать ей о своей готовности к службе. Он винится, что не спрося совета, рекомендовал его, больного человека, как спасителя Отечества. Понимаю, замечал он, «какому бремени ты подвергаешься, но знаю ж и то, что где Отечество вопиет, тут ни у тебя, ни у меня не может быть места размышлениям о собственном нашем бытии».

Это письмо Петр Иванович получил 26 июля и, отвечая брату, просил поблагодарить «за возобновление ко мне доверенности», за важность дела, «кое на меня воз-

лагается»... Далее он, отставной генерал, сославшись на неосведомленность о дислокации военных сил в стране, составил перечень того, что ему конкретно надобно для верного успеха в порученном деле. Прежде всего «полную мочь и власть не только над всеми воинскими командами, употребленными к пресечению происходящего в Империи возмущения, но и над всеми жителями, городами и судебными местами, где и до которых мест оное возмущение касается...» Он просил уберечь его от вмешательства в его распоряжения и действия других военачальников, походатайствовать о «защищении меня и подчиненных моих от завистников и клеветников, дышущих и живущих в своих званиях не прямыми действиями службы, но единственными ухищрениями происков, на превозможение власти своей над истинными заслугами».

В тот же день Петр Иванович отправил письмо Екатерине II, в котором извещал, что узнал от своего брата о том, «что Вашему Императорскому Величеству благоугодно стало всемилостивейше избрать меня к употреблению на пресечение внутреннего в империи пугачевского смятения». Благодаря императрицу за оказанное доверие, Панин однако замечает, что должен «в том открыться, что слабость моего здоровья и увечные припадки приводят меня в трепет, чтоб иногда в самых нужнейших действиях не отлучили от возможности исполнять их и своего звания или бы смертию онаго не прекратили». Панин просит снабдить его генералом, который бы в случае чего мог заменить его на боевом посту. И далее: «Я бы почитал теперь первым своим долгом предстать пред Ваше Императорское Величество, но истинно нет естественной силы на такую скоропостижную переездку».

Не приняв во внимание болезнь Панина, императрица послала ему письмо и официальный рескрипт от 29 июля 1774 года о назначении его главнокомандующим войсками, посылаемыми на подавление Пугачева.

«Вам известно уже настоящее положение дел в Оренбургской и Казанской губерниях, и степень неустройства, до которого там гражданское наше правление доведено изменою и бунтом появившегося под именем покойного Императора Петра третьего, самозванца из беглых донских казаков Емельяна Пугачева». Императрица подчеркивает, как важно «скорое и совершенное прекращение сего зла до последних его источников», для чего «избираем Мы вас к тому яко истинного патриота, коего усердие, любовь и верность к отечеству... испытаны нами уже во многих случаях».

В рескрипте императрица обещает выполнить все требования Панина, дать ему всю полноту власти. К таким распоряжениям и склоняли ее придворные советники, еще недавно глумившиеся над Паниным, теперь же с надеждою взирающие на него, как на своего спасителя. Ведь положение в стране, охваченной небывалым по размаху восстанием, было катастрофическое. Видные генералы Корф, Кар, Бибиков, Голицын, Чернышев, Рейнсдорп не смогли подавить мятеж. Его сиятельство граф Потемкин в те дни с тревогой писал императрице: «Обстоятельства тамошние столь худы сделались, что уже одним оружием кончить не надежно; а нужен мудрый муж, испытанный в искусстве и ревности, могущий восстановить порядок, словом, вложить душу в расстроенный народ».

При всем этом Екатерина не доверяла Петру Ивановичу Панину и, назначая его главнокомандующим, в то же время писала Потемкину: «Господин граф Никита Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельною властью... Я пред всем светом первого враля и моего персонального оскорбителя, побоясь Пугачева, выше всех смертных в Империи хвалю и возвышаю».

Но Панин и без того был знаменит. Его помнили и любили в русской армии. Английский посланник Роберт Гуннинго, сообщая в Лондон о назначении Панина, писал: «...он был единственный человек в Империи, способный занять это место».

Так что Панин вовсе не жаждал, а по настоянию Государыни, лишь согласился взять на себя «тяжелый подвиг». В помощники себе он получил генерал-поручика Александра Васильевича Суворова. Вот какие военные силы привлек к себе Пугачев.

Панин быстро, в течение двух месяцев, погасил пламя Крестьянской войны. 2 ноября 1774 года в своем донесении в Сенат он подытожил весь вред, принесенный державе повстанческим движением, сообщал также о фактах произвола, бюрократизма, казнокрадства, царивших в административных учреждениях Казани, Симбирска, Саратова, Оренбурга, Челябинска, Самары, Троицка... Его возмущали трусость и бездеятельность местных чиновников, склонных однако к энергичному стяжательству и алчности, к такому миропорядку, где «производятся без страха и стыда взятки, пристрастия и отступления от правосудия». В донесении Панина отразились причины, истоки народного гнева, что долго копился и затем разрядился в гигантском восстании.

Налаживая мирную жизнь в крае, Панин обязал крестьян вносить подати не с января, а с 1 сентября 1774 года, списав недоимки на прежнее грозовое время. Эта мера облегчала жизнь бедняцкого населения. Чтобы пресечь злостную спекуляцию, он повелел не возвышать цены на провиант и фураж, грозя ослушникам смертной казнью.

Недостатком внимания правительства к инородцам Панин объяснял широкое участие башкир в Крестьянской войне. С позволения императрицы он учредил при Оренбургской губернской канцелярии Комиссию пограничных и иностранных дел, которой поручалось защищать интересы населения многонационального края. В эту комиссию сочленом губернатора он назначил Петра Ивановича Рычкова и попросил его, как человека знающего историю и население края, написать «исторический экстракт» о состоянии башкирского и киргиз-кайсацкого народов.

В письме к императрице Панин сообщал, что из-за недостатка сведений об этих народах он не может гарантировать на ближайшее время безопасность краю, где усмирен бунт. А потому вывод из заволжских степеи войск он начнет лишь тогда, когда хорошо изучит обстановку в крае и по-настоящему сможет «проникнуть в души черни», когда «возникшее в народе возмущение проницать до источников» ему окажется возможно.

Благоразумие и справедливость, закон и сила — вот на что Панин опирался в своих действиях.

И хотя не он, а назначенный ему в помощники высокопочитаемый в народе Александр Суворов брал Пугачева и лично конвоировал в Симбирск, именно Панин в литературе о пугачевском движении обычно упоминается как главный укротитель восставшей черни.

Но в таком случае, какие действия Панина эти историки признали бы некарательными? Очевидно, такие, которые пощадили бы Пугачева, позволили бы его слабовооруженному, в основе своей необученному войску разбить полки регулярной русской армии?

В. И. Ленин замечал, что Пугачевское восстание было «гораздо более проявлением отчаяния и мести, чем борьбой», что причины поражения повстанцев в их неорганизованности, разрозненности, «в полном непонимании политической стороны движения».

Для чего Пугачев хотел захватить Москву? Чтобы истребить всех помещиков и бояр и посадить на престол «хорошего царя». В случае неудачи, поражения восстания он намеревался бежать за границу.

Устремляясь во главе правительственных войск навстречу Пугачеву, Панин зорко, с тревогой поглядывал на запад и на юг. Никто точно не мог знать, как повели бы себя турецкие, польские и шведские войска в случае захвата Пугачевым Москвы и последовавшей бы за тем всеобщей анархии в стране, оказавшейся во аласти удалых, но беспутных полуграмотных мятежников. Поэтому при оценке действий того, кто был «отважным предводителем народных масс», а кто «карателем» их, следовало бы быть более объективным, во всяком случае историю Пугачева нельзя рассматривать, выделяя ее особняком из общей многовековой судьбы российского государства.

«Царский генерал», — с презрительной усмешкой твердили мы о Панине, повторяя внушенное нам со школьной скамьи. Но ведь и Суворов, и Кутузов тоже были царскими генералами и командовали правительственными войсками. Да и были ли в России в то время еще какие-то войска, кроме правительственных?!

Завидуя воинскому авторитету Панина среди солдат и офицеров, президент Военной коллегии З. Чернышев откровенно злословил, утверждая, что Панин взялся усмирить Пугачевский бунт по причине якобы своего неуемного властолюбия, из желания-де побыть главнокомандующим.

Однако письмо Петра Ивановича к брату от 14 ноября 1774 года опровергает эту ложь. «Нет другой справедливости как ожидать на мою просьбу всемилостивейшего дозволения прибыть в Москву и потом возвратиться в прежнее мое уволенное от службы положение». Мог ли человек, мечтавший «наслаждаться» властью, исполнив с успехом возложенное на него «тяжелое бремя», немедленно просить, добиваться собственной отставки? Панин чувствовал, что в суете придворных интриг он со своим прямодушием, честностью, горячим гражданским темпераментом неудобен, никому не нужен. И что ему лучше уйти. И действительно от службы он вскоре был отстранен. К нему обращались лишь в исключительные моменты, когда без него «не могли обойтись и когда даже его враги не могли воспрепятствовать этому».

Ценя гражданское мужество Панина, один из его современников в своих записках вспоминал и такой случай. В конце 1772 года, когда скончался славный русский фельдмаршал Петр Семенович Салтыков, московское начальство, зная, что покойный был в опале у царедворцев, не дало никаких распоряжений для его похорон. Это кощунство потрясло Петра Ивановича. Желая отдать последнюю почесть заслуженному и авторитетному полководцу, он, хотя и был в оставке, надел свой генеральский мундир в Андреевскои и Георгиевской лентах и немедленно отправился в дом Салтыковых. Подойдя к гробу фельдмаршала, он обнажил шпагу и сказал: «До тех пор буду стоять здесь на часах, пока не пришлют почетного караула для смены».

Эта «выходка» стала известна императрице и московскому губернатору. Для того, чтобы с приличиями похоронить старого военачальника, вскоре было выделено подразделение воинов, сменивших генерала Панина на траурной вахте.

Петра Ивановича Панина, выдающегося русского полководца, гражданина свободного и смелого ума, твердых нравственных принципов, мы знаем плохо не по малости его заслуг перед Отечеством, а потому, пожалуй, что знать его не предусматривалось рескриптом о заслугах, табелем о рангах, составленными усердием сначала летописцев царствования Екатерины II и последующих самодержцев, затем идеологов сталинской хунты, которые сузили историю государства Российского до размера собственных жизней, свели ее к биографии нескольких личностей.

В полном забвении П. И. Панин скоропостижно умер в Москве в 1789 году и похоронен на скромном сельском кладбище села Дугино Смоленской губернии.

●

ДНЕВНИК РОССЕТ

В пушкиноведении уже не первый десяток лет идет спор о подлинности «Записок А. О. Смирновой», записанных с ее слов дочерью и частично опубликованных в прошлогоднем пушкинском номере журнала «Слово». Но вот наконец-то автобиографические записки, дневники, воспоминания самой Александры Осиповны Смирновой-Россет изданы в полном объеме в серии «Литературные памятники». Причем, как и полагается во всяком академическом издании — с вариантами, фрагментами, дополнениями, приложениями и комментариями. «Теперь, — как справедливо замечает в послесловии к изданию С. В. Житомирская, — мемуарное наследие А. О. Смирновой, каким оно вышло из-под ее пера, с свойственными ему достоинствами и недостатками — удивительной памятью и печатью истинной талантливости даже в немощной старости, повторениями и противоречиями, пристрастными оценками и фактическими ошибками, но и с ценнейшими свидетельствами о жизни, вкусах, отношениях, быте своих современников, становится доступным в полной мере для изучения».

Стоит только добавить, что к числу этих современников, чьи вкусы, отношения и быт описывает фрейлина императрицы Марии Федоровны А. О. Смирнова-Россет, относятся Пушкин и Жуковский, Гоголь и Вяземский, А. И. Тургенев и В. Ф. Одоевский, Лермонтов и Тютчев, И. С. Тургенев и Аксаковы, А. К. Толстой и Александр Иванов. Перед нами — один из самых ценных первоисточников, который широко использовали в своих книгах многих пушкиноведы и гоголеведы, но теперь читатель может ознакомиться и с оригиналом.

Н. ГУРЬЕВ

Смирнова-Россет А. О. ДНЕВНИК. ВОСПОМИНАНИЯ / Изд. подгот. С. В. Житомирская. — М.: Наука, 1989 (Сер. «Литературные памятники».)

ВСПОМИНАЕТ КЕРН

Имя Анны Петровны Керн, без сомнения, известно каждому, кто хотя бы поверхностно знаком с творчеством Пушкина. «Я помню чудное мгновенье...» — это о ней. Однако невозможно составить полное и точное представление об этой незаурядной личности, не прочитав ее дневников и воспоминаний.

А. П. Керн родилась и воспитывалась в семье состоятельного помещика П. М. Полторацкого, до 16 лет жила с родителями в провинциальном городке Лубны на Украине.

Конец 20-х — начало 30-х годов стали лучшими годами для А. П. Керн. Именно в это время, поселившись в Петербурге отдельно от мужа, она входит в круг Пушкина—Дельвига, в круг людей, о которых мечтала и к которым тянулась. Здесь установились ее дружеские отношения с Пушкиным, Веневитиновым, Глинкой. Ближайшими друзьями Анны Петровны стали все члены семьи Пушкиных. К сожалению, в 1831 году связь с этим кругом оборвалась, и последующие годы приносили множество огорчений: смерть матери, тяжбы по поводу имения, размолвки с мужем, материальные трудности во втором браке. Несмотря на житейские тяготы, жизнь Анны Петровны со вторым мужем, А. В. Марковым-Виноградским, была счастливой, так как супругов объединяло сильное и глубокое чувство, единые духовные интересы. Именно в этот период написаны почти все мемуары А. П. Керн.

Центральное место в литературном наследии А. П. Керн принадлежит воспоминаниям о Пушкине. Это первое ее произведение, напечатанное в 1859 г. Успех и сочувствие читателей вызвали к жизни другие воспоминания и автобиографические заметки. Благодаря воспоминаниям Анны Петровны стали впервые известны многие важные факты жизни Пушкина, некоторые его стихи, письма, мысли, высказанные некогда в беседах с друзьями. Автор рисует достоверный портрет поэта, очень тонко очерчивает многие черты характера, манеры, привычки Пушкина. Правдивость и живость образа поэта в воспоминаниях А. П. Керн достигается и изображением его в кругу современников, которым автор дает очень точные и емкие характеристики. Удивительная память Анны Петровны сохранила массу фактов, имен, мест, дат, поэтому фактические ошибки в ее мемуарах крайне редки.

Стиль А. П. Керн часто сентиментален (особенно в дневниковых записях), но все ее литературное творчество дает представление о личности неординарной, с высокими духовными запросами и чистыми идеалами.

Л. ЖУКОВА

Керн (Маркова-Виноградская) А. П. ВОСПОМИНАНИЯ. ДНЕВНИКИ. ПЕРЕПИСКА. — М.: Правда, 1989. — 480 с., ил.



ВСТРЕЧИ С ЯСНОВИДЦАМИ

ДМИТРИЙ ЖУКОВ

главы из повести

Работая в архивах над предисловием к переизданию книг Василия Витальевича Шульгина «Дни» и «1920», я натолкнулся на материалы, показавшиеся мне весьма странными и любопытными. Для того, чтобы осмыслить их, пришлось на несколько недель отвлечься от основного труда, залезть в дебри тайных наук, читать книги о всякой чертовщине, удивляться непостижимым историческим совпадениям...

Я общался с Шульгиным на протяжении ряда лет, переписывался, слушал его рассказы. В последние десять с лишним лет своей жизни он старался разобраться в некоторых случаях из своей жизни, которым наука не могла бы дать достойного объяснения, и даже делал наброски для книги под названием «Мистика». Ниже читатель прочтет попытку связать воедино то странное, что случилось с Шульгиным в первые годы его пребывания в эмиграции и оказало большое влияние на его мысли и поступки в дальнейшем...

АНЖЕЛИНА

У русского посольства «осколки империи» торговали всем, что еще можно было продать, чтобы купить горячего чаю, с хлебом. Прекрасными акварелями, например. Просто удивительно, сколько среди русских оказалось превосходных художников!

А вот княгиня N с вывеской на груди — не женщина, а ходячая контора по найму квартир... До какой же все-таки крайности вырождается русская аристократия и интеллигенция...

Судя по дневниковым записям Шульгина, русские женщины все-таки умудрялись оставаться привлекательными, несмотря на отсутствие не то что туалетов — сносной одежды. В Истанбуле-Константинополе их узнавали по шапочкам, сделанным из обрезанных... чулок.

В толпе он встретился со знакомой дамой в шапочке из чулка. Она спросила:

— В. В., что с Лялей?

Он рассказал, посетовав, что больше никаких путей поиска сына не видит. И тогда дама посоветовала:

— Тут есть одна... Ясновидящая, что ли... Она уже многим помогла найти друг друга. Пойдите к ней. У вас есть одна лира?

Дама быстро начертила на клочке бумаги, как найти «одну», потому что в Стамбуле нет ни табличек с названиями улиц, ни нумерации домов. В. В. верил в способность некоторых людей читать прошлое, настоящее и даже будущее — особенно, когда человечество постигают беды.

И он, поплутав по грязным переулкам и оказавшись на еще более грязной лестничной клетке, нашел «одну». Звали ее Анжелина.

Сначала В. В. принял ее за обыкновенную гадалку и только удивился — все гадалки цыганисты, а эта блондинка средних лет, небольшого роста, с серыми глазами. Она попросила его сесть за столик у окошка, сама устроилась напротив, написала что-то на клочке бумаги и спросила:

— Как вас зовут?

Он сказал. Тогда она протянула бумажку, и на ней было написано «Василий». Но там был еще и рисунок человеческой ладони с линиями.

Хиромантия! — подумал В. В.

— Я нарисовала, не глядя, линии вашей руки. Сравните...

Шульгин обратил внимание на еще два имени, написанных под рисунком.

— Николай, Александра, — прочел он вслух.

Анжелина внимательно посмотрела на В. В.

— С ними связана ваша жизнь. Но их больше нет, — сказала она.

Он подумал о покойной царской чете.

— Вы русский? — спросила Анжелина.

— Да.

— А мне кажется, вы не совсем русский... Вы малоросс.

Шульгин был поражен.

— Это верно. Но откуда вам знать?..



Василий Витальевич, Мария Дмитриевна Шульгины и Дмитрий Анатольевич Жуков. г. Владимир. 1968.

ЖУКОВ Дмитрий Анатольевич родился в 1927 году в г. Грозном. Окончил Военный институт иностранных языков. Свою работу в литературе начал как переводчик произведений английских, американских и югославских классиков и современных писателей. Член СП СССР. Автор многих полюбившихся читателям книг, среди которых «Загадочные письмена» (1962), «На руинах Вавилона» (1964), «В опасной зоне» (1965), «Козьма Прутков и его друзья» (1976, 1982), «Огнепальный» (1979), «Заветное» (1981), «На семи холмах» (1981), «Портреты» (1984), «Богатырское сердце» (1985) и другие. В 1972 году в серии «ЖЗЛ» вышла его биография протопопа Аввакума (сб. «Русские писатели XVII в.»), а в 1985 году биография А. К. Толстого. Для творчества Дмитрия Жукова характерно пристальное внимание к крупным фигурам нашего давнего и недавнего прошлого, патриотическое осмысление исторических событий.

Она улыбнулась. В. В. подумал, а кто же она? Говорит по-русски, но мягко. Может, полячка?

— Вы знаете, что такое «карма»? — спросила она.

— Слово слышал... но что это значит, не знаю.

— Карма — это нечто вроде судьбы. Она есть у каждого человека, но карме подчинены и целые народы. У малороссов иная карма, чем у великороссов, которых обычно называют русскими. У вас личная карма сливается с малороссийской.

Она написала на бумаге колонку римских цифр.

— Это периоды вашей жизни. Первый кончился в девятьсот восемнадцатом году. Ваша жизнь переломилась...

Анжелина жестом показала, как ломают палку, и спросила:

— А знаете ли вы, что за это время погибло четверо очень вам близких людей?

— Знаю.

— Но вам грозит и пятая потеря...

В. В. вскочил.

— Сын? Димитрий?

— Нет, не сын, но он Димитрий.

— Брат?

— Да, брат. Дни его сочтены.

Шульгин помолчал.

— Я убедился, что вы обладаете замечательными способностями, — наконец сказал он. — Но я пришел к вам с определенной целью. Пропал мой сын, не Димитрий, другой. Жив ли он?

Анжелина опять пристально посмотрела ему в глаза и спросила:

— У вас есть его фотография?

Шульгин достал из кармана карточку.

— Какой милый мальчик, — сказала женщина. — Как я хотела бы ему помочь! Но вот это неверно...

— Что неверно?

— Неверно то, что здесь, на карточке... волосы. Нет, он без волос. Бритая голова!

На старой фотографии Ляля был с красивой прической. А в действительности он, как многие добровольцы, брил голову.

— Он жив? — еще раз спросил В. В.

Она молчала. Он заметил, что она вглядывается в стоявший на столике небольшой темный стеклянный шар. Наконец она заговорила.

— Жив. Я вам сейчас все расскажу... Самый конец октября двадцатого года... Я вижу степь, вдали горы... Скачут две повозки — одна уходит. Другая стала... две лошади... одна упала. С повозки соскакивают люди. Налетают всадники. Проскакали. Возле повозки лежит ваш сын. Он ранен в голову шашкой... Весь в крови... Нога перебита пулей. Вы мужчина... я вам скажу правду. Бедняжка, он будет у вас калекой...

— Но он жив?

— Я вижу, как его подбирают. Это не большевики... может быть, местные. Много он перенес... гримаса страдания не сходит с лица. И плен был... Но главное — нога! Очень мучает...

— Где он сейчас?

— Сейчас? Он уже севернее. Идет с двумя товарищами от деревни к деревне. И все время на лице мученье... Он идет в большой город, который я вижу, потому что он в мыслях вашего сына. Город у моря... Горы не такие, как в Крыму. Длинный мол, маяк... Может быть, это Одесса? И еще в мыслях у него женское имя.

— Какое имя?

Поколебавшись, она сказала:

— Елизавета.

В. В. подумал, что она ошибается. В Одессе осталась мать Ляли. Она же Екатерина... А может быть, у него была там Елизавета?

Анжелина продолжала:

— Сейчас вы находитесь во втором периоде вашей жизни. Бурном и опасном. Бои, болезни, походы, море, бури... Но вода для вас благоприятна. Смерть вам будет грозить постоянно, но вы не умрете. Вот в девятнадцатом году смерть стояла у вас за плечами... Вы понимате, о чем я говорю?

— Понимаю.

В девятнадцатом он часто подумывал о самоубийстве... из-за смерти Дарусеньки.. любимой. А потом был тяжелый поход со Стесселем в январе-феврале двадцатого...

Анжелина продолжала:

— В двадцать втором и двадцать третьем вы будете жить за границей. Потом побываете в России, но причиной тому будет не политика. В двадцать седьмом вы потеряете родственника, а в тридцать первом переживете тяжелое воспаление почек...

В. В. почти не слушал ясновидящую.

Потом он опять спросил о Ляле. И, вздохнув, добавил:

— Если он жив, то я его найду.

Она встрепенулась.

— Не делайте этого. Вам не удастся его спасти. Будет хуже...

Вскоре В. В. узнал, что у Анжелины есть отчество — Васильевна и фамилия — Сакко, по первому мужу. Что во время гражданской войны она жила в Севастополе и кормилась гаданием. Что к ней однажды пришел офицер и сказал:

— В никакие гаданья не верю, но все же любопытно...

Она долго смотрела на него.

— Вы поедете на фронт.

Он рассмеялся.

— Я офицер.

— Вы будете ранены.

— Как?

— Легко.

— Приятно слышать.

— Потом вы вернетесь сюда и женитесь.

— На ком, интересно?

— На мне.

Офицер долго смеялся. Потом уехал на фронт, был ранен, выздоровел и женился... на Анжелине.

Такой анекдот услышал В. В. в пестрой константинопольской толпе. Он видел ее мужа — молодого, красивого, но с жестоким выражением лица.

Однако это не поколебало его веры в предсказания Анжелины.

Он сравнивал себя со стрелкой компаса, указывающей упрямо на север. С января снаряжалась на Босфоре шхуна для экспедиции к русским берегам.

На решение В. В. принять участие в экспедиции повлиял сон.

Приснился Ляля, больной. Шульгин во сне прикрыл его одеялом и тот уснул.

Во сне же в соседней комнате играли в карты. В. В. сел играть с полковником, который должен был руководить экспедицией. У В. В. на руках было три туза и другие карты, а полковник пошел тоже с туза. В. В. подумал: «Как странно — все четыре туза».

Хозяйка квартиры сказала:

— Какая тоска! Я думала, что хоть В. В. не такой человек, как все... А он такой же.

Не поднимая головы, Шульгин ответил:

— Нет, он гораздо хуже.

В это время кто-то сказал:

— Посмотрите, что с вашим сыном.

Шульгин пошел в комнату к Ляле и застал его в дверях во всем солдатском и даже с ранцем на плечах.

— Что с тобой, Ляля? Зачем ты оделся, куда идешь?

Тот сосредоточенно, с отсутствующим взглядом ответил:

— Надо, надо идти...

— Да что ты, Ляля, Господь с тобой!

— Я все стучал, стучал... Никто не пришел... Надо идти.

В. В. проснулся и решил принять участие в экспедиции. «Я стучал, стучал... Никто не пришел!»

Шульгин побывал на шхуне, познакомился с командой. Пил с ней чай...

Но в ту же ночь (это было в первой половине января 1921 года) разразился страшный шторм над Босфором, шхуну сорвало с якорей и разбило в щепы, бросив о камни. Команда едва спаслась.

Но стрелка компаса все равно указывала на север.

В. В. после неудачи со шхуной все думал о сыне Ляле и арестованном крымской чека брате Димитрии. Но одержимый желанием броситься на помощь сыну и брату, он продолжал работать.

2 июня Шульгин сообщал в письме к племяннику Владимиру Александровичу Лазаревскому, что болеет, а Мария Дмитриевна* устраивает по этому поводу драмы, зовет докторов. Марди похудела. Денег нет. Но 13 июня он собирается выздороветь и отправиться в путь, через Софию, где у него дела с «Русской мыслью»...

Марди приписала к письму, что В. В. не хочет лечиться. Сам страшно худой, а еду подсовывает ей. «Идет по улице и шатается. Народ тучами валит к В. В. с раннего утра до позднего вечера.»

Что же это за кипучая деятельность, которую развивает истощенный донельзя Шульгин?

Он готовит новую экспедицию в Крым на выручку родных. Но денег нет, как нет, и приходится собирать их по всему свету. Он пишет знакомым в Лондон, Париж, Берлин, Белград, Софию... Присылают мало — его знакомые не миллионеры.

Выручает гонорар от русско-болгарского литературного общества за книгу «1920» — 25 тысяч левов (это 300 долларов).

К нему входит в пай молодой профессор Юрий Александрович Никольский, не приспособленный к жизни, напичканный стихами Гумилева и Блока. Он еще и литератор — написал книгу «История одной вражды». (Между Тургеневым и Достоевским.) Никольский надеялся освободить свою невесту Асю. Семья ее жила в Гурзуфе и ожидала ареста со дня на день.

Они вместе купили в Варне запалубленную лодку в двенадцать аршин длиной и приспособленную лишь для речного плавания, под названием «Дунавац». Ее «из любезности» назвали шхуной и переименовали в «Пьера».

Постепенно участники экспедиции собираются в Варне. Их десятеро. Из самых разных источников удалось даже выяснить их имена. И главным образом из дневника Марди, которая тоже отважилась идти в поход.

«Профессор хочет вывезти близкую ему семью, а В. В. хочет спасти брата, относительно которого у него тяжелое ощущение с тех пор, как хиромантка ему сказала: «дни вашего брата сочтены», и узнать о Ляле... Вовка едет, потому что едет В. В.... Сева потому, что едет Вовка... Кравченко потому, что едет Сева... Полковник К., потому что поехал моторист...» Был и еще один приятель Вовки. Высокий, худой, с холодными серыми глазами. Этот отправлялся в экспедицию ради приключений.

Был еще некто Юрасов. И боцман Леонтий Алексеевич с мотористом. Этим платили. Капитаном было решено назначить полковника К.

Остается пояснить, что «Вовка» — это шульгинский племянник Владимир Александрович Лазаревский, которому выправили советские документы и поручили, высадившись в Крыму, пробраться в Одессу, узнать судьбу Ляли и найти Екатерину Григорьевну, жену В. В.

Задача Вовки понятна. Но как собирался Шульгин спасти брата Димитрия — можно лишь гадать. Экспедиция кажется чисто авантюрной.

---

* Мария Дмитриевна Сидельникова, для краткости переименованная В. В. в «Марди».

* * *

В шесть часов вечера 30 августа (12 сентября) 1921 года В. В. и Марди отправились к варненской пристани, держа в руках пальто, немного винограду и вареные яйца, завязанные в голубой передник. По дороге к ним присоединились профессор и Юрасов. У шхуны их ждали остальные и... таможенный «стражар». Он требовал взятки. Ему отдали последние триста левов.

Поход начался.

В. В. был чисто выбрит, в отглаженном костюме и в сорочке с белым накрахмаленным воротничком. Он несколько выспренно шутил, поднимая дух команды:

— Если бы мы ехали добывать золото, то нас назвали бы аргонавтами. Если бы мы ехали убивать дельфинов на море, нас назвали бы промышленниками. Но так как мы едем спасти живых людей, то нас назовут искателями приключений. Такова необыкновенная мораль обыкновенных людей...

А профессор декламировал Гумилева:

На полярных морях...

Уже на другой день разбушевавшееся море обрушило мачту. Промокшая, измученная морской болезнью команда подняла ее. На четвертый день унесло часть парусов, но оставался мотор.

Забившаяся под тент Марди умирала от страха. В своем дневнике она хорошо передает собственные страхи, но в дамском изложении трудно определить, что же произошло потом, как развивались мужские дела на крымском берегу.

А берег показался на пятый день плавания.

И на виду его молодой профессор читал стихи Блока, так подходящие к случаю:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою...

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

В. В., уже в кожаной фуражке, был, по мнению Марди, похож одновременно на капитана Немо и на комиссара.

Он сказал профессору:

— Удивительно, как все-таки Блок мог угадать... Когда вы будете писать книгу о Блоке, учтите и такое толкование...

— Какое?

— Слушайте... 1 ноября 1920 года отошли от Крыма корабли генерала Врангеля. Они увозили сто пятьдесят тысяч несчастных русских, «забывших радость свою». В это время в одной из церквей Севастополя, высоко на горе шла служба... И «пела девушка в церковном хоре». В пропущенной вами строфе стихотворения еще есть слова «луч сиял на белом плече». Она молилась о нас, о белых, о том, чтобы господь сохранил нас на чужбине...

— Но тогда вы принимаете и конец... что «никто не придет назад», — сказал профессор.

— Нет, не принимаю, — резко возразил В. В. — Блоку не дано судить, о чем плакал «Ребенок Причастный к Тайнам высоко у Царских Врат». Об этом не дано знать поэту, который не разучился рифмовать пса с Христом...

— Василий Витальевич, что вы говорите?!

— Вот то и говорю. Впрочем, не я говорю, а сам Блок о себе сказал:

О, как паду — и горестно и низко,
Не выдержав смертельныя мечты...

— Да, — подтвердил профессор, — это его строчки.

— Он предсказал все на много лет вперед.

— Так что, по-вашему, мы «вернемся назад»?..

— Вернемся. Белые люди скомпрометировали белые мысли. Освобожденные от нас самих, наши мысли вернутся в Россию и будут настолько сильнее, насколько Дух выше Плоти...

Они теоретизировали на виду у Крыма. Запомните этот спор, чтобы еще раз удивиться постоянству В. В.

Они гадали по огням, где Симеиз, Алупка, Мисхор. Определились и стали между Ялтой и Гурзуфом, в десяти милях от берега. Потом взяли правее Аю-Дага.

В. В., старый байдарочник, оделся во все черное и взялся высадить профессора на берег. У Марди сжималось сердце.

Надо было найти дачу дяди профессора, что находилась в нескольких верстах от Кастеля. Там жила Ася — невеста Никольского.

И ночью черная байдарка пошла к берегу, мгновенно исчезнув в черной ночи и черной воде Черного моря.

Марди молилась и вздрагивала от выстрелов, доносившихся с берега.

Потом были условные огоньки на берегу, появились люди, которых разыскал профессор, но не было с ними В. В.

Его искали на берегу, вглядывались в туманное море. Севе приказал завести мотор и уходить подальше. Плачущей Марди он сунул что-то в руки.

— Вот... нате... Это образ Николая Чудотворца... благословение матери... Перед войной... Он все время был со мной... все войны... бои... Спасал... Бог поможет... Сохранит Василия Витальевича... Помолитесь над ним...

Пришло дождливое утро. И прошел день. В сумерках замелькали огоньки. Четыре вспышки и пауза. Это был В. В. Он разминулся со всеми в тумане.

И еще он сказал:

— Если бы у нас были деньги — остался бы тут.

— Как? Совсем?

— Да... Нельзя этого передать... Целовать хочется эту землю. А кипарис, кажется, обнял бы и застыл так, чтобы не оторвали. Она живая, живая... земля наша. Это ведь только Крым. Это не Киев, не Волынь... А вот!..

И еще он рассказал то, что узнал о жизни в Крыму. Хлеб — от пяти до восьми тысяч рублей за фунт. Сахара, масла — нет. Варят кашу из зерна и тем живут. Совслужащий получает четыре тысячи в месяц — на полфунта хлеба. Но на службе быть безопасно. Все хотят куда-нибудь уехать. Сперва власть принадлежала татарским советам. Потом пришли военные с «особыми отделами». До мая продолжались расстрелы. Сколько убили, неизвестно. Сообщения между поселками нет. Подвода из Ялты в Севастополь стоит миллион. Как люди живут, не понятно...

16/29 сентября они вернулись в Варну, пробыв в море 17 суток, и тотчас их арестовали болгарские власти как большевистских шпионов.

Как В. В. выпутался, не знаю. Знаю лишь, что он получил в Варне письмо, в котором сообщалось, что его брат Димитрий расстрелян большевиками еще в 1920 году, после взятия Крыма.

Марди записала то, что сказал В. В., когда прочел письмо:

— За брата расстреляли! Ленин и Керенский были в одной гимназии в Симбирске. Отец Керенского был директором... Старшего брата Ленина, студента, повесили за покушение на императора. А младший, Владимир, этот самый, кончал гимназию и должен был получить золотую медаль.. Керенский-отец был смущен, можно ли дать медаль брату повешенного за покушение на царя... Телеграфировал об этом министру в Петербург. Царский министр ответил: «Брат не может отвечать за брата. Мы не в средних веках. Медаль — дать...» Но, очевидно, нам не нравилось, что у нас не средние века... Мы сто лет делали революцию... Теперь добились... царит средневековье. Теперь семьи вырезываются до пня...

И брат отвечает за брата... Tu l'as voulu, George Dandin! (Ты этого хотел, Жорж Данден!)

В истории с медалью Шульгин был не совсем точен. Не совсем точен был он и в отношении своего брата. Тот скончался от разрыва сердца, когда его вели в горы — на расстрел.

Потом он узнал, что профессор Никольский умер в чека от тифа. Как и его дядя, которого взяли вместе с ним. Ася же бежала, оказалась каким-то образом в Париже и постриглась там в монахини. Шульгин потом встречался с ней. Она писала очень хорошие духовные стихи.

Спасся из засады и Вовка. Он не отыскал Лялю, но в Одессе нашел Екатерину Григорьевну и впоследствии с большими приключениями вывез ее за границу.

Но это уже другая история...

Раз уж мы заговорили о Париже, то надобно бы сказать и о том, что в октябре 1923 года Василий Витальевич жил в этом городе у В. А. Маклакова, который, в глазах западных держав, еще считался русским послом и обитал в своей резиденции на улице Гренель, 6. Василий Алексеевич и его сестра Мария Алексеевна были радушны, опекали В. В., но он чувствовал себя неловко в роли нахлебника и ходил даже наниматься статистом на кинофабрику.

Как-то он прочел во французской газете такое объявление:

«Мадам Анжелина Сакко предсказывает будущее и дает советы. Плата — пять франков».

В. В. разыскал ее по указанному в газете адресу.

Она встретила его словами:

— Вы у меня уже были.

— Какая у вас прекрасная память.

— Нет, память плохая... Но я узнаю тех, кто был у меня... Тогда вы были в военной форме.

— Я к вам с тем же вопросом — что с моим сыном?

Она придвинула к себе хрустальный шар и сосредоточилась. Лицо ее нахмурилось.

— Он жив, но...

— Где он?

Она помолчала.

— Он в России. В таком месте, откуда он не может выйти.

— В тюрьме?

— Нет.

— В лагере?

— Нет.

— Так где же?

Она волновалась.

— Я не должна вам этого говорить. Не надо, не надо...

В. В. настаивал:

— Я мужчина. Мать его вы могли бы пожалеть. А я выдержу...

И вдруг спросил:

— В сумасшедшем доме?

Шульгин знал, что у сына плохая наследственность. Екатерина Григорьевна легко возбудима, но здорова. Однако ее отец Григорий Константинович Градовский, довольно известный публицист, страдал припадками буйного помешательства. Одно время он жил у них в Киеве, и у него была так называемая черная меланхолия. Его то отвозили в лечебницу, то брали домой. А мать Григория Константиновича умерла в сумасшедшем доме. Ляля к тому же ранен в голову...

— Я не хотела вам этого говорить.

— Где он?

— В России.

— В Киеве?

— Нет. Киев я хорошо знаю. Но похоже — гористый берег над рекой...

— Какой же это город?

Она долго вглядывалась в хрустальный шар.

— Не могу сказать... Незнакомый город.

Он ушел, расстроенный.

Бродил по улицам Парижа, зашел в католический храм. Там венчали. Тихо играл орган. Невеста в белом. И белые цветы померанца... У молодых были напряженно-счастливые лица... А Ляля в сумасшедшем доме...

Через неделю В. В. вернулся к ясновидящей.

— Анжелина Васильевна, а может быть я когда-нибудь был в этом городе. Может, я догадаюсь...

Она поглядела в свой шар и сказала:

— Конечно, были. Я вижу вас там. Вы молодой. Похожи на сына. Большой сад над обрывом. Река. Забор по краю обрыва. Оперлись на забор и смотрите вдаль. Странно одеты. На голове прозрачная кепка. Пиджак серенький. На ногах рейтузы военные и сапоги лакированные. Усики у вас. Теперь их нет. Около вас молодая дама. Красивая. Вы смотрите вдаль, а у нее глаза опущены. Она поднимает ресницы так, будто они у нее тяжелые. Такая манера. Томная. Она...

Анжелина запнулась на мгновенье.

— Она близка не вам... Она близка человеку вашей крови. Ее уже нет. Она ушла. Она была, что называется, мятежная душа. Всегда куда-то стремилась, сама не зная, для чего. Я не могу сказать, было ли это самоубийство или неправильное лечение. Она могла жить. И хотела еще жить. И сейчас хочет жить.

Шульгин вздрогнул, уже догадываясь, о ком идет речь.

— Как это хочет жить? Ведь она... ушла?

— Ушла.

Как и Анжелина Васильевна, он избегал слова «умерла». Но она продолжила:

— Ушла, но не совсем.

— Как не совсем?

— Не совсем... Она еще очень близко к земле. Она не успокоилась. Она еще не дух. Вот я вижу ее, она стоит у вас за плечами...

Шульгин вздрогнул и обернулся. Но Анжелина сказала:

— Вы не можете ее видеть. А я вижу. Она хочет жить. И не может. Такие бывают души мятежные — между небом и землей.

Шульгину совсем стало не по себе. Анжелина говорит о Марусе, жене его брата Димитрия. И он вспомнил все...

Он тогда приехал в Заливанщину и прожил там несколько дней. И вдруг брат говорит ему:

— Давай поедем в Винницу. Городок хороший... И пообедаем там в городском саду.

В. В. помнил даже дату — 29 июня 1905 года. Утром это было. Но как ехать? В тех краях подходил к концу сенокос, под самый праздник Петра и Павла... Придут люди получать за заработанное. И тогда брат сказал:

— Бери Марусю и поезжай. Пообедаете в городском саду, а я приеду позже. Рассчитаюсь и приеду.

Так вот и оказался В. В. с Марусей вдвоем у забора под обрывом. Смотрел вдаль, на реку. А она поднимала ресницы медленно, будто они были у нее тяжелые...

И это видит Анжелина в Париже, в 1923 году, в октябре месяце, восемнадцать лет спустя!..

И говорит:

— Столько времени прошло, а я так ясно вижу. Мятежная душа у нее... Еще не успокоилась...

В. В. сказал:

— Это город Винница, Анжелина Васильевна. И в этом городе есть лечебница для душевнобольных, очень большая...

Анжелина подтвердила:

— Да, это Винница, теперь я это понимаю.

— Благодарю вас! — сказал В. В. — Теперь я вам верю окончательно и мне остается только пробраться туда и вывезти сына, если это возможно.

— Это вам не удастся, — возразила она. — Не делайте этого. Вы подвергаетесь страшной опасности. Вы думаете, вас забыли? Ошибаетесь. За вами следят неотступно. Вот недавно у вас украли ваши фотографии.

(Этого В. В. не знал. Но потом оказалось, что карточки исчезли из фотографии, где он снимался).

— Нет, я поеду. Скажите мне, вы видите моего сына?

Она снова вгляделась в хрустальный шар.

— Вижу. Сейчас у него светлый промежуток. Он в сознании... Стоит у стола и держится правой рукой за какой-то мешочек, который у него на веревочке на шее. Вы не знаете, что это за мешочек?

— Знаю. Все мои сыновья, а их было три, болели малярией. И вот бабушки и матушки узнали от каких-то женщин, что на старинном кладбище на горе Щековице... Вы не знаете, что такое Щековица?

— Не знаю, — ответила Анжелина.

И В. В. рассказал ей про княженье Кия, про его братьев Щека и Хорива, про то, как Щек жил на горе, названной потом Щековицей. И про кладбище на горе, и про могилу святого человека, земля с могилы которого будто бы исцеляет от малярии. Вот и носили в угоду бабушке его сыновья черные мешочки с этой землей... У Ляли, видимо, это единственная вещь, напоминающая о доме и родных.

— Вот он сейчас стоит, — сказала Анжелина, — держится за мешочек и повторяет одно имя, чтобы не забыть его, когда помрачится разум...

— Какое имя?

— Ваше. Василий.

В. В. стало зябко.

— И вы хотите, чтобы я его забыл. Не имя свое, а сына. Я должен ехать!

Анжелина поморщилась, как от боли.

— Но вы не сможете ему помочь. Я вижу... Вам не удастся. За вами неотступно ходят даа человека. Я вижу их следы...

— Анжелина Васильевна, вы все видите правильно. Но это уже было со мной. В двадцатом году. В Одессе. Там действительно за мной ходили неотступно два человека. Это их следы.

Но она, волнуясь, настаивала:

— Вам не удастся найти сына!

С тех пор образ Ляли, сжимавшего черный мешочек, не покидал его.

По утрам он выскальзывал из дома № 6 по улице Гренель и смешивался с пестрой толпой, словно бросался в реку. В толпе он чувствовал себя песчинкой, и это хоть немного заглушало тревогу, горе, страстное желание помочь...

Он нащупывал связи, которые могли привести его в Россию. И он вышел на организацию «Трест», побывал тайно в Киеве, Москве, Ленинграде. По возвращении написал книгу «Три столицы», в которой рассказанному нами было посвящено всего несколько строк:

«Осенью 1923 года я получил первое известие, относительно верности которого можно быть того или иного мнения, но зато совершенно точное.

По этим сведениям, Ляля был жив, но находился уже не в Крыму, а в центральной России, и в таких условиях, что подать о себе вести он не мог.»

В Винницу Шульгин не попал. Члены «Треста», с которыми он имел дело, брали у него записки к сыну, но самого туда не пускали. Сын его, Ляля-Вениамин, действительно находился в лечебнице для душевнобольных в Виннице. Однако он скончался еще до приезда Шульгина в Советскую Россию. Говорят, здание лечебницы еще было цело во время войны, когда под Винницей была ставка Гитлера. В нем располагался немецкий штаб, и будто бы фюрер в нем останавливался.

Потом, через десятки лет, В. В. Шульгин жалел, что думая о своем и участвуя в политических эмигрантских распрях, он мало занимался таким явлением, как Анжелина. Он даже говорил в старости:

— Ценность моих литературных произведений не идет ни в какое сравнение с этой книгой, которую я написал бы и напечатал, получив от нее, от Анжелины, все то, что она могла дать... Русский человек задним умом крепок!

Продолжение следует

ВНОВЬ ПУЛЬХЕРИЦА

А. Ф. Вельтмана — историка и романиста, автора «Странника», романов-сказок «Кощей Бессмертный», «Светославич, вражий питомец», уже вряд ли надо представлять современному читателю, хотя еще лет пять назад он числился среди «забытых» писателей пушкинского времени. За последние годы мы вдруг «вспомнили» не только Вельтмана, но и многих других писателей — Ореста Сомова, Бестужева-Марлинского, Загоскина, Лажечникова. Не просто вспомнили, а убедились, что из любой эпохи нельзя оставлять только отдельные имена, как бы велики они ни были, что духовная культура — это не табель о рангах первостепенных и второстепенных имен, а необычайное разнообразие ее проявлений в литературе, в музыке, в живописи, в зодчестве.

В данном же случае хочется обратить внимание читателей на воспоминания А. Ф. Вельтмана о Пушкине, тоже достаточно хорошо известные, входящие во все издания популярного двухтомника «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», но в сокращенном виде. Воспоминания эти, впервые опубликованные в 1837 году в «Современнике», а затем (уже полностью) А. Н. Майковым в 1893 году в «Русском вестнике», значительно дополняются рассказами А. Ф. Вельтмана 40-х годов, которые тоже самым непосредственным образом связаны с кишиневским периодом жизни поэта. «Очерк этой страны, — писал о Бессарабии А. Ф. Вельтман, — будет рамой, в которую я вставлю воспоминания о Пушкине». Но во всех последующих публикациях эти воспоминания приводились без «рамы», то есть без описания самой Бессарабии. А они очень важны, так как А. Ф. Вельтман описывает именно то, что видел и о чем слышал в Бессарабии Пушкин. А рассказы А. Ф. Вельтмана 40-х годов, в свою очередь, дополняют эти воспоминания, в них появляются одни и те же исторические лица, с которыми Пушкин сталкивался в Кишиневе. В рассказе «Костештские скалы» действуют общие кишиневские приятели Пушкина и Вельтмана. В рассказе «Илья Ларин» выведен тот самый пьяница-шут, которому посвящены едва ли не самые яркие страницы воспоминаний. Но в рассказе описывается встреча с Ильей Лариным не в Кишиневе, а в Москве через двадцать с лишним лет после кишиневских событий. Появляется в нем и имя Пушкина, о котором расспрашивает Ларин, не зная, что того уже давно нет в живых. А в рассказе «Два майора» речь идет о том же самом кишиневском откупщике Варфоломее и его дочери красавице Пульхерице, которые прекрасно знакомы всем пушкинистам как раз по воспоминаниям А. Ф. Вельтмана. В рассказе — грустный конец всей истории некогда знатного семейства.

Так что в «Избранном» А. Ф. Вельтмана впервые представлены вместе все его произведения, связанные с именем А. С. Пушкина, а так же плутовской роман «Новый Емеля, или Превращения» и историческая повесть «Райна, королевна Болгарская», созданные в 40-е годы.

М. МАЛЫШЕВА

Вельтман А. Ф. ИЗБРАННОЕ. — М.: Правда, 1989.

ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ

Книгу А. М. Савыгина «Пушкинские Горы» можно, на наш взгляд, отнести к литературе, возрождающей традиции российского краеведения. Она написана человеком, досконально знающим историю Пушкинского края, проведшим большую работу по сбору фактического материала и, главное, неравнодушным. В книге подробно описаны святые пушкинские места Псковщины. От издания к изданию автор дополнял ее, расширял объем, включал в книгу новые материалы. Интересно, к примеру, такое свидетельство. «Наши отцы и деды, — пишет А. М. Сввыгин, — были свидетелями нелепых разрушений усадеб в 1918 году. И делали это не местные люди, не те, кто жил по соседству с Михайловским, Воскресенским, Петровским, а какие-то заезжие молодцы, любители погреть руки. Они же разграбили в Воскресенском и кожевенный завод». Что и говорить, и до сего времени не перевелись у нас «любители погреть руки», «заезжие молодцы», которым чуждо и ненавистно многое на русской земле.

Книга А. М. Савыгина, без сомнения, — достойный вклад и в современное краеведение, и в Пушкиниану. Жаль только, что уровень ее полиграфического исполнения (особенно это касается иллюстраций) невысок. Книгу следовало бы также снабдить именным указателем, который в изданиях подобного рода совершенно необходим для продуктивной работы с ней читателя.

Ю. Н.

Савыгин А. М. ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ. — 3-е изд., доп. — Л.: Лениздат, 1989.

Литературно-художественный
журнал Госкомпечати
СССР и РСФСР.
Издается с сентября 1936 года
№ 6. 1990.



Сдано в набор 26.03.90.
Подписано в печать 07.05.90.
А01291.
Формат В4×108/16.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч. изд. 14,04+1,48.
Тираж 239 070.
Заказ 1035.
Цена 90 коп.
Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98
Ордена
Трудового Красного Знамени
Калининский полиграфкомбинат
Госкомпечати СССР.
170024, г. Калинин,
проспект Ленина, 5.

**Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Калининский полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.
Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи.**

В НОМЕРЕ:

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Редакцию нашего журнала, как, впрочем, и другие редакции, подписчики буквально бомбардируют жалобами на систематическую задержку с доставкой периодических изданий. В апреле, когда пишутся эти строки, многие читатели не получили еще и первого номера «Слова», хотя Калининский полиграфкомбинат сдал тиражи первого, второго и третьего номеров журнала точно в срок. Так в чем же дело!! А дело за «Союзпечатью».

К сожалению, как ни объясняй подобные факты проблемами, с которыми сталкиваются сегодня отделения связи и их работники, читателям от этого, конечно, не легче. Для удовлетворительного решения вопроса в целом требуются срочные и чрезвычайные меры государственного характера.

Со своей же стороны мы можем сообщить читателям, что совместно с издателем журнала — Госкомпечатью СССР редакция предпринимает все возможные усилия, чтобы добиться от Минсвязи СССР и «Союзпечати» своевременной доставки журнала «Слово» нашим подписчикам. Но и вы, дорогие читатели, будьте неуступчивы и требуйте в местных почтовых отделениях более оперативного вмешательства. Как это ни прискорбно, все мы сегодня вынуждены выступать в роли толкачей... Надеемся, что эта печаль не отразится на вашем отношении к журналу.

Герб Пушкиных.